

176186

Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

1943 г.

1

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

Стихи о Сталинграде

Сентябрь — октябрь 1942 года

Сталинград

Его мы любили таким —
Просторным, цветущим и стройным,
Веселым, стеклянным, сквозным,
Трудящимся, чистым, спокойным.
Казалось — в нем все города
Собились показать свою прелесть.
Его отражала вода
И песни над Волгою пелись.
Подстриженный солнечный сад
Мы Тракторным звали заводом.
Любимец страны — Сталинград —
Как в сказке, светлея с каждым годом.
К нему подступила беда,
Нежданно, как к горлу рыданье.
Забить ли то утро, когда
Их тапки пошли по окраине?
Он с воздуха весь разнесен,
Обстрелом с земли изувечен,
Но образ его, как заков,
Незыблем в душе человеческой.
Мы, любим наш город таким —

Суровым, бесстрашным и твердым,
Разбитым, сгоревшим, почным.
Несчастливым, и все-таки гордым.
Любовь эта очень крепка —
Ей служит страданье основой.
Так любят отца-старика,
Так любят ребенка больного.
В сраженьи за город рожной
Достанется право любить нам.
За каждую комнату — бой,
За каждую улицу — битва!
Нет, сердцу мириться нельзя
С обугленной черною тучей,
И только закрою глаза,
Вновь вижу я город цветущий.
Словам не изменим своим.
Пусть бой беспощаден и страшен.
Наш город, ты будешь таким —
Просторным, прозрачным, живым.
Прекрасным, как в памяти нашей!

Баррикада

Прощай, моя радость,
И плакать не надо.
На улице рядом
Нас ждет баррикада.
Впиваются пули
В угрюмый булыжник,
В комоды и стулья
Из домиков ближних.
Не знают покою
Сегодня мункеты,

Голочей щекою
Приклады согреты.
На улице этой,
Я помню, жила ты,
И ветры рассвета
Здесь были крылаты.
Здесь в классы играла,
И бегала в школу,
И звезды считала
С мальчишкой веселым.

И слова тревога,
Сраженья... Однако,
Не мало, не много —
Шестая атака!
Атаку отбили
За светлые дали,
За дом, где любили,
Смеялись, страдали.
Мальчишка, с которым
Ты звезды считала,
С тускнеющим взором
Ложится устало.
Сестра наклонилась —
Завяжет, поможет.
Иль это приспилось,
Что так вы похажив?

И память в дыму,
И расколота каска.
И больше ему
Ни к чему перевязка.
А вдруг подрастала
В другой стороне ты,
Не эти кварталы
Тобой согреты?
Быть может, не знаю.
И помпить не надо.
Ведь я защищаю
Твою баррикаду.
Дома за спиной
Дымят, догорая,
Ты здесь, ты со мною,
Моя дорогая!

Борьба за комнату

У нас с тобою, правда, не квартира,
Студенческая комната была.
Стоял диван, висела карта мира,
В углу в коляске девочка спала.
Мы говорили: скоро переедем
На новые, просторные места.
А эту площадь отдадим соседям.
Смешная довоенная мечта.
...Вокруг углы ощерились, как волки,
И обвалилась лестница в огне.
Фарфоровые слоники на полке
Остались на единственной ступе.
Но комната — она цела покуда.
Стальными балками завален вход,
Немецкий автоматчик бьет оттуда:

Стрельпет, затихнет и опять стрельпет.
Он воду пьет из Галиплькиной кружки.
И, разорвавши карту на куски,
Себе под локти положил подушки.
Где сохранился след твоей щеки.
Напротив есть оконце слуховое,
Его еще не тронула беда.
Не замечая грохота и воя,
По рваным крышам я ползу туда.
Ужасный час наш поединок длится.
А немец все сидит в моем доме.
Ни день, быть может — год придется
биться,

Но комнаты я не отдам ему.

О том, о далеком

О том, о далеком, о том
Полночные наши беседы.
Как будет нам житься потом,
Когда мы добьемся победы.
Закроются раны невзгод,
Остынет металл раскаленный,
А поле травой порастет —
Быльем да былинкой зеленой.
На улицах скроется тьма,
Увидим — наш город разрушен,
Руинами стали дома,
Но сделались крепкими души.
Мы их среди свистящих почей,
Встречая удар за ударом,
Сложили из тех кирпичей,
Что были калены пожаром.
Коль я не увижу, так ты
Увидишь, хотя и не скоро,

Начало такой чистоты.
Истоки такого простора.
Товарищ и друг говорит
О самом далеком и близком,
И женщина рядом сидит,
В шинели и в шлеме тапкистском.
О чем грустнула она?
Иль кажется злой и усталой,
Что в жизни осталась война,
А все остальное пропало?
Неправда! Ты в мире найдешь
Не только потери и беды.
Ты выжить должна! Ты вдохнешь
Серебряный воздух победы,
И может тогда, в тишине,
Большая наступит минута...
Пускай это счастье не мне,
Но все-таки будет кому-то.

180 тысяч километров над территорией врага

Записки летчика

1941 год

22 июня. По тревоге выстраиваемся на плацу. Командир полка, Герой Советского Союза подполковник Балашов сообщает нам, что без объявления войны германская армия атаковала наши границы на всем протяжении. Фашистские самолеты бомбят Киев, Севастополь, Каунас и другие города. Ярость охватывает нас. Сжимаются кулаки. Вот тебе и договор о ненападении! Оказывается, это был очередной трюк Гитлера. Он протягивал руку дружбы народам Советского Союза и, одновременно, готовил бандитский удар из-за угла. Усыпляя нас разговорами о мире, он сосредоточивал свои танки у наших границ. На его стороне преимущество внезапности. Но он просчитается, тирольский садист и проходимец! СССР — не Франция. Немцы получат по зубам.

Командир полка произносит краткую речь. Говорит о серьезности предстоящей войны, призывает нас драться мужественно, стойко. Над родиной нависла грозная опасность. Решаются судьбы народов Советского Союза. Мы, летчики, должны выполнить свой долг. Наш полк — бомбардировочный. Командир ставит перед нами задачу: в ночь — боевой вылет. Время для старта будет объявлено дополнительно. Мы расходимся для подготовки к полету. Осматриваем самолеты, проверяем приборы. У каждого одна мысль: только бы скорее в полет! Встретить грудью врага!

Я — помощник командира эскадрильи, младший лейтенант. Мне кажется, неплохо знаю материальную часть. У меня приличный тренировочный стаж. Хочется подняться с аэродрома первым, нанести немцам ответный удар. Младшие лейтенанты Гарины,

Садовский, Соловьев, Нечаев, Полежаев, мои погодки и ученики, взволнованные ходят за мною, спрашивают, скоро ли вылет. Им, как и мне, тоже не терпится. Ребята рвутся в бой.

23 июня. Ночной вылет не состоялся. Сегодня летят все, кроме Гарины, Соловьева, Садовского, Нечаева, Полежаева и меня. Мы слишком еще молоды! Летят в первую очередь «старички», пилоты-«стотысячники», «миллионщики». Нам велят обождать.

24 июня. Меня с группой молодых летчиков откомандировали на военный завод. Получаем самолеты новой конструкции, влияемся с ними в особую группу. Что это за группа — никто из нас не знает. Спрашиваем командира, когда на бомбежку. Он делает большие глаза: «На бомбежку? А вы освоили материальную часть? Да кто вас пустит сразу на новых машинах. Над ними сперва попотеть пужно».

30 июня. Переучиваемся на новых машинах. Это дня в день — испытательные полеты. Боевых заданий все нет и нет. Машины отличные. Эх, поскорее бы взлететь с бомбовой нагрузкой! Какие счастливицы «старички»! Гвоздят и гвоздят немцев. Не успевают отдохнуть. Неужели до конца войны тренироваться будем?

6 июля. Самолет капитана Николая Гастелло был подбит в воздушном бою над территорией противника. Прыгнуть с парашютом? Сдаться в плен? Капитан отверг эту мысль. Он обрушил пылающую машину на колопны врага, погиб смертью героя.

Валерий Чкалов говорил: «Если бы у меня было пять жизней, то я не задумался бы отдать их за родину, за Сталина». Подвиг

капитана Гастелло — чкаловский стиль. Это — чкаловская «походка» в воздухе. Капитан Гастелло предпочел смерть позорному плену. Имя его мы будем хранить в сердцах. Родина, гордись своим соколом!

И хочу дожить до победы над врагом. Я хочу жить долго. Но если мне суждено пасть в боях за родину, я хотел бы встретить смертный час, как встретил его капитан Гастелло.

9 и ю л я. Сводки Информбюро пестрят сообщениями о подвигах наших летчиков. Противник имеет численный перевес в авиации.

Звено истребков встретилось с большой группой «Юнкеров». Разыгрался бой. «Юнкеры» не выдержали атаки, повернули на запад. Младшие лейтенанты Здоровцев и Харитонов, расстреляв патроны, пошли на таран. Две вражеских машины с обрезанным хвостовым оперением рухнули на землю. Младший лейтенант Жуков искусным маневром прижал «Юнкера» к низу и на шкированных загнал его в псковское озеро.

Здоровцеву, Жукову и Харитонову присвоены звания Героев Советского Союза.

С девятью «Мессершмиттами» вступил в бой старший политрук Андрей Данилов. Двух сбил. Боекомплект у Данилова копчился. Тогда он направил свой истребок на вражескую машину. Протаранил немца и вместе с ним сам разбился. Таран становится грозным оружием в борьбе с фашистскими самолетами. Немцы уже боятся днем летать на бомбардировщиках в наши тылы. Они летали днем во Франции. Летали в Югославии, в Греции, Польше. У нас — пельзя. Мы и ночью, в темноте, найдем «Юнкеров». У нас неплохие ночные истребители.

23 и ю л я. Капитан Леонид Михайлов принял воздушный бой над оккупированной немцами территорией. Его подбили. По приему Николая Гастелло Михайлов врезался в танковую колонну врага. Погибая, он уничтожил несколько танков.

Нет, не меркнет слава русского оружия!

Как хорошо было сказано: «Нам есть что защищать, есть чем защищать и есть кому защищать».

Читаю о воздушных битвах, и у меня холодеет спина, волнение сжимает грудь. Скоро ли я дорвусь до врага?

17 августа. Нам влили в полк бомбардировочной авиации особого назначения. Командир-полковник производит приятное впечатление. Его называют ассом. Великолепно знает авиатехнику.

20 августа. Ну до чего же нам не везет! Снова учеба, тренировки. Ведь есть же

предел нашему терпению. Мы, по пассивности, полагаем, что полк особого назначения будет выполнять особо важные боевые задания. А тут опять школой пахнет. Я тренирую летчиков гражданской авиации, призванных из запаса. В мирное время запялся этим с увлечением. Сейчас не могу. Не могу! Меня здает тоска и зависть к тем, кто поднимается в воздух на боевой машине с подвешенными бомбами.

21 августа. Подаю рапорт о переводе в действующую авиацию. Полковник, улыбаясь, кидает в корзину исписанный мной листок бумаги.

— Терпение, юпша, терпение! — говорит он. — Война-то ведь не завтра кончится. Придет наша очередь. Я и сам рвусь в полет, а вот с вами возиться приказали. Что поделаешь. Молчу, терплю, подчиняюсь.

— Виктор Талалихин — уже Герой Советского Союза, — говорю я, пытаюсь хоть за что-нибудь уцепиться. — Он старше меня на год, на один только год.

— Год много значит, товарищ младший лейтенант. — Лучшее глаза полковника смеются. — Надеюсь, через год полетите.

— А если к тому времени война кончится? — Считайте, что вам не повезло.

— Виктор Талалихин давно летает. Он еще с финнами воевал. За финскую кампанию награжден орденом Красной Звезды.

— Вот как! Из молодых да ранний. Бывает, бывает. Годы — не всегда мерило человека. Семнадцатилетний Николай Добролюбов такие умные статьи писал, что трудно поверить в его авторство. Это называется — талант божьей милостью. Талалихин, Титиков и прочие — талантливые ребята. Вот и посылают в бой. А вы что такое? Уравнение с тремя неизвестными. В американской авиации таких, как вы, еще называют «бестолковый Джо».

— Разрешите итти, товарищ полковник!

— Пожалуйста.

Выхожу, как из бапы, во мне все кипит.

22 августа. Хочется написать письмо П. В. Сталину. Знает ли он о том, что нас, молодежь, не пускают в дело? Честное слово, мы не хуже «старичков» драться будем! Пусть испытают, проверят. Сочиняю один вариант письма, другой, третий. Все не то, не то. Надо как-то по-особенному. Убедительно, кратко. «Дорогой Писпф Виссаронович!» — начинаю я шестой вариант. — Войдите в наше несчастное положение. Прикажете перевести из подготовительного класса».

Но тут возникает передо мной вопрос, о котором я забыл, взявшись за составление

текста. Как посылать? Я военпослужащий. Непосредственно Паркому Обороны посылать рапорт не имею права. Парушение устава. Послать по команде? Полковник вызовет в штаб, задаст головоломку. «Мальчишка! — скажет он. — Как вы смаете отнимать время Чаркома па чтение глухих рапортов? Вам двадцать лет. Что вы из себя корчите? Я в ваши годы к командиру эскадрильи боялся с рапортом подойти. Без ваших шапоминаний обойдуся! Кругом, марш!»

Откладываю перо. Комкаю чертовик. Все-таки надо, видимо, предоставить событиям идти своим чередом. Некрасов жаловался, что ему борьба мешает быть поэтом, а стихи мешают быть борцом. Мне мешает молодость. Как от нее избавиться? Бороду отпустить, что ли?

23 августа. Осаждаем полковника просьбами об отправке в Действующую. Он больше не улыбается в разговорах с нами. Сердится.

— Чересчур много петушитесь, — говорит он, сощурив умные, всепонимающие глаза. — Не сомневаюсь, многие из вас — храбрые ребята. Но запомните: не всякий храбрый летчик будет хорошим военным летчиком. Один теоретик сказал, что самолеты различных типов так же индивидуальны, как различные лошади, и ведут себя так же различно. Для освоения машины новой конструкции опытному летчику требуется до тридцати часов, а вам тридцати дней мало. Вы понимаете, где служите? АДД — авиация дальнего действия. Нам предстоит совершать полеты на глубокий тыл врага. Полеты будут исключительно трудные. Будем преодолевать расстояния, недавно считавшиеся рекордными, громить усиленно защищенные ПВО объекты. Такая задача посылпа летчикам высокой авиационной культуры. Так-то. Можете идти.

— Да мы изучили, товарищ полковник.

— Все? — иронически спрашивает он. — Сомневаюсь, малыши. Я сам всего не знаю. Давайте-ка проверим ваши знания.

Начинается пристрастный экзамен.

— Младший лейтенант Молодчий, расскажите о навигационных, метеорологических и аэрологических приборах.

Я рассказываю. Полковник утвердительно кивает.

— О полетах и ориентировке по радиостанциям.

Рассказываю.

— О гироскопе и гироскопических пилотажных приборах.

Рассказываю. Мне становится жарко. Все, чем идет речь, я действительно знаю. Од-

нако пристальный взгляд полковника смущает меня. Начинаю сбиваться, путать. Авиация — сложная штука. Вопросов можно задать тысячи. Полковник невозмутимо «прошунывает» меня со всех сторон.

— Если вы передали управление самолетом автопилоту, каким образом будете менять курс и высоту, не трогая при этом рычагов управления? Нужно знать больше, чем требуется сию минуту. Запас не вредит. Верно?

— Верно, — соглашаюсь я и начинаю излагать принципы работы автопилота. Когда на чем-нибудь спотыкаюсь, полковник вскидывает брови.

— Стоп, стоп. Не так, голубчик. Вы этого не знаете. Факт. А петушитесь: мы да мы. Подзапятая надо.

Я молчу. Он берет со стола увесистую книгу в синем переплете, раскрывает ее по закладке.

— Послушайте-ка, что умные люди говорят: «Огненное качество летчика будет измеряться не старой меркой «мужество», а новой меркой «знания» — знания самого самолета, среды, в которой он движется, и всего, имеющего отношение к авиации, как-то: аэронавигации, ракетотехники, аэродинамики и т. д. И если эти знания желательны для полетов в мирное время, то во время войны они являются решающим фактором». Знаете ли вы этой книгой? Ассен Джорданов, американский специалист.

— Надо прочесть, — говорю я, разглядывая заголовок книги.

— Что? — грозно спрашивает полковник. — Прочесть? Нет, сударь, так не выйдет. Читают газеты. А руководства изучают. Это нужно знать, как исусову молитву. Да, да. Подниму ночью с постели, врасплах, и буду экзаменовать, а вы думали что?

— Товарищ полковник! — умоляюще восклицаю я. — Ведь идет война, некогда ночи над книгами просиживать, драться надо. Руки чешутся.

— Именно потому, что мы воюем, нужно сажать в кабину самолета знающих, образованных летчиков, а не «мхрюток», летающих на «уру», — внушительно говорит полковник. — Выпущу я вас, неучем, в бой. Машину загубите и сами же вернетесь. Кому это нужно? Сплошь и рядом придется ходить слепым полетом. Осень на носу. Туманы за клубятся. А пытаться летать в тумане без предварительной тренировки равносильно тому, что вы бросаетесь в воду на глубоком месте, а затем вспоминаете, что не умеете плавать.

— Но тот, кто боится прыгать в воду, никогда не научится плавать.— мягко возражаю я.

— Ах, оставьте каламбуры. Чего я хочу от вас, малыши? Приготовить летчиков высшего класса, которые смогут отлично драться и выйдут живыми из войны. Бить врага и не иметь потерь в своих рядах. Вот к чему надо стремиться. Все. Можете идти.

Выхожу из кабинета, смятый железной логикой полковника. Желание немедленно включиться в бой не остыло во мне. Но в то же время я чувствую глубокую правоту полковника. Подмастерьям по место в авиации. Битвы будут выигрывать мастера. Надо стать мастером.

30 августа. Учимся. Напряженно, не за страх, а на совесть. Вечерами проверяем друг друга. Гарантии заходит ко мне. Просит пачку папирос.

— Дай описание «Хейнкеля-113»,— говорю я, смеясь,— получишь пачку довоенных «Дели».

— Одномоторный истребитель с низко расположенным относительно фюзеляжа крылом,— начинает он без запинки,— вооружен двумя пулеметами и пушкой.

Он перечисляет все характерные признаки «Хейнкеля», протягивает руку к шкафчику с папиросами.

— Нет, нет,— останавливаю я.— Ты от меня легко не отделаешься.

— «Хейнкель» также легко распознается по верхнему обрезу киля и по очертанию заднего края руля поворота: прямой срез верхней и задней части хвостового оперения ясно виден при наблюдении за немецким самолетом сбоку.

— А если «Хейнкель» идет над тобою?

— Спишу его можно распознать по форме крыла и хвостового оперения. Крыло, начиная со средней части, заметно сужается. Узкий эллиптический стабилизатор далеко отнесен от крыла. А на нашем истребителе очертания крыла плавные, задний край его у фюзеляжа переходит в плавный зализ, который как бы сокращает длину фюзеляжа. Широкий стабилизатор имеет трапецевидную форму.

— Так,— удовлетворенно киваю я.— Хватит, ты честно заработал «Дели».

Когда кто-нибудь из «старичков» возвращается с бомбежки и рассказывает о встрече с немецкими истребителями, я записываю все в блокнот, расспрашиваю, как ведут себя в воздухе пилоты, насколько силен огонь их истребителей, какова тактика. Литературы по этим вопросам нет. А нам все нужно знать.

1 сентября. Мне дали штурмана. Старший лейтенант Сергей Иванович Куликов.

Бывалый дядя. На пять лет постарше меня. Летает давно. За участие в боях на Халхин-Голе награжден орденом Красной Звезды. Дрался с белофиннами. Чудесно знает машину и технику полета по приборам. Мы подружидсь, нашли общий язык, сразу на «ты».

— Скоро полетим?— спрашивает он.— Если тебя долго не пустят на линию огня, сбегу к другому летчику.

— Не придется бежать, Серега. Если дали такого штурмана, значит, битва не за горами. Завтра к моему самолету прикрепляют постоянных стрелков-радистов. Экипаж сформируем.

3 сентября. Тренируемся в почных полетах. То, что казалось легким в дневных условиях, выглядит сложным в темноте. Каждый маневр приходится как бы начинать впервые. Ввожу машину в вертикальный вираж, в вертикальную восьмерку, в двойной вираж, имитирую вынужденную посадку, проделываю скольжения на крыло на большой и малой высоте, скольжения вперед, посадку на точность, посадку с работающим мотором, посадку при боковом ветре, взлет при боковом ветре, посадку с разворотом на 180 градусов, со спиралью с разворотом на 360 градусов. Штурман особенно настаивает на повторении маневров, связанных с вынужденной посадкой.

— Это же не спортивные трюки,— говорит он.— Это наш хлеб. Представим себе: нас побьют, но самолет еще слушается пилота. Надо садиться в непригодной для посадки местности.

— Можно подумать, Серега, что нам предстоит каждый день вынужденные посадки!

— Допустим, будет одна вынужденная посадка в год,— отвечает он.— Но когда и где она состоится, мы не знаем, товарищ пилот. В кустарнике? На крохотной лесной полянке, где грузовику развернуться трудно? На моховом болоте? В снежном поле? Всяко придется садиться. И на одно колесо сядешь. И ша брюхо сядешь без выпуска шасси. А сесть мы, дорогой мой, обзаны так, чтобы сохранить машину, сохранить себя.

Доводы резонны. Я говорю:

— Есть, товарищ штурман. Будем тренироваться. Хотя у меня солидная практика и я могу многие маневры проделать с закрытыми глазами, сросся с машиной,— поработаем еще малость.

— А ты стрелков-радистов проверял?— спрашивает Куликов.— Что за люди? Может быть, просто пугалы, умеющие нажимать спуск пулемета? Нам нужны воздушные снайперы. Заставь их упражняться наводкой.

Пусть стреляют в тире. Требование — каждая пуля в цель.

4 сентября. Весь день тренировался в маневре над целью. Ох, и трудная штука! Сергей neumолым. Заставляет повторять одно к то же десятки раз.

— Я не смогу поразить цель, — говорит он, — если ты на боевом курсе допустишь «рысканье» машины или скольжение. При подходе к объекту, когда тебя обрабатывают зенитки, крутись, вертись, как угодно, а выйдешь на цель — будь ласков! Горизонтальный полет, неизменная высота и скорость. Сброшу груз — опять ты свободен в маневре. Снижайся, ныряй в вышину, набирай или уменьшай скорость.

Выбираю условную точку в поле и захожу на нее, как при бомбометании. Скучное занятие, но что делать! Необходимо!

— В высоте всякого мастерства путь лежит через тернии, — шутит Сергей. — Ты что думал? Суворовское «тяжело в учении, легко в бою» — к нам не относится?

5 сентября. Обстановка на фронтах сложная. Наши армии с боями отходят на восток. Враг рвется к Москве, Ленинграду. У него превосходство в технике, и хотя потери немцев громады, фашистская орда лезет вперед. Сообщения Совинформбюро о сдаче городов вызывают шемашую боль. По утрам собираемся у репродукторов, слушаем сводку. Я смотрю на товарищей — какие строгие и серьезные лица. Русскую землю топчет враг. Тяжело это чувствовать, сознать. Смех редко раздается в общезитии. Мы повзрослели. Молчаливы не по годам.

12 сентября. — Ну, младший лейтенант Молодчий, — говорит полковник, — скоро выпущу вас на немцев. Имейте в виду, бестолковый Джо, вы — пробный шар. Не подкачаете — разрешу боевые вылеты всем малышам. От вас зависит их судьба.

— Не подкачаем, товарищ полковник, — говорю срывающимся голосом. — У меня штурман какой! Золото! Отбомбимся на славу.

— Вот это мне не нравится, — обрывает полковник. — Еще не слетали, а хвастовство начинается. Увидим, какие вы бомбардировщики. Готовьтесь к полету. Просмотрите газетные вырезки о боевых действиях нашей авиации. Все мотайте на ус.

Не чувствуя земли под ногами, бегу к штурману, сообщаю о разговоре с полковником. Он кричит: «ура!» Потом, улыбаясь, тихо произносит:

— Есть бог, Саша! Покажем свою прыть.

— Надо показать, — говорю я.

О радости штурман бормочет стихи:

Взвев самолет
Облаков края
И унесит меня,
плота,
Сила моя,
Игнца моя,
Воля моя
К полету!

18 сентября. Задача: бомбить немецкий гарнизон в городке П. Летим в одиночку. Облачность. Резкий ветер. Сережа ведет машину по приборам. В районе цели проходим на бреющем. Кружимся двадцать минут. Городка нет и нет под нами, словно сквозь землю провалился.

Как это случилось — трудно понять. Проскочили над городком, не успев сбросить бомб. Он открылся перед нами с такою внезапностью, что мы прозввали. Надо было с хода бомбить. Как на экране, мелькнули зарпуженные войсками уллицы. Вижу танки, грузовики, двуколки, лошадей, высокие немецкие фургоны, крытые защитным брезентом. Колонны солдат в серо-зеленых шинелях. Не то парад, не то митинг. Самое подходящее время для удара с воздуха. Зенитки молчат. В чем дело? Припяти нас за своих?

— Сашка! Вот они! — кричит Сережа. — Эх, упустили!

— Вижу, — отвечаю я. — Куда они делятся?

На окраине городка делаю разворот, чтобы выйти к центральной площади. Ударил зенитка, и сразу бешено залаяли все пушки и пулеметы ПВО. Кругом разрывы снарядов. Свистят осколки. Машину качает на волнах разрывов.

Колонны пехоты неподвижно стоят на улицах, на площади. Никто не прячется. Мы на первом заходе не сбросили бомб, не пустили в ход своих пулеметов. Они, видимо, считают меня разведчиком. Тем хуже для них.

— Командир, доверни вправо. — Голос штурмана глухо звучит в наушниках.

Доворачиваю. Над площадью Сережа сбрасывает бомбы. Взрывы — один за другим. Влепили в самую тушу. На улицах паника. Уцелевшие солдаты и офицеры бегут во дворы, в переулки. Как жаль, что я один! Будь со мной девятка, бомбовозов — мы бы кашу из немцев сделали.

Зенитчики неистовствуют. Город в кольце батарей. Весь огонь ПВО — на мне. Как на беду, облака разнесло, и немцы стреляют прицельно. Впереди, справа, слева — стены огня. Неужели сплбуют? Неужели это наш первый и последний боевой вылет? Смерть я не боюсь. Солдат должен быть готов умереть в любую минуту. Да, в любую минуту, но только не сегодня. Еще много врагов на на-

ной земле. Мы обязаны жить для того, чтобы уничтожать их.

Под огнем делаю два разворота. Прямо вниз, вверх. Проскочить не удастся. Надо схитрить. Кладу машину на крыло и падаю. Маневр удался. Зенитки смолкли. Считают меня подбитым. У земли, над крышами пригородных домиков, выравниваю самолет, круто иду в облака. Псмцы спохватились. Опять бухают зенитки. Но теперь снаряды рвутся далеко позади, в стороне. Набираю высоту и ухожу из зоны обстрела. На душе становится легко-легко. Хочется петь, кричать, топтать от радости ногами. Враг понес огромные потери. Не одну сотню солдат и офицеров мы отравили на тот свет. И сами уходим живыми, невредимы. Это называется коротким звучным словом — «победа». В наушниках — взволнованный, по-мальчишески звонкий голос:

— Саша, поздравляю, — говорит штурман. — Для начала совсем недурно.

Вспыхивает лампочка у ящика пневмопочты. Вынимаю записку — Васильев и Папфилов тоже поздравляют меня и штурмана. После каждой фразы — по три восклицательных знака. Ребята в диком восторге.

— Что ж вы из пулеметов улицы не прочтисли? — отвечаю я им. — Приказа ждали? Ай-ай-ай!

— Товарищ младший лейтенант, проморгал, — отвечают они. — Мы все истребителей немецких в небе высматривали. Про землю и забыли. Учтем. Честное комсомольское!

Благополучно садимся на своем аэродроме. Вылетаем из кабины. Сережа стискивает мою руку. Васильев и Папфилов по очереди обнимают меня, лезут целоваться. У них возбужденные лица, глаза горят.

— С боевым крещением, товарищ младший лейтенант, — говорит Папфилов. — Мы обстрелянные, проверенные, испытанные. Отныне нам черт не брат. До вылета я побаивался, а теперь как рукой спялю. Можно немца бить. Завтра полетим — еще крепче всыпшем.

— Ну, ну, — говорю я строго, вспоминая, как осадил меня полковник за хвастовство, и не могу сдержать улыбки. — Не задирать нос, друзья мои! То, что мы сделали сегодня, — лишь удачное начало. Экзамен впереди.

— Да ведь самое главное начать, — перебивает штурман. Дальше пойдет, как по мазу. Ей богу, Саша, пойдет! Предсказываю акинажу славное будущее.

Осматриваем самолет. Бог ты мой, как его изрешетили! Пробиты киль, фюзеляж, мпоже-ство пулевых и осколочных «ранений». От прямых попаданий на плоскостях дыры —

арбуз пролезет. Подходит механик, качает головой.

— Жарко было, ребята? — спрашивает он.

— Что было, то было, — отвечает Сережа. — Война, брат. Мы им тоже дали жизни. Ежели убытки балансировать, счет в нашу пользу.

— Ну коли в вашу, то ладно, — соглашается механик. — Повезло вам. Но неуязвимым местам бил немец. Через двое-трое суток машины починим, и тогда снова на старт.

Идем рапортовать в штаб.

— Ну, Саша, — говорит мне штурман, — с тобой летать можно. Рука у тебя твердая. Первые крепкие, машина тебя слушается, одним словом, претензий к пилоту не имею. Я — стреляный воробей и человек прямой. Скажу, что думаю: ты далеко пойдешь. Есть в тебе хватка и ловкость, честное слово!

— Ладно, ладно, — усмехаюсь я, — замнем. В следующий раз, когда посажу на территории противника, посмотрим, что запоете.

— А я верю в тебя, — упрямо говорит штурман. — С тобою хоть на Берлин лететь не страшно. Дернем на Берлин или на Гамбург, а?

— Разрешат — слетаем и на Берлин.

— Из тебя выйдет асс, Сашка, — не унимается Куликов.

Я не возражаю. Оп, конечно, не льстят и говорит искренне. Но мне понятно, почему он перебарщивает сегодня. Первый успех окружил нам всем головы. Ведь еще вчера нас именovali «мальчишками», боялись доверить машину с боевой нагрузкой. Мы как бы ошнянели пемножко. Все преувеличиваем. Завтра угар пройдет, можно побеседовать спокойно. Бесспорно пока одно: мы заработали право на дальнейшие полеты. Мы — «взрослый экипаж». «Старикам» придется потешиться и дать нам место в боевом строю.

19 сентября. Так оно и случилось, как я предполагал. Серега проснулся, пришел в себя. С утра пилит меня. Оказывается, заход на цель вчера был сделан мною неправильно.

— Ты, чортова голова, заходил со снижением, — ворчит он, расхаживая по компате. — И если мы удачно отбомбились, — это вопреки тебе, твоей пеловкости. Площадь с войсками была так велика, что промазать я не мог. По другой цели промах был бы обеспечен. Запомни, как дважды два: над целью — горизонтальный полет, постоянная скорость. Иначе — срыв операции.

Я знаю это давно. Почему же вчера у меня получилось не так? Выйдя на боевой курс, я забыл все наставления штурмана, забыл все, чему меня учили старшие товарищи, коман-

дыры. Я видел перед собой немецкие кожаны, которые хотел поразить. Я вел машину на врага, сближался с врагом, и все остальное перестало для меня существовать в эти секунды. Я не чувствовал, что иду со сплужением, с крепком. Серега прав. Надо взять себя в руки.

20 сентября. Полковник сдержал слово. Всем «малышам» разрешено летать на бомбежку.

Утром я летал бомбить скопление механизированных войск противника. Погода хорошая, полет нетрудный. Задание выполнено. Колхозники оккупированных районов, увидев яс, бросают вверх шапки, машут руками. Я приветствую их покачиванием крыльев. Мороз пробегает по спине. Наш народ под ярмом фашизма. Там, за линией фронта, нас помнят, ждут с нетерпением, благословляют каждый удар по врагу. Скоро ли мы освободим эти несчастные города и села?

21 сентября. Первый ночной полет в стан врага. Бомбили военные объекты в городе П. Зенитки обстреляли нас при переходе линии фронта и в районе объекта. Я волновался. Вспышки разрывов близкие. Казалось, каждый снаряд, пущенный с земли, несется прямо в самолет. Каждую звездочку на горизонте принимаю за фару истребителя. Серега держится молодцом. Подтрунивает над мной и стрелками-радистами.

— Это цветочки, ребята, — утешает он нас, — ягодки впереди.

23 сентября. Бомбили железнодорожную станцию в городе В. Воду звено. При подходе к объекту из-за облачности распускаю строй. Отдаю приказание действовать самостоятельно. Первый захожу на цель. Ясный, погожий день. Молчание зениток. Серега кладет бомбы на составы с боеприпасами. Взрывы и пожары. Зенитки открывают огонь. Все мое звено бьет по эшелонам. Разворачиваемся в сторону от станции. Дожимся на обратный курс. Победно поют моторы: «Все в порядке, все в порядке». Впереди — битвы.

24 сентября. Бомбили железнодорожную станцию У. При подходе к объекту нас атакуют два «Мессера». Стрелок-радист Палфилов открывает по ним точный огонь, держит их все время на «приличной» дистанции. Маневрирую, кладу самолет на боевой курс. Мы над целью. Бомбы падают среди вагонов и паровозов. Там что-то сильно воспламеняется. Огненные столбы поднимаются в небо. Уходим домой. Истребители провожают нас, приближаясь. Трусливые баптисты!

— Идем под прикрытием, — шутит Серега. — Палфилов, пошли этим «Мессерам» радиограмму: «Приветствуем таких пентюхов, которые вдвоем одного бьются».

23 сентября. Бомбили железнодорожный узел в городе П. Летал в одиночку. Днем. Вешеная стрельба зенитных пушек, пулеметов. Смерч огня вокруг машины. Стрелки-радисты бьют из пулеметов по наземным целям. Станция объята пламенем. Серега положил бомбы с удивительной точностью. В воздух поднимаются дежурные «Мессеры». Пыряю в облака, ухожу из-под обстрела. «Мессеры» не преследуют.

4 октября. Ночной вылет. Бомбил аэродром в городе В. Операция удачная. Прямые попадания в «Юнкерсы» и «Фоккеры», стоящие рядами на посадочной площадке. Горит ангар. Горят бензохранилища, вспомогательные постройки. Зенитный огонь слышен. Однако он уже не пугает меня, как при первых вылетах. Верю в свою машину, послушную моим рукам. Маневрирую так, что снаряды рвутся всегда позади или впереди меня.

Серега все еще ворчит, что я «забываюсь» над целью, веду самолет или с нарастающей скоростью или со сплужением.

— Ты обрекаешь меня на адский труд, — говорит он. — Бомбу положить — не забудь дробью стрелять. Чуть уклонился — она пойдет бес се знает куда. Подтянись, друг. Нека по-товарищески прошу. Не справишься — командиру полка доложу. Он тебе пропущет кузькину мать.

Потом он берет лист бумаги, чертит схемы, делает выкладки, объясняя мне премудрость захода на цель.

10 октября. Стал «починком». Дневные вылеты отныне будут исключением. Ночью можно дальше ходить, успешнее бомбить, не опасаясь встречи с «Мессерами» и «Хейнкелями». Сегодня ночью бомбил аэродром в городе М. Громадный ангар пробит прямым попаданием. Повреждено много «Юнкерсов». Горят цистерны с бензином.

11 октября. Погода хорошая. Бомбил железнодорожную станцию в Ч. Взрывы и пожары. Зенитки, после сбрасывания бомб, били стель густо. Трудно маневрировать. Я весь мокрый от напряжения. В шлемофоне веселый голос штурмана:

— Фрицы сердятся, Саша! Завтра еще добавим. К хлебосольным хозяевам следует почаще в гости ездить.

— Хватит с них, — говорю я. — В месяц не восстановят всего, что мы сожарили. — А ты несправляешься, — говорит Серега. — Сегодня подвез меня на цель — что надо. Старайся, мальчик. Не горячись.

12 октября. Бомбил железнодорожный узел и скопление эшелонов, предназначенных для Московского направления. Приятно слышать фугаски на живую силу противника!

Бомбил с небольшой высоты. Видны солдаты, бегущие от объятых пламенем вагонов.

— Ребятки, дайте по ним горяченьким! — приказываю я стрелкам-радистам.

— Есть, горяченькими по немцу! — отвечает Панфилов.

Очереди двух пулеметов усиливают шашку на станции.

13 октября. Бомбил автоколонны на дороге. Над целью — облачность. Бомбы ударного действия разрешается сбрасывать с высоты не ниже 400 метров. С этой высоты цель под облаками не покрыть. Рискнул спуститься до двухсот метров. Штурман сбрасывает груз в середину колонны. Пас качает взрывная волна, и — только. В общем опыт удался. При случае можно повторить. Поставлю вопрос о пересмотре уставного положения насчет предельной высоты для бомбометания. Нормы созданы в мирное время. А пока «пересматривают», попрошу разрешения у полковника бомбить, когда потребуется, с двухсот метров.

Под утро, возвращаясь на аэродром, спрашиваю штурмана и стрелков-радистов, что они думают насчет второго вылета.

— С удовольствием! — отвечают все хором. — Выпьем по стакану чая — и готовы. Колонны ждут. Надо их рассеять.

Разрешают второй вылет. Вместе с нами пойдет несколько эскадрилий. Я должен их завести на цель. Объект — те же колонны врага. На аэродроме предутренняя мгла. Взлетная площадка раскисла от дождя. Теперь чуть-чуть подмораживает. На плоскостях машины пней. Они подернуты мохнатым ворсом, напоминают ковер. Это уменьшает скорость самолета. Но нет времени обмыть горячей водой плоскости. Решаем взлететь.

Выруливаю на старт. Нам показывают зеленый светочер. Взлет разрешен. Даю полный газ. Машина, лениво покачиваясь, бежит по дорожке. Я сразу понял, что взлет невозможен, а взлететь нужно во что бы то ни стало. Аэродром кончается. Видны заградительные огни. Машина бежит, не отрываясь от земли. Вдруг, качаясь, она повисла в воздухе.

— Оторвались! — подумал я. — Оторвались-таки...

Сильный удар. Вспышка огня у моторов. Голубовато-красные искры.

— В чем дело? — спрашиваю я у штурмана.

— Аллах его знает, — говорят Серега. — Похоже, кого-то сшибли.

Убираю колеса. Выхожу на курс. Спрашиваю стрелков-радистов, идут ли за нами эскадрильи.

— Ничего не видно, — докладывает Панфилов. — Как будто никто не поднялся.

Делаю разворот. Прохожу над аэродромом. Там — непонятная возня. Машины выруливают на старт и не взлетают. Радирую на командный пункт, спрашиваю, как быть.

— Машины по могут взлететь, — отвечают мне. — Идите выполнять задание. Эскадрильи, подтянитесь, пойдут вслед за вами.

Выходим в район объекта. Быстро отыскиваем цель. Такая же, как при первом вылете, облачность. Опять сваливаем груз с высоты 200 метров. Бьем из пулеметов, пока не кончатся патроны. Это неразумно. нарушение устава. Погонится истребитель — нечем отбиваться. Но пусть извинят нас обстоятельные люди, когда видишь глазом врага, невозможно удержаться, чтобы не прочистить его с песочком.

Оглядываем горизонт. Вот-вот должны появиться эскадрильи. Почему их нет? На развороте пас обстреливает зенитка из танка. Беспорядочно палят в небо автоматчики. Движение колонны приостанавливается. Эх, сюда бы сотню бомбовозов!

Вернулся на базу. Докладываю заместителю командира дивизии о выполнении задания. Прошу разрешить третий вылет.

— Как удалось вам взлететь? — спрашивают в штабе. — Ни одна машина не может подняться.

— Молодчик — колдун, — улыбается адъютант. — Он гипнотизирует моторы.

Разрешен третий вылет. Разгоряченные ночным боем, мы готовы лететь сию минуту. Никто не заикается о бутербродах и стакане крепкого чая. Наш шыл охлаждает инженера. Пока мы рапортовали, он осмотрел машины. Обнаружена вымятина на плоскости. Сильно поцарапан винт. Оказывается, при взлете мы повалили телеграфный столб, оборвали провода.

— Я вам говорил, кого-то сшибли за линейей заградительных огней, — напоминает Серега. — Вы не верили. Хорошо — столбик податливый, чуть нажали — он лег. Могло быть хуже.

Машину ставят на ремонт.

14 октября. Бомбил автоколонны. Серега — снайпер бомбометания. Кладет гостинцы, куда захочет. У нас накопился опыт бомбардирования колонн. Первое время немцы передвигались по дорогам без прикрытия ПВО. Наша авиация, особенно штурмовая, отучила их от «увеселительных» прогулок по русским просторам. Они стали «умнее», осторожнее. Теперь в «голове» и в «хвосте» автоколонны и танковой колонны сосредото-

чены зенитные пушки, пулеметы. Зенитчики «бодствуют» на марше и на стелках. Гальше немцы передвигались в любое время. Теперь стараются передвигаться ночью. Днем «отдыхают» на лесных опушках, в оврагах, в кустарнике.

Мы находим их везде. Заградительный огонь зенитчиков заставляет быть пастороже, но не мешает выполнять задания. Иногда мы с хода опускаем две-три фугаски на головную батарею и, подавив ее, чешем колонну с небольшой высоты.

Серега записывает в книжечку количество разбитых машин грузовиков с пехотой, танков, самолетов на аэродромах, вагонов, паровозов. Огорчается, когда разбитый объект затруднительно записать. Например, вмазали фугаску в здание вокзала. Что там повреждено? Сколько человек погибло от взрыва? Надолго ли выведен вокзал из строя? Что можно записать? Догадка — не факт.

22 октября. Важное задание. Летим на северо-запад. Особенно тщательно готовились к вылету. Машина в идеальном порядке. И вдруг на полпути что-то случилось с правым мотором. Сначала от него пошел дым. Затем показалась пламя. Я попробовал загасить огонь смолжжением. Но проделывать «трюки» с бомбовой нагрузкой нелегко. Ничего не получилось.

— Самозагорание, — говорит Сережа. — Дело серьезное.

От мотора огонь перекинулся на машину. Запылали плоскости. Дым проникает в кабину. Приказываю штурману сбросить бомбы «на пассаж». Идем еще над своей территорией. Фугаски летят в торфяное болото. Заворачиваю назад. Машина теряет высоту. Огонь — со всех сторон. Отдаю экипажу приказание: «Прыгать с парашютами». Васильев и Панфилов прыгают.

— Ты тоже прыгнешь, Саша? — спрашивает Буликов.

— Нет, еду и попробую спасти самолет, — отвечаю я.

— Баки взорвутся и ты сгорнешь.

— Посмотрим.

— И я с тобой, — говорит Сережа. — Гореть — так уж вместо. Я тебя не оставляю одного в машине.

— Штурман Бульков, приказываю вам прыгать немедленно! — кричу я во весь голос. — За невыполнение приказа отдам под суд.

— Есть прыгать немедленно, — отвечает оп. — Но ты, Саша...

— Прыгай без раздумий, — повторяю я. Я жду. Он что-то подозрительно долго собирается. Оказывается заело замок. Люк невозможно открыть. Буликов сразмаха ударяет

ногой в днище раз, другой. Люк раскрылся, и штурман с высоты 180 метров опускается на землю.

Вот оп, выпужденная посадка, о которой говорил штурман в первые дни нашего знакомства.

Ищу площадку. Ничего подходящего нет. Лес, кустарник, холмы. Позади торфяное болото. А медлить нельзя. Горит хвост. Машина идет с креном. Дотянул кос-как до луговины. На мне вспыхивает комбинезон. Сажусь возле колес. Правая плоскость задела эту проклятую конёшку. Самолет круто завернуло, я ударился головой о стенку кабины. Из разбитого стекла хлынула кровь. Открываю кабину, сползаю по горячей машине на землю. Погасить пламя нет надежды. Отползаю в сторону. Через минуту, как предсказывал Сережа, взрываются баки. Столб черного дыма над машиной. Она догорит, как факел. Стыскиваю зубы. Хочется плакать.

Подходят Буликов, Панфилов, Васильев. На них страшно смотреть. Унты, комбинезоны, шлемы — все измазано липкой грязью. Бедняги плюхнулись в незамерзающее болото. Промокли насквозь. Им, должно быть, холодно. Предлагаю раздеться, высушить одежду над пылающими остатками самолета.

— Мы-то ничего, — говорят, лягая зубами, Панфилов. — А вот с вами как? Ноги не поломали? Нет? Ну, слава богу, мы бежали, что есть духу, не надеялись живым-то застать.

Они достают бинты, делают мне перевязку. Обсуждаем, в каком направлении двинуться. Ы нам подходят два пареняка-подростка. Оказываются, мы сели в Ростовском районе Ярославской области. Недалеко деревня. Ребята приглашают нас в гости. Оклдываю догоревшую машину грустным взглядом и говорю:

— Пошли.

В деревне много эвакуированных Ленинградцев. Нашлась женщина-врач. Она промывает и перевязывает мою рану. Говорит, что черепная коробка цела. Трещин как будто нет. Предписывает постельный режим на несколько дней. Я рвусь в город, чтобы от туда двинуться на свой аэродром.

— Имеем Советской власти приказываю вам, товарищ младший лейтенант, — говорит врач, — прекратить движений.

Посылаем телеграмму в штаб полка. Сообщаем координаты. Вызываем скорую помощь. Меня укладывают спать на печь. Колхозники тащат в избу молоко, сметану, яйца, угощают наперобой. Каждый просит обязательно ответить его «приношение». Члены моего экипажа сидят за столом с раскрасневшими

оя лицам. Они с трудом ворочают челюстями.

— Товарищ командир, — докладывает стрелок Васильев, — погибает от гостеприимства. Если можете, спасите.

На другой день за нами прилетел на «Дугласе» полковник. Я недоумеваю, почему такая честь? Командир полка лично собирает аварийщиков. Но тут все мгновенно разъясняется. Вчора опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении экипажа. Мне присвоено звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Штурману Сергею Буликкову — орден Ленина, Панфилову и Васильеву — ордена Красной Звезды. Мы смущены, обрадованы.

Полковник поздравляет нас. Произносит краткую речь. Теперь мы должны еще крепче бить врага. Высокие награды обязывают летать дальше, бомбить точнее, яростнее.

— Это само собой разумеется, товарищ полковник, — отвечает за всех Сережа. — Мы в долгу перед родиной не останемся. Жизни не пожалеем. Вы-то нас знаете немножко, можете поверить.

— Верю, — улыбается полковник. — Кабы не верил, не полетел сюда.

Усаживаемся в кабину «Дугласа». Колхозники вышли провожать. Машут руками, желают счастливого пути. Тяжелая машина вырывается, плавно отрывается от земли. Летим домой.

На аэродроме поздравляют друзья. Всю ночь они вопились, ожидая наш самолет. Многие считали экипаж погибшим. Кто-то уже выпил за упокой наших душ.

— Дьяволы вы этикие, — говорит младший лейтенант Гарилин, тиская меня в объятиях. — Что мы передумали за сутки! Нет и нет, какое ребятам. Но вы понимаете, погибнуть в этот день? Погибнуть, не узнав о наградах? Чувовищная дичь! Ну, какие вы молодцы, что вернулись целехоньки! Качать будем. Шампанское за вамп!

29 октября. Летим на «Дугласе» получать машины новой марки. Будем их осваивать, переучиваться. Экипаж недоволен. Опять отводят в тыл. Мы и на старой машине часали фрицев неплохо. Чего еще надо? Я огорчен так, словно получил дисциплинарное взыскание. Садимся в объемистое чрево «Дугласа», мрачные и подавленные, будто едем на похороны. Одно утешение: новая машина будет лучше старой, и мы наверстаем упущенное.

2 ноября. Нам дали новую машину. Бомбардировщик, на первый взгляд, ничего себе. Посмотрим, как он покажет себя в работе.

6 ноября. Слушали по радио речь возж-

дя. Впечатление трудно передать. Мы стояли у репродукторов, затаив дыхание, боясь пропустить фразу. Какая трезвость, мудрость и сила в этой сталинской речи! Он ничуть не скрывает серьезности положения на фронтах и, в то же время, доказывает неизбежность разгрома немцев. Голос его звучит отчетливо. Спокойный ритм речи, но в этом внешне спокойствии заключается громадная взрывчатая энергия, огненная страсть, которая доходит до нас, волнуется и зажигает.

Он напоминает о наших великих предках, и мы действительно чувствуем себя потомками Дмитрия Донского, Александра Невского. Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. Мы чувствуем себя русскими людьми, которые не знают страха в бою с врагами родины, не щадят ни крови, ни жизни в борьбе. Разве одолеет нас шившая гитлеровская орда? Не бывать этому!

Туманятся глаза. Вдрагивают руки. Хочется крикнуть так, чтобы услышала вся страна:

— Смерть немцу! Да здравствует наша победа!

10 ноября. Надо изучить и облетать новый бомбардировщик.

— Вот что, ребятки, — говорю я экипажу. — Мы понимаем друг друга. Агитировать вас не буду. Сами знаете: в авиации ничего делать наполовину нельзя. Она требует, чтобы ты отдавался ей целиком. Кто не разрядился для уразумения этой истины, навсегда останется профаном, подешщком.

— Уже агитируешь, — перебивает Сережа. — Выкладывай, чего ты от нас хочешь.

— Будем работать над освоенiem новой машины не по часам, не «от» и «до», а круглосуточно. На двадцать дней запрещаем ходить в театры, кино, на концерты, в гости, принимать гостей, вообще отвлекаться чем-либо от дела.

— А с девушками встречаться можно? — робко спрашивает Васильев.

— Никаких девушек, — отвечаю я. — Девушки подождут до конца войны. Забудем все, кроме того, что перед нами неизвестная нам машина, на которой завтра-послезавтра — в бой.

— Что ж, пост так пост, — вздыхает штурман. — Возражений не имеем.

Мы испытываем скорость, скороподъемность, потолок, радиус действия, маневренность, расход горючего.

28 ноября. Сегодня мне вручили грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль Золотая Звезда. Вместе со мной получили награды штурман, стрелки-радисты. При вручении

хотелось высказать все, что я думаю о войне, о наших врагах, о долге перед родиной. Но разволновался. Забыты приговоренные слова. В голове туман. Сердце гулко стучит в груди. Тяжело дышать. Препаяв высокую награду, я произношу одно только слово:

— Благодарю!

Вечером банкет. Провозглашено много хороших тостов. Поднимаем бокалы за родину, за вождя, за всех Героев Советского Союза, за советскую авиацию.

В вестибюле меня обнимает незнакомый пожилой летчик. Он немощно переложил и у него сильная «болтапка».

— Голубчик мой!— говорит он.— Научи, как стать героем. Очень прошу! Я стараюсь, но что-то не получается. То моторы сдадут, то объект не найду. Почему ты удачливый? Какой секрет имеешь? Скажи.

— Приходи завтра,— смеюсь я.— Так и быть, скажу.

— Обязательно приду,— грозит он и с крепком отваливает в сторону.

2 декабря. Нас перебазировали. Отсюда мы должны сделать перелет на фронтовой аэродром, в свою часть. Погода летная. Облачно. Снегопад день и ночь. Начальник аэродрома, симпатичный майор Говоруха, не выпускает нас в полет. Он, видите ли, «связан беречь квалифицированные летные кадры».

Сидим в ожидании погоды трие суток. Настроение падает. Нам кажется, что в прифронтовых районах чудная погода: там наши товарищи бомбят врага, а мы кинем в ожидании старта.

5 декабря. Опять беда. Посылают в Москву, на авиазавод. Будем испытывать новые авиационные приборы. Приказ — святое дело! Едем без энтузиазма.

10 декабря. Живем в гостинице «Москва». Испытание приборов идет гладко, по графику. Нас отлично кормят. Окружили работами и вниманием. Тишина и покой по сравнению с фронтовой обстановкой. Но нас это мало устраивает. Осаждаем полковника телеграммами. Просимся на линию огня. Он отвечает: «Всякому овощу свое время».

20 декабря. Наши армии на западе и на юге перешли в наступление в начале декабря. Под Москвой немцы потерпели жестокий разгром. Отходят, порою бегут на запад. Продвижение наших войск развивается успешно. Освобождено много городов, населенных пунктов. Потери немцев огромны. На дорогах валяются разбитые немецкие танки, грузовики, повозки. Скупые, лаконичные слова сводки Информбюро о наших

победах звучат, как поэмы. У нас поднимается настроение. Все повеселели. Это еще не выигрыш войны. Немец силеп. У него много техники. Теперь каждый попял: немца можно бить и гнать. Непобедимость гитлеровской армии — миф.

Немецкая авиация в последние недели снизила свою активность. Замешители беззвучно при низкой температуре застывают. Это связывает немцев. Наши штурмовики и бомбардировщики наносят удары по немецкой обороне, громят отходящие на запад колонны пехоты, технику.

31 декабря. Встречаем 1942 год. Подводим итоги борьбы за последние месяцы. Мы выросли, возмужали. Мы научились ненавидеть врага. Научились его бить. План молниеносного разгрома Советского Союза провалился. Сорваны замыслы Гитлера. Будущее ясно. В 1942 году не повторятся события 1941 года. Немец выдыхается. Мы крешем. Наши военные заводы создают тысячи новых самолетов, танков, орудий. Формируются резервные армии. Всюду небывалый подъем.

1942 год

15 января. Вернулись в полк. Началась боевая работа. Днем летал бомбить железнодорожный мост. Погода ясная. Цель видна хорошо. Штурман сбросил тысячеклограммовую фугаску п... промазал. Ужасно досадно. Возвращаемся злые. Всю дорогу молчим.

18 января. Снова летим на бомбежку того же самого моста. Зенитчики встречают нас ураганным огнем. Проскакиваю мимо, не сбросив груза. Как быть? Самолет не пикирующий. Тем не менее ринаем пикировать. С высоты в тысячу метров перехожу в пики. Стремительно летим к земле. Остается триста метров. Двести.

— Сашка!— кричит штурман.— Это не тот мост, чтоб ему провалиться!..

Вывожу самолет из пики, прорываюсь сквозь огонь зениток.

— Что ж ты наводишь куда не следует?— спрашиваю штурмана.— Это тебе шуточки, пикировать?!

— Виповат, товарищ командир,— кротко отвечает Сережа.

Идем «тот» мост. Находим. Еще раз пикируем. С двухсот метров бросаем специальную бомбу замедленного действия. Отшли на два километра. Взрыв возле моста. Но мост стоит, как ни в чем не бывало.

— Серега,— кричу я,— начинаю в тебе разочаровываться. Тышу взрывчатки зря

вмазал. Можно раз ошибиться. Но два раза подряд — позор!

— Легче тигра подковать, чем эти мосты бомбить, — раздается в шлемофоне ворчливый голос штурмана. — Завтра еще попробуем. Но подаду — подам в отставку. Ищи другого штурмана.

Отыгаться нам на этом «роковом» мосту не пришлось. Его разбил летевший вслед за нами младший лейтенант Гаранн.

Вижу утечку горючего. Выясняем, в чем дело. Осколком снаряда перебит бензотрубка. С трудом дотянули на свою территорию. Выпущенная посадка в пяти минутах полета от Н-ского аэродрома. Самолет цел.

— Ну, дедек, — вздыхает штурман. — Задание не выполнили. Домой не долетели. Плохие убытки! Позор, позор!

24 января. Веду девятку самолетов. Буре на город N. По данным разведки там сосредоточено около 200 немецких бомбардировщиков для налета на Москву. Наша задача — нанести упреждающий удар, сорвать план противника.

Ведомые сомкнутым строем летят за мной. Солнечный день. Ослепительно сверкает под крыльями снег. Мы выходим на цель из-под солнца. Нас тут совсем не ждали. Зенитки «проснулись», когда Сережа сбросил бомбы и вся девятка рассредоточилась над объектом. На развороте вижу, как падают и рвутся фугаски нашей девятки. Хорошо бомбит ребята. В воздух, с комьями земли, поднимаются обломки искореженных взрывами «Юнкерсов». Горит ангар, бензохранилище. Кто-то «вленил» бомбу в здание летного состава. Другая бомба падает в ремонтную мастерскую.

Еще раз прохожу над аэродромом. Хочется взглянуть на результаты бомбежки. На земле все горит. Разбито до двадцати «Юнкерсов». Аэродром надолго выведен из строя. Немецкие летчики и техники разбежались по полю. Ребята впарят по ним из пулеметов.

Зенитки бьют отчаянно. Однако вся девятка, отбомбившись, выходит на обратный курс. Осколком снаряда у меня поврежден левый мотор, перестает работать. Машинка вздрогнула, покачнулась. Быстро перехожу со второй группы бензобаков на первую. Может быть, нехватка горючего? Подсос в сдача мотора? Убираю газ работающему мотору, перевожу самолет на нормальное уплотнение. Плавно даю газ пригложшему мотору, накрутя триммерами посторонние нагнетатели на управление. Нет, левый мотор — чуха!

— Дотянем до дому? — спрашивает Булкин.

— Падо дотянуть, — говорю я. — Ничего страшного нет. «Мессеров» не видно.

Отдаю приказание Васильеву и Папфилову смотреть в оба, чтобы не прозевать немецких истребителей. Машинка сбавляет скорость. Ведомые поджидают меня, прикрывают с боков. Так проходим вражескую территорию. Сажусь на запасном аэродроме. Операция проведена неплохо. По агентурным сведениям, в здании летного состава в момент налета шла паника по убитом летчике. Отпевали какого-то асса. Присутствовал весь командный состав. Взрывом нашей фугаски уничтожено сорок офицеров-летчиков.

25 января. Я работаю за столом. Сергей, лежа на диване, читает какую-то старую, очень потрепанную книгу в зеленом переплете. Вдруг он поднимается, порывисто говорит:

— Саша! Минутку внимания. Слушай, слушай!

— Слушаю.

Он, стоя, торжественно и громко, словно перед ним тысячная аудитория, читает: «...и в самом деле, отдали миллионы людей, цвет интеллигенции, ученых, даже гениев во власть каприза и произвола одного человека, который в минуту веселия, безумия, опьянения или любви, не колеблясь, жертвует всем в угоду своей экзальтированной фантазии, растратит богатства страны, накопленные целым народом, заставит умирать на полях сражений тысячи людей... Все это кажется мне чудовищным заблуждением». Каково, а?

— Хорошо, — соглашаюсь я. — Про Гитлера, что ли?

— Угадал, угадал! — Сергей заливается веселым смехом. — Это, брат, Мопассан! «Воскресные приключения нарижанина».

Скопфуженный, я тоже смеюсь.

— Недавно я проводил беседу о гитлеризме, — говорит Сергей. — Меня спрашивают: почему Гитлер съедает классиков? Я ответил, что, дескать, фашизм враг культуры вообще и так далее. А падо было прочесть вот эту страничку из Мопассана. Доходчивее бы получилось. Жаль, книжка раньше в руки не попала. Ведь это прямо не в бровь, а в глаз бесноватому Адольфу. Он у каждого классика вынады против себя находит. Вот и взъярился. Всех жечь приказал. Уроды не держат в своей квартире зеркала. Зеркала напоминают им об уродстве, раздражает их.

Потом Сережа достает & Золки блокнот. Выписывает цитату и, очень довольный, ходит по комнате, свистывая арию из «Армен».

К Сереже прѣехал его друг детства Коля Д. Он — летчик истребительной авиации. Среднего роста, широкоплечий, голубоглазый паренек. Атлетически сложенный крепныш. Они спорят. Коля немножко кичится и презносит петребителей.

— Переходи к нам,— говорит он Сереже.— Мы — ударная часть авиации. Настоящие властелины неба. А вы что? Першероны. Чернорабочие в летной семье! «Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют». А истребителей поэты славят изо дня в день.

Вот как пишут про нас:

Я вижу границу.

Она строга.

Я мирный, ребята, детина,

Но если придется,

Я и врага

Мертвую петлю накинну.

И, может быть, вместе с ним упаду.

Лопнет мотор, как сердце.

И только спрнь расцветет в саду

С мгилой моей по соседству

Взлетит товарищ меня смешить

Девушка взглянет, не плача.

Но только не гибнуть, ребята, а жить —

Главная наша задача.

В небо вопзаться подобно лучу,

Вниз опрокидывать ветры.

— Дошло до тебя? Воззаемся в небо, подобно лучу. Вниз опрокидываем ветры. Мертвой петлей душим врага. А что про вас можно сказать?

Сережа всыхивает. У него даже дергается подбородок.

— Ну это, брат, извини! — скороговоркой говорит он. — Конечно, у вас все на эффектах. Полетел, догнал «Юнкерса» или «Фоккера», зашел в хвост, сбил. Тут начинается бум. Фоторепортеры мчатся, кинооператоры снимают. В газетах пишут. Результаты видят вся страна. Трофей на площадях для обозрения выставляют. Каждый может руку к нему пощупать. А наше дело прозаическое. Мы в немецкие тылы летаем. Без фотографов. И сплошь да рядом, доказательства, куда сброшены бомбы, не имеем. Никто не знает, не видит. У нас бывают полеты, в которых, по соображениям военной тайны, грех строк в газетной хронике написать нельзя. Даже товарищи по полку об этом не знают. Чтож, польза-то родная есть? Ну, и ладно. А ты говоришь, першероны.

— Не хвастайся,— перебивает Коля.— Верблюду, наверное, тоже неплохого мнения о себе. Знаем вас.

— Что ты знаешь? — огрызается Сережа.— Если сравнивать с морским флотом — вы катера, а мы линкоры. Что солиднее?

— А таран? Ты видел, как мы тараним!

— Видел. Ну, геройство. Только ведь вы на своей территории таранишь можете. Попробуй, залети в немецкий тыл да протарани. Поломаешь свой самолет, куда прыгать с парашютом будешь? То-то и оно. Накоротке свое искусство демонстрируете.

— Километраж ничего не доказывает.

— Да? — вскрикивает штурман. — Иногда в газетах пишут: «Группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно-промышленные объекты города Н». И все. А ты знаешь, что скрывается за этими скудными словами? Я сделал три тысячи километров над территорией врага! Десять часов пробыл в воздухе. Десять часов вел машину туда и обратно слепым полетом. Это барабачивал?! Холодище! Машина обледенела. А я мокрый от пота. От напряжения пот прошибает. Спроси Сашу Молодчего.

Они долго препираются, не в силах убедить друг друга. Оба кричат, размахивают руками. Я лежу на кровати с книгой в руках и улыбаюсь. Они спорят зря. Оба неправы. Я тоже вначале увлекался петребителями. Джимми Коуллинз и Валерий Чкалов сводили меня с ума. Я думал: буду истребителем, или ничем не буду. Мне приказали стать бомбардировщиком. С болью в сердце я сел в тяжелую, неповоротливую машину. Но скоро убедился, что не такое это большое несчастье — летать на воздушном линкоре. Мои удары по врагу кое-что значат в балансе сражений. Что еще мне нужно? Смешно спорить о преимуществах пулеметов и пулемета. Все роды и виды оружия хороши на своем месте. Их взаимодействие создает замечательный боевой оркестр, который под управлением опытного дирижера может творить чудеса.

— Поддержи меня, Саша, — просит Булюков. — Вспынь ему, зазнайке!

— Обам вспыню, — говорю я. — Разволнуйте цеховую амбицию. Смешно слушать. После войны подведем итоги. Увидим, кто больше немцев покалечил.

Они смотрят на меня и улыбаются.

31 января. Бомбил железнодорожный перегон. Солнечный день. Белколенный видимость. Стрелки-радисты блин из пулемета по шлопам. Потери немцев значительны.

1 февраля. Бомбил железнодорожную станцию. Днем. С 400 метров. Бомбы унаши на скошенные эшелоны. Горят цистерны с бензином. Громадные клубы дыма. Зенитчики взяли нас в работу. Осколками пробита плоскость в трех местах.

Выходим на обратный курс. Под нами шоссе. На шоссе — веренища автомашин. Досаду, что не осталось бомб. Спускаюсь над колонной. Стрелки открывают огонь из пулеметов. Побили немало фрицев. Приятный объект. Папфилов докладывает: «Патроны кончатся». Бьет без промаха.

— Молодец, штурман, — кричу я, видя панику на шоссе и опрокидывающиеся в канаву машины.

— Открыл Америку, — отвечает он. — Это мне еще бабка-повитуха при крещении сказала.

2 февраля. Снова летали на тот же объект. Добавили порцию фугасок. От вчерашней бомбежки не погасли пожары. Дымятся обгорелые вагоны. Отбомбились. Уходим. Налетает «Мессер». Дает длинную очередь. Бьет мимо. Дистанция велика. Мои стрелки выжидательно молчат. Забираемся в облака. Идем минут десять. Вышли из облаков, потребитель опять повис на хвосте. Чуть нажмет — Васильев и Папфилов дают ему по зубам. Он отваливает в сторону. Не отклоняясь от курса, идем домой.

5 февраля. Бомбил железнодорожную станцию N. Пад землей изморозь. Видимость плохая. Пришлось снизиться почти до бреющего.

15 февраля. Последние десять дней поддерживаем наступление наших войск. Бьем по переднему краю немецкой обороны, по резервам. Иногда делаем по два вылета в сутки: ночью и днем. Истребители противника активны. Они барражируют над расположением своих войск, но в бой с нами не ввязываются. Наблюдали в эти дни работу наших штурмовиков. Лихие ребята летают на «ИЛ-2». Ходят впритирку к земле, почти по головам фрицев.

Немецкие зенитчики никак не могут приспособиться к стрельбе по штурмовикам. Эти маленькие верткие машины подкрадываются незаметно. Как смерч, вылетают из-за леса или ложинки. Сыплют бомбы, кроют из пулеметов. За ними — дым столбом. Любо смотреть.

Штурмовик Александр Кошцев. Парень моих лет. Воюет с первых дней кампании. Однажды он штурмовал колонну танков на шоссе. Был по немцам с высоты десяти метров. Уничтожил много машин. На последнем заходе в кабину попало четыре бронебойных

зенитных снарядов. Машина стала почти неуправляемой. У Кошцева раздроблены кости правой ноги и левой руки. Он все же сбросил остаток бомб, развернул машину, вышел из-под огня зениток и дотянул до своего аэродрома. Приземлился, выключил мотор и потерял сознание. Врачи обнаруживали на его теле сто три раны. И он выжил! Поправляется в госпитале. Скобя вернется в строй. Сядет к штурвалу и поведет свой «ИЛ» на очередную штурмовку.

Штурмовик Георгий Цыганков уничтожил 378 автомашин с пехотой и боеприпасами, 49 танков, зенитную батарею, 3 пулеметных точки, 135 повозок. Недавно Цыганков атаковал скопление немецких танков. Самолет попал под жестокий огонь зениток. Пробиты плоскости. Отбит левый элерон. Налетел два «Мессершмитта». Атакуют. Рубили винт и бензобаки. Отбита половина руля поворота. Какое нужно мастерство и самообладание, чтобы отбиться на израсходовавшей машине от нападающих потребителей и притти на свою базу! Георгий Цыганков отбился и прилетел домой.

16 февраля. Отдыхаем. Я пишу письма маме, жене, родным, друзьям. У Сереги очередное увлечение — стихи. Он, увлекшись, становится одержимым. Встретится ему хорошее стихотворение, яркая строфа, подходящая до сердца метафора — он непременно прочтет ее вслух.

— Пет, послушай, Сашка, — говорит он. — Ей богу, здорово. Ты послушай.

Я вынужден слушать, хотя наши вкусы не совпадают. То, чем он восторгается, не всегда волнует меня. По спорить с ним в такие минуты нельзя. Разъярится, поговорит дерзостей. Он изобразит тебя невеждой, ослом, не понимающим божественной красоты поэтической речи. Нужно соглашаться, поддакивать. На той неделе он носился с «Песню о Гайавате» Лонгфелло в переводе Ивана Бунина. Сегодня навалился на Кирилл.

— Саша, внимай, — орет он, потрясая книгой. — Чудное место!

На восток лениво смотрит обветшалый, старый храм.

Знаю, девушка из Бурмы обо мне скачет там.

Ветер в пальмах кличет тихо, колокольный звон смелей.

К нам вернись, солдат британский. Возвращайся в Мандалей.

Он поднимает на меня сияющие голубые глаза. Вскидывает над головою руки. Беспорядочно.

шадным тоном начинает доказывать мне «неувядаемую прелесть» Раднара Киплинга.

— Почитай лучше что-нибудь из наших поэтов, — прошу я. — Симонова, Исаковского, Суркова.

— Э, наши что! — отмахивается он. — Они пишут о том, что мы и без них знаем. А тут Рангун, Мадалей. Слова-то какие. Музыка! Тут парша Супи-Яу-Лат, идол, банджо, любовь, слоны, Суэцкий канал. А образы плохи? «Заря приходит в бухту, точно гром из-за морей». Это понимать надо. Нет, брат, англичане умеют писать!

Я не выспался. Украдкой зеваю в кулак. Серега ничего не замечает. Откинув голову, напружинив корпус, он продолжает читать поэму о Мадалее. В маленькой комнате глухо звучит его голос. В тишину падают увесистые слова, напоминающие восточную песенку и удары гонга, и мелодии банджо.

Все давным-давно минуло, и прошло немало дней,

А из Лондона не ходят омнибусы в Мадалей.

И теперь я понимаю, что солдаты говорят:

«Кто услышал зов Востока, тянет всех туда назад».

Он кончил. Смотрит на меня вопросительно.

— Ну, что вы скажете, милостивый государь, король воздуха? Может быть, после войны слетаем в Мадалей? Посмотрим девушек из Бурмы. На слонов поглядим.

— Вот что, Серега, — говорю я. — Иди-ка ты после войны в артисты. Из тебя эстрадный выйдет замечательный. Читаешь отменно. И потом к концу войны у тебя на груди не меньше пяти орденов будет. Мастер художественного слова с пятью орденами — реклама. Успех обеспечен. Публика валом повалит. Все решат, что ордена тебе за мастерское исполнение стихов дали.

— Нет, Саша, ты определенно на ухо тяжел, — смеется он. — Для тебя стихи — баловство. А они зарядку дают. Духовное равновесие восстанавливают. Я вот почитал и отдохнул, словно в реке выкупался.

— А в эстрадники пойдешь?

— Пойду, но с условием: ты при мне в качестве конферансье. Конферирует Герой Советского Союза Александр Молочный. Эго, брат, штука! Билеты нарасхват. О каждом концерте отчеты в газетах. Приобретем собственный «Дуглас». Из города в город — только по воздуху. Хроникеры будут писать: известный чтец, исполнитель стихов Раднара Киплинга и Генри Лонгфелло, Сергей Буликос вылетел в сопровождении конфе-

рансье и комментатора такого-то на очередную гастроль в Игарку или Намаган. О, кэй!

Так, рисуя фантастические перспективы нашей будущей жизни, мы дурачимся час, другой. Серега в ударе. Он прямо-таки неистощим на выдумки. Пора обедать. Мы отправляемся совершать предобеденную прогулку. Легкий морозец. Над нами звонкое небо. По бокам тропинки стоят зашпделевые клены и тополя. Молодо сверкает выпавший почью снег. Сергей снова вспоминает Киплинга.

Нет, меня в стране зеленой
Девушка, тоскуя, ждет.

Он уже выучил поэму наизусть. Декламирует все громче и громче. Прохожие оглядываются на нас. Вижу на лицах улыбки.

— Серега, — говорю я, — ты компрометируешь авиацию.

— А что? — спрашивает он, оглядывая костюм. — Я одет по форме.

— Шагай молча. Народ кругом. Нас могут принять за ряженых поэтов.

— Вот еще новости, — ворчит он и раскуривает папиросу. — Неужели мы обязаны все время о посадке спиралью да о выхлопных патрубках говорить? Раз отдыхаем — веселись душа и тело.

17 февраля. Бомбил сортировочную станцию в городе N. При подходе к цели нас встречает истребитель. Ночь светлая. Кучевые облака. Мы на высоте 2.800 метров. Истребитель бьет очередями с дальней дистанции. Замысел его понятен: выгнать от цели. Бросаю машину в облака. Он лезет за нами.

Захожу на объект с другой стороны. Истребитель опять маячит перед нами. Нахально идет навстречу. Это — асс. По его манерам я вижу — он владеет машиной. Сережа дает ему в нос очередь. Истребитель метнулся в сторону. «Не поправилось?» Снижаюсь на бреющий, чтобы скрыться в голубоватой дымке над землей и незаметно вынырнуть на боевой курс. Не тут-то было. Истребитель бросается наперерез. Атакует сбоку. Маневрирую. Подставляю его под пулеметы стрелков-радистов. Он набирает высоту. Решил ударить сверху. Я кладу машину на обратный курс. Пусть он думает: они испугались, драпанули.

Возвращаемся к объекту. Истребитель снова атакует. Начинается затяжная «игра» маневрами. Мы вверх — он за нами. Мы вниз — он переходит на бреющий. Но все-таки он понял, что мы тоже не лыком шиты, и не сближается на дистанцию, с которой его Панфилов и Васильев могут «прострочить» свинцовой стежкой.

Бедняга пытался нас измотать, а вышло наоборот. Сам измотался и отвалил, расстреляв боекомплект. Правда, и нам досталось от него. Что греха таить. Я весь мокрый. Рубашка прилипает к телу. Состязаться в маневренности с истребителем трудновато. На обратном пути еще туда-сюда. По с бомбовой нагрузкой — совсем жарко.

Избавившись от «асса», с небывалым удовольствием сбрасываем бомбы.

20 февраля. Опубликован указ Правительства о награждении меня орденом Красного Знамени.

22 февраля. Возвращаемся с задания. Погода резко ухудшается. Обледенели. Повреждена антенна. Радио не работает. Запросить пеленги не можем. Связи с землей нет. Пробую сесть на аэродром в районе Москвы. Туман застилает все. Садиться нельзя. Летим на другой аэродром. Также туман. Сесть не удается. Спрашиваю по телефону штурмана, как быть. Горючее на исходе. Сережа отвечает: — Попробуем пробиться севернее. Там, вероятно, тумана нет. Беру курс на N. Отличный аэродром.

— Пошли, — отвечаю я. — Будь что будет.

Горючее тает на глазах. Ждем из последних сил. Что, если не дотянем и придется садиться где попало? Проклятый туман окутал землю. Сочится изморозь. С каждой минутой увеличивается обледенение машины. Ничего не видно. Идем по приборам. Под нами блещит снежная тундра. Туман нет. Видимость хорошая.

Горючее кипит. Выбирать место для посадки не приходится. Не выпуская шасси, сажусь на лесную поляну. Рыхлый, глубокий снег. Сели прилично, хотя... в трех метрах перед машиной стоит вековая сосна. Еще бы немножко «газачуть» — и крышка.

Вылезает. Шутим над своим пезадачливым положением. Достаем аварийный запас. Выпиваем по стопке спирта. Закусываем. Брезжит рассвет. В лесу тишина. Потрескивают на морозе деревья. Выходим на линию железной дороги. Небольшая станция. Скоро поезд на Москву. Все в порядке. Ливнемся на базу в кешем строю.

На пути сверкает красный глаз паровоза. Подходит поезд. Мы садимся в вагон. Пассажиры любезно уступают нам места для сиденья.

— Никак вынужденная посадочка была? — спрашивает пилотский лейтенант с обветренным лицом.

— Около того, — отвечает Сережа. — Боясь по земле ходить, и то спотыкается.

23 февраля. В неотправленном письме, захваченном нашими частями после освобождения пункта М., германский офицер Пу-

хау пишет: «Вследствие постоянных воздушных нападений нам пришлось выехать из города. Нападение передовых русских частей — обычное дело. Особенно нам достается от русских летчиков».

«Русская артиллерия обстреливает нас, главным образом, утром и вечером, а днем и ночью «благословляют» русские летчики. Сегодня, например, мы перенесли 15 воздушных атак», — пишет в дневнике ефрейтор Август Фекель.

«Каждый день нас посещают русские летчики, — жалуется в неотправленном письме солдат Отто Вангель. — Просто невозможно показаться на улицу. Надо все время сидеть у печки, но если бомба попадет в дом, то ведь и печка проклятая взлетит на воздух».

«Только что прилетели русские, — сообщает родным солдат Адольф Заудер. — Они не дают нам покоя. Из-за этих летчиков надо поминутно прятаться в блиндажах».

Ефрейтор Р. Мейперт истерически подчеркивает:

«Русские ежедневно атакуют, и от их летчиков можно просто сойти с ума».

«Ни одного дня не обходится без бомбежки, — подтверждает унтер-офицер Карл Шпанель. — Сегодня мы могли бы даже проверять наши часы по русским самолетам, — настолько пунктуально они появляются. У нас невероятные потери в людях и лошадях».

Солдат Носиф Крогман вопит:

«Дорогие родители! Молитесь за нас! Вот опять летят русские».

Приятные письма и записки из дневников немецких солдат и офицеров! Перечитываю их с удовольствием. Радуется душа. Враг пишет: Он чувствует силу наших ударов с воздуха. В 1939—40 году немцы бомбили других. Сегодня им приходится подставлять свои спины и головы. Они нервничают, скулят, молятся богу. Никто и ничто не спасет их от советской авиации. Наш самолетный парк, несмотря на потери, увеличивается. У пещев, наоборот, уменьшается. Мы завоеваем господство в воздухе и тогда будем бить еще крепче, оглушительнее.

28 февраля. Всю вторую половину истекшего месяца бомбили ж.-д. станции, скопления войск противника. Преимущественно почные полеты. Особых «приключений» не было.

15 марта. Напряженные деньки и ночи. Иногда — три вылета в сутки. Вся первая половина марта — сложные метеорологические условия. Снежный покров. Сильные ветры. Облака. Туманы в районе объектов. Настроение у моего экипажа предвещает.

— Товарищ командир,— говорит мне однажды Васильев.— Столько мы немчуры покалечили, столько всего у них бомбами разворотили, теперь ежели псароком спибут, уярать не обидно.

— Тот, кто нас спибет, еще на свет не родился, ребятки,— задорно сказал Серега.— А убится мы и сами можем. Ничего удивительного. Валерий Чкалов, Анатолий Серов— такие орлы были. А пет их. В мирное время «гробанулсь». Эх, жалко до слез этих ассов. Вот уж подлинные асы были. Каких бы они сейчас дел попададали.

Помолчав, добавил:

— Ничего, други! Богата пародом наша матушка-земля. На смену павшим приходят новые мастера и герои. Молодежь какая прет на подмогу. Ни огня, ни воды, ни чорта не боится. Разве мыслимо, чтобы такой народ подавила коричневая зараза?

— Ясно,— подтверждает Папфилов.— Всею одного костями ляжем, а не уступим. Но таковские мы, чтобы шеп протягивать. Французы теперь чешут затылки, да поздно-вато малепько.

17 марта. Лейтенант Зубакин возвратился с бомбежки. Прилетел на аэродром. Стал заходить на посадку. Надо выпустить шасси. Контрольная лампочка правой ноги шасси не загорается. Он решил: шасси не в порядке, садиться нельзя. Поднял самолет в небо. Приказал радисту Окшину сообщить на командный пункт о неисправности шасси. С командного пункта последовал приказ пройти над посадочной площадкой бреющим полетом, чтобы стоящие на земле механики могли убедиться, в каком состоянии шасси, и сообщить об этом экипажу.

Зубакин водил машину на кругах. Затем Зубакин рискнул приземляться и сел великолепно. Оказалось: шасси в порядке, не работает контрольная лампочка.

20 марта. Герой Советского Союза Васильев Гречишкин летал на бомбежку в тыл противника. Экипаж удачно отбомбился. Легли на обратный курс. У линии фронта самолет был обстрелян крупнокалиберной артиллерией. Осколок попал в фюзеляж. Прервана СЧУ. Отказали приборы. Экипаж поддерживал связь записками. Темная ночь. Облачность. Земли не видно. Нет возможности ориентироваться по приборам. Машина идет «на авось». Кончается горючее.

Летчик снизился. Место для посадки не подходящее. Тогда он набрал высоту, отдал приказание экипажу прыгать с парашютами. Он не хотел подвергать риску весь экипаж. Сам же решил попытаться хоть как-нибудь сесть, спасти машину.

Штурман, стрелки-радисты прыгнули. Лет-

чику сесть не удалось. От взрыва мотора, поврежденного зениткой, машина загорелась. Гречишкин пробовал потушить огонь скольжением. Ничего не вышло. С высоты 500 метров, видя, что самолет спасти нельзя, Гречишкин прыгнул с парашютом. Стрелки парашюта захлестнулись кулол, не дали ему раскрыться. Так, с пераскрывшимся парашютом, летчик упал на землю и... не разбился.

Случай необычайный в истории авиации. Спас Гречишкина от гибели снег. Он врезался в рыхлый сугроб. Получил сильные ушибы, и только! Члены экипажа, прыгнувшие с парашютами, нашли своего командира невдалеке от горевшей машины. Он сидел в снегу. Из ушей у него шла кровь. На следующий день весь экипаж вернулся на свой аэродром.

Живучие мы,— крылатое племя.

21 марта. Завтра весь мой экипаж разъедется в отпуск. Я тоже еду в Кызыл-Орду павестить жену и дочурку. Сегодня в последний раз перед отпуском летим бомбить немецкий аэродром.

— Вдруг спибут перед таким торжественным событием,— острит Васильев.— Или сделаем вынужденную посадку около линии фронта и оттуда пешком по шпалам на базу. Вот номер!

— Тупиц тебе на язык,— сердится Папфилов.— Я своим уже телеграмму послал: «Выезжаю двадцать второго, встречайте». Ты накараешься.

— Зря поторопился,— резонерствует Васильев.— Выйдут родичи на вокзал. Прибудет поезд. Тебя нет. Начнется вопление умов.

Стартуем в составе двух машин. Иду впереди: поджечь и осветить цель. Аэродром крупный. Хорошо охраняется.

Легли на боевой курс на высоте 600 метров. нас ловят прожектора. Ураганный огонь зениток. Серега кладет бомбы на стоянку самолетов.

— Отстреливайтесь, братцы, перед отпуском,— приказываю я стрелкам-радистам.— Патронов не жалеть.

Васильев и Папфилов огнем пулеметов потушили несколько прожекторов. Бьют по ангару, по зенитной батарее. Огонь с земли стихает. Пырем в темноту, ложимся на обратный курс. Переходим линию фронта.

В племофоне торжествующий голос Папфилова:

— А в отпуск едем все-таки в срок, предусмотренный приказом. Телеграмму-то я кстати послал. А вот Васильева никто не встретит на перроне. Осмотрительность повела.

— Ошибаетесь,— говорит Васильев.— Я раньше тебя своим телеграфировал.

23 марта. Вылетаю на «Дугласс» в Кызыл-Орду. Серега летит к семье в Краспдар. Тепло прощаемся.

— Скучать буду без вас, черти,— говорит штурман мне и стрелкам-радистам.— Привык, понимаете ли. Экипаж стал второй семьей. И, надо признаться, дружно мы жили. Пишите мне!

5 апреля. Отдыхаю в Кызыл-Орде. Выступаю в школах. Отказаться нельзя. Приходит делегация малышей: «Дяденька Герой Советского Союза, пойдём к нам, расскажем про войну». Рассказываешь. Глазёнки у них горят. Сидят тихо, не шевелясь.

— Ну, кем вы, ребята, хотите стать в будущем?

В ответ звонкие голоса:

— Летчиками! Танкистами! Спайнерами! Саперами! Инженерами!

У малышей много планов, желаний. Они добьются своего. Мы раздавим врага, завоюем для наших детей счастливую жизнь. Встречаясь с малышами, вспоминаю свои школьные годы.

Юный авиастроитель Федя Д. просит помочь ему наладить модель. Я тоже в свое время отдал дань авиамоделизму. Тряхнул стариной. Мы с Федей уходим за город, в поле. Собираем модель. Проверяем положение центра тяжести. Устанавливаем рули в нейтральное положение. Закрепляем винт на месте. Все готово.

— Действуй, Федюха,— говорю я.— Стань на одно колено против ветра. Приподними модель на уровне глаз, наклони ее носом вниз на 4—5 градусов и, выждав, когда стихнет порыв ветра, выпускай легким толчком правой руки. Это будет наш пробный запуск. Федя точно выполняет мои указания. Модель после пуска идет на подъем и делает горку. Мы слегка увеличиваем угол установки стабилизатора. Я советую толкнуть модель не очень сильно. После нескольких колебаний в вертикальной плоскости модель приобретает определенную скорость полета.

— Дяденька, пошла,— ликующе вопит Федюха.— Честное плонерское, пошла.

Однако он рано торжествует, мой будущий соратник или конкурент, которому, возможно, предстоит удивить мир своими делами. Модель приземляется поблизости. Как-то сорочьими прыжками взлетает вверх от толчков о землю.

— Вот уже капризничает,— испуганно лепечет Федя.— И всегда они так. Делаешь, делаешь. Все расчеты правильны. Запустил—носом в землю.

Я сдвигаю стабилизатор в отрицательную сторону. Федя снова запускает модель. Теперь она летит немного лучше. Объясняя ре-

гулировку направления при неработающем моторе. Проверяем симметрию правого и левого крыльев, положение кили.

Мальчик спрашивает, как производить запуск с работающим винтом. Вспоминаю нечто из книги Г. Миклашевского о планеризме. Диктую по памяти. Федя записывает в тетрадку.

— А запуски с разбегом по земле проводить можно?

— Можно, Федюха. Только с утрамбованной площадки. Вот скоро просохнет земля. Облюбуй себе футбольное поле и действуй, когда футболистов нет. Но помни: разбег полезен при избытке мощности мотора. При слабом моторе, если модель слетает с рук на высоте 2—3 метров, нельзя запускать с земли. Модель скапотирует при разбеге и может поломать лопасти винта. Ты понимаешь, что значит «скапотирует»?

— Угу, товарищ командир. Это когда носом в землю.

— Ну, молодец. Только в жизни ты сам не скапотируй.

— Нет, что вы!—серьезно отвечает малыш.—Я никогда не спотыкаюсь. У меня ноги землю чувят.

К обеду возвращаемся в город. Чист, прозрачен воздух над Кызыл-Ордой. Большое сверкающее солнце падает стенью. На горизонте—марено. Земля влажная и мягкая. Скоро начнут пахать. Федя смотрит из-под руки по звенящих в небе жаворонков. Курносое личико его избороздили детские морщинки. Вероятно, парногос сравнивает жаворонка с планером, пытается разгадать секрет вертикального подъема птицы, ввинчивающейся штопором в небо.

— Кроме авиамоделизма, чем увлекаешься?—спрашиваю я Федю.

— Стихами,—признается он.

— Сочиняешь?

— Угу.

— Успешно?

— Плохо, товарищ командир.— Стенная газета не печатает.

— Стало быть, скапотируешь?

— Капотирую,— улыбается он милой, застенчивой улыбкой.— Редактор у нас строгий даже. Эпигонем называет меня. Зачем, говорит, делаешь то под Маяковского, то под Блока? Делай под себя.

— Он прав, Федя.

— Может быть, прав, но под себя у меня не выходит.

— А Блока любишь? Ну, прочти что-нибудь натзусть.

Он останавливается. Несколько секунд думает. Губы его беззвучно шевелятся. Потом

с большим папором и чувством произносит первую строфу из «Скифов».

Миллионы — вас. Нас тьмы,
и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы мы. Да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными глазами.

Я сажусь на придорожный камень. Слушаю. У меня странное отношение к этой поэме. Вероятно, под влиянием Владимира Соловьева Блок нацинил ее панмонголизмом. В таком виде она и нравится и раздражает. Поэму о мощи русского народа следовало называть иначе.

Федя не смотрит на меня. Синие глазки юного авиамоделиста устремлены в небо. Руки, опущенные к бедрам, неподвижны. Только мохнатые брови шевелятся в такт ритмической вязи стиха.

На окраине мы расстаемся. Иду к дому. Жена встречает меня упреками.

— Где ты пропадал все утро? Пріехал на двадцать дней да еще удлиняешься. Ужасно мило.

Рапортую о причинах долгого отсутствия. Она запрещает мне вылазки за город одному.

— Александра Дмитриевича, — говорю я торжественно. — Я полагал, что вам будет скучно с нами. Вы же не болеете авиамоделизмом. Я, грешный человек, впадаю иногда в детство. Вы — женщина трезвая.

— Не прощу, — объявляет она. — Все, чем ты занят, интересно для меня. На охоту кой-когда — я с тобой. Рыбу ловить поедешь — я с тобой. Где ты, Кай, там и я, Кайя!

Потом она подходит ко мне. Глазит маленькой, пухлой ладонью по голове и тихо спрашивает:

— Самая, а тебе не страшно летать туда?

— Страшновато, Шурочка, — говорю я улыбаясь. — Но ведь наше дело такое: бояться бояся, а немца бей. Привыкаем понемногу.

— А ты все-таки береги себя, — просит она, заглядывая мне в глаза. — Ежели что... как же мы без тебя? Галка подрастает. Будет спрашивать, где папа. Нет, нет. Не хочется думать об этом.

— Ничего с нами не случится, — говорю я твердо. — Знаешь, что сказал мне штурман: «Тот, кто нас сшибет, еще на свет не родился».

Она улыбается, идет на кухню готовить обед.

8 апреля. До чего хороша весна в степи! Вечерами уходим с Шурой за город. Горизонт — в лучах заката. Дымится прелая земля. На небе ни единого облачка. С юга

летят нескончаемые табуны птиц. Гуси, лебеди, казары, утки. В вечерней тишине свистят проворные крылья. Далеко разносятся тревожный покрик журавлей.

Иногда над нами проходят военные и транспортные самолеты. Задираю голову в небо. Провожая их долгим взглядом. Меня охватывает злая тоска. Очевидно, я рожден для воздуха. Земля прекрасна, и все же на ней скучновато. За штурвалом самолета веселее.

Нечто прижился сеп. Я стою на посадочной площадке. Возвращаются из полета машины нашей эскадрильи. Ребята рапортуют мне. Поздравляют с приездом. Подходят вооруженцы. Докладывают, что моя машина готовится к вылету. Иду за ними. Около машины — отец. У него сердитое лицо.

— Мало бомб с собою, Сашка, берешь, — говорит он. — Больше клади. Бомб хватит. Я только-что с завода. Изготавлиют боеприпасы круглосуточно. Твое дело — успевай отвози да бей без промаха.

— Стараюсь, папаша, — говорю я. — Спроси командованье. Тебе скажут, как мы с Куликовым работаем.

— Сколько бомбев убили?

Я называю приблизительную цифру.

— Подходяще, сынок.

Подходят стрелки-радисты, штурман.

— По кабинам, — команду я и просыпаюсь.

— Что с тобой? — спрашивает жена. — Дергаешься, кричишь.

— На бомбежку собрался во сне.

— О, господи! — говорит она, смеясь. — Ну, что за муж. Неужели наяву не налетался? Хоть во сне-то немного отдохни.

— Ничего ты, Шурочка, не понимаешь, — говорю я. — Это тебе не дано. Рожденный ползать летать не может.

— Ладно, сын. Я Горького тоже читала.

9 апреля. Читаю книгу капитана Ван-Ся «Крылья Китая». Чуждая повесть о китайских летчиках. Намного с глубоким знанием дела. Какие молодцы китайцы! Как они храбро дерутся, отстаивая родину. В наших газетах почти нет информации о японско-китайской войне. А там происходят крупные воздушные бои. Истребительная авиация китайской армии наносит японцам великолепные удары. Китайские пилоты очень молоды. Но они не боятся воздуха. Не знают страха в бою.

2 мая. Опять съехались в полк. Воюем, переучиваемся. Когда выдается свободный денек или наш самолет в ремонте, садимся за книги. Сегодня штурман принес из библиотеки «Философию войны» Рудольфа Штейнметца. Он сидит у стола, боком ко мне, и я вижу — книга задевает его за живое. Или

очень правится или, наоборот, бесит. Жду вспышки. Так оно и есть. Сергей встает, с силой хлопает ладонью по столу.

— Какая гадость!

— Что случится? — спрашиваю я, предчувствуя развлечение.

— Да как же! — восклицает он. — Ты послушай, какой гимн войне. Война у него явление прогресса, и благодетель для человечества, черт в ступе. Сей пресвященный муж считает, что покоренные народы обязаны стать рабами победителей. Да, да! Рабами. Он, видите ли, убежден, что рабство — величайшая воспитательная сила истории. Ну, чего только этот голландский немчик не нагородил для оправдания империалистических войн. Оказывается, главная причина нужды и вымирания австралийцев состоит в... «отсутствии условий, ведущих к войнам».

Он советует не видеть малых жителей во время войны. Прямо сказано: «Населению нужно оставлять только глаза, чтобы плакать, и обращение с ним должно быть самое грубое, чтобы ускорить заключение мира». Ловко, а? Фашисты это очень хорошо усвоили. Действуют по «философским» установкам!

Молочав немного, он спокойно добавляет:

— Мы — не пацифисты. Мы не боимся крови. Мы умеем драться, когда необходимо. Но превращать кровавую войну в спорт, некать в ней наслаждение могут лишь садисты, душевнобольные. Я — русский человек, и горжусь: в России не было и нет «философов», подобных Штейнметцу.

10 мая. Бомбим немецкую нехоту, артиллерию. Ночь темная. Горизонта не видно. Приходите вести машину по приборам. Бомбы сбрасываем с малых высот. Зенитки извергают массу огня. Много осколочных пробов на плоскостях.

11 мая. Дальний и трудный полет на город N. За линией фронта, когда осталось двести километров до объекта, упало давление масла. Мы ретровозманизь. Что делать? Прекратить полет? Если масло не идет, сгорят моторы, и тогда катастрофа. Повернуть назад — все равно не долетим домой, сядем в немецком тылу.

Решаю идти вперед. Около тридцати минут летим в полном неведении. Моторы не горят. Машина не сбавляет скорости. Все нормально. Ложимся на боевой курс. С дрожащим сердцем — вот-вот остановятся моторы — прохожу над целью. Штурман сбрасывает бомбы. Становится легче на душе.

Возвращаемся на базу. Осматриваем маслопровод, манометр для масла, бак. Все проверяется. Масло пло. Испортился прибор и

обмакнул. Коварство машины способно измотать самые крепкие нервы.

22 мая. В течение десяти дней блин по аэродромам протыпика, железнодорожным станциям, боевым порядкам, мостам и переправам.

23 мая. Бомбим ж.-д. станцию в N. Погода плохая. Почти все время идем слепым полетом. Бомбим с малой высоты. Зенитки молчат до и после сбрасывания бомб. Бомбы легли точно. Станция горит.

25 мая. Много думаю о немцах. Что за народ? В первые дни оккупации они расстреляли, повесили и замучили в Блесе 86 тысяч. в Симферополе — 30 тысяч, в Риге — 30 тысяч, в Одессе — 25 тысяч, в Мариуполе — 25 тысяч, в Днепрпетровске — 10 тысяч человек. Все эти жертвы — гражданское население, мирные люди. Почему немцы зверствуют? Грабят, пасируют, истязают старых и малых. Откуда это? Говорят, Гитлер немцев растлил, довел до отчаяния. Бесспорно, фашисты поработали над растлением немецкой молодежи. Они создали граббармию, которая ухищляет мир злодейством. Однако ведь Гитлер не с неба свалился. Он тоже немец. Так ли уж непорочны были эти хамоватые гапсы и фрицы до Гитлера? Я перечитываю русских классиков. Точно все сговорилось. Ни одного хорошего слова о немцах.

Салтыков-Щедрин пишет: «Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения, да вот что худо: к нам-то вы приходите не с этим, а только, чтобы наместничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? Немец. Кто самый безжалостный педагог? Немец. Кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием? Немец... Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно сменили с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир».

«Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы за тем и пришли, чтобы науку прекратить. Вы указываете на наши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подхода. Вот вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединенные» немцы, и тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина».

Нельзя без волнения читать эти строки. Будто сегодня написано.

Перелистываю Глеба Успенского. Впечатление русского человека, приехавшего в Берлин, передано этим писателем превосходно. «В самом деле, только пересекли границу... хват, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют понятия и которая заставляет нас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым режкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палани, шпирь, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самозвольная физиономия победителя, попадаются на каждом шагу, помпучно. Тут отдают честь, здесь смывают караул, там что-то выдвигают ружьем, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то».

«В окне магазина — победитель в разных позах: пропарывает живого француза и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство. Бакенбарды у героев расчесаны, совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величипою в аршин (из мрамора, из металла), причем усы, как бычьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте».

«...Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в них сидит образцовый сознательный зверь».

Разве это писано шестьдесят лет назад? Это же сегодняшняя Германия. Разве не торчатся пресловутые усы «победителей» на улицах Берлина 1940—42 годов? Образцовый сознательный зверь, увиданный Глебом Успенским, рвется в нашу страну на тысячах танков и самолетов. Гремят железом и сталью. Весь арсенал «победительной» Европы к его услугам. Он шагает по трунам, по колоде в крови. Зверь с усамп. В таско!

Мы должны испытывать законную гордость. Мы не капитулировали перед этим зверем, как Петены и Лавали. Мы бьемся второй год. Мы нанесли ему тяжелые рапы. Он еще силен. Яростно щелкает клыками. Но мы любим его. Уничтожим его. Освободим себя и весь мир от «нового порядка».

29 мая. Летали в составе большой группы. Объект — крупнейший аэродром противника в городе N. База бомбардировочной и истребительной авиации. Сожгли, разбили десятки самолетов противника, Разнесли в щепы аэродромные здания. Потерь с нашей стороны нет. В районе объекта чуть не столкнулся со своим самолетом. На развороте он внезапно вынырнул передо мною, иля навстречу. Резко подаю ручку вперед, поворачивая руль высоты, ш нос самолета опускается. В то же время нажимаю педаль, чтобы изменить направление влево. Мой «визави» зад-

рает свою машину вверх, проскакивает надо мною, чуть не задев меня «брюхом».

— Ох, чумовой народ! — раздается в шлемофоне голос штурмана. — Прут не глядя. Придется воздушных регулировщиков ставить.

30 мая. Бомбили аэродром в городе N. Уничтожено несколько «Юнкерсов». Разрушен ангар. Вернулся на свою базу с пробоиной в угосте.

10 июня. В течение десяти дней работал по немецким тылам. Удары по аэродромам и коммуникациям противника.

11 июня. Ну, и почка. На пути к объекту попал в грозовые облака. Страшный ливень. Шум дождя заглушает рев моторов. Вода залила левый мотор, и он перестал работать. Идем на одном моторе. Температура от 0 до 7 градусов. Обледенела заслонка карбюратора. Лед на плоскостях, на стеклах кабины.

— А что, если заглохнет правый мотор? — спрашивает Серега.

Отдаю приказание сбросить бомбы на запасную цель. С нами редко это бывает. Настроение упало. Отбывшись, идем на восток. Погода не улучшается. Левый мотор непременно не работает. Машина дергается, разворачивается. Выбываюсь из сил, чтобы удержать ее в прямолинейном полете. Не умеют рулить. Кружится голова. Подолывы пот не чувствуют педаль.

— Серега, выручай, — прошу я.

Он помогает мне держать педаль, чтобы машина не разворачивалась. Ливень. Густые облака. Болтанка. Дожмет спину. Усталость валит меня. Кусаю губы, чтобы не заснуть. Наконец-то выходим из дождя. Попалаем в теплую струю воздуха. Оттаяли. Заработал молчаливый мотор. Машина опять послушна, как обезжелезанный конь. Серега шутит со мною, рассказывает анекдоты.

Садимся на свой аэродром. Командир полка поздравляет.

— Я боюсь за вас, — говорит он. — Все поглядывал на часы. Нужно было вернуться. Чего же вы? Не новички, чтобы вызывать вас по радио на базу.

— Не привыкли возвращаться с бомбамп, — говорят штурман.

30 июня. Пятнадцать дней на направлении X. Били по войскам бомбами и из пулеметов.

6 июля. Истекшие дни и ночи наносили удары по войскам и базам противника.

8 июля. Легим бомбить аэродром в N. Я — «наводящий». За мною — несколько эскадрилий. С разрешения командования

везу, кроме фугасок, САБы — световые авиационные бомбы. Раньше их применяли изредка. Наши летчики опасались, что сбрасывание САБов демаскирует самолет на боевом курсе. Я советую ввести применение САБов как систему, Посмотрим, что выйдет.

Ночь темная. Зенитки молчат. На первом заходе в разных точках объекта сбрасываю четыре САБа. Они ярко вспыхивают, освещая аэродром. Бью фугасками. Налетают ведомые. Атакуют объект со всех сторон. ПВО частично подавлена. Бомбы со средней высоты отлично поражают цель. Операция прошла успешно.

10 июля. Бомбили железнодорожную станцию. САБы, сброшенные немного в стороне от вокзала, помогли обнаружить новую ветку. Немцы построили ее для «хранения» резервных эшелонов с горючим. Мы покарежили ветку, подожгли стоящие в туннеле цистерны. Громадный пожарище.

— Великолепная вещь, эти САБы, — сказал командир полка, когда мы рапортовали о результатах бомбежки. — Ваш почин следует подхватить. Огненные приказываю: в темные ночи всем экипажам брать с собою несколько штук САБов для осеяния объекта. При групповых налетах САБы будет сбрасывать ведущий.

— Патент на САБы за нашим экипажем, — напоминает Серега. — Мы первые их применили с успехом для дела.

— Ладно, ладно, — смеется командир.

11 июля. Бомбим узловую станцию. Мой самолет впереди всех эскадрилий. Сбрасываю над объектом САБы. Выхожу в тыл станции. САБы освещают цель. На втором заходе Серега сбрасывает фугаски. Маневрирую под ураганным огнем зениток. Отваливаю в сторону.

Приближаются наши эскадрильи. Делаю третий заход на цель. Сбрасываю остальные САБы. Справа и слева — разрывы зенитных орудий. Ведомые глушат батарею, бьют по станции, по скопленным эшелонам. Сопы огня вздымаются к небу.

Выходим на обратный курс. В моей машине осколками зенитных снарядов повреждены бензобаки. Горючее льется на патрубки. — Сгорим, Саман, — бормочет штурман. — Покалечили нас, гады.

Бензин в баках тает. Все-таки достигли до базы. На самолете семьдесят пробоя. Пробито левое колесо.

16 июля. Работали. Удары по войскам и коммуникациям противника.

17 июля. Возвращаемся на свой аэродром. Выпускаю шасси. Захожу на посадку.

Ночь. Слоистые облака. На высоте ста метров стрелки-радисты открывают огонь из пулеметов. Я решил, что у них получилась «техническая» ошибка. Спрашиваю, в чем дело. Они, должно быть, не слышат. Пулеметы без умоляу тарыхтят.

— Над нами немеский истребитель! — кричит Серега. — Внимание!

Я и сам уже понял, что произошло. Немец бьет из пушки и пулеметов. Наши зенитки открывают жаркий огонь. Выключаю старт. Набираю высоту. Некуда деваться. Мы с «Мессером» в кольце огня. Немцу плохо, но и мне не легче. Зенитчики хотят проучить его за махальство. Они решили не выпускать «гостя» живым.

— Вот попали в переделку, — докладывает Серега. — Смеху подобно. И его, сумасшедшего черта, спибут, и нас, за компанию.

«Мессер» получил гостинца. Дымит, планирует, спускается в стороне. Зенитки смолкают. Мы садимся, облегченно вздыхаем. Самолет шобит осколками. Своими осколками!

— За что вы меша-то шумиш? — спрашиваю утром у зенитчиков. — Нехорошо, друзья!

— Не приводит на хвосте немца, — смеются они. — С кем поведешься, от того и наберешься.

20 июля. Летим на Кенигсберг. Это — древнейший город Германии, основанный тевтонским орденом во время похода на Восток. Теперь — арсенал гитлеровской армии, база военной промышленности, машиностроения, судостроения. Город мракобесия и реакции, до войны он был очагом антисоветских интриг. Мы ничего не забыли. Он получит первый удар.

Метеорологи предсказывают плохую погоду. Все-таки решили лететь. Плохая погода имеет свои плюсы: нас не ждут, на пути не барражируют истребители, не так страшен огонь зениток.

Как повелось с некоторых пор, я мгу блин. Сзади, с большими интервалами, следуют наши эскадрильи. Когда мы с Сергеем подежем и осветим объект, подойдут ведомые.

На пути облака. Пытаемся обойти их с юга. Не удается. Идем на север. Там еще хуже. Штурман не видит ни земли ни звезд.

— Придется лезть в облака, — говорит Сергей.

Идем по приборам. Снегопад. Температура опасная для нас: от 0 до 7 градусов. По-настоящему леденеем.

Набираю высоту, ибо чем холоднее, тем безопаснее. Передаю радиogramму на аэродром: «Продолжаю полет в облаках». Летим

в пурге. Снег попадает в кабину. Тает на лице. Задепляет глаза. Медленно тянется время. Начинаешь не доверять часам.

— Сколько до цели? — спрашиваю Серегу. — Мне кажется, мы перевалили за нее.

— Триста километров с гаком, — утешает он меня.

— Я выбился из сил, Серега. Мокрый, как суслик.

— Терпи, друг. Долетим.

Члены экипажа веселят меня «авиационными» анекдотами.

— Под нами Кенигсберг, если я понимаю что-нибудь в медицине, — докладывает штурман. — Внимание и бдительность!

Усталость мимовременно проходит. Цель под нами. Она закрыта облаками. Ходим над целью с расчетом вызвать зенитный огонь и убедиться, что не ошиблись. С земли стреляют. Очень хорошо!

Снижаемся. Сбрасываем бомбы. В облаках слышны зенитных разрывов. На обратный курс! Весело гудят моторы. Опять пробиваем облака. Облачность не кончается и там. Идем на север. Попадаем в прозовые облака. Болтает. Трудно вести машину. Чувствую небывалую усталость. нюхаю шаматырный спирт. Достая термос, выпиваю стакан горячего чая с лимоном. Становится легче.

Давно летим в кислородных приборах. Снижаться нельзя. Боремся обледенеть. Стрелки-радисты докладывают:

— Кислорода осталось на пятнадцать минут.

Приказываю экипажу экономить кислород. Закрываем аварийный экран. Лететь все тяжелее. Клонит в сон, будто я не спал несколько суток. Опять нюхаю шаматырный спирт.

Около восьми часов пробыли в облаках. Туда и обратно — слепым полетом. Переходим линию фронта. Рассвет. Облака разнесло. В оранжевой дымке ярко-желтое солнце. Земля под нами, как море в зыби редкого утреннего тумана.

— И жизнь хороша, и жить хорошо, — вспоминает Серега Маяковского. — И летать с Молодчиком хорошо, и бить немца хорошо. Да здравствует солнце, да сгинет проклятая немчура!

Садимся на запасный аэродром. Отдыхаем. Заправляемся горючим. Через тридцать минут — на своей базе.

В штабе поздравляют. Штабисты говорят, что мы совершили небывалый боевой полет.

— Трудно было?

— Трудно, — говорю я. — Но если нуж-

но — хоть завтра снова полетим. Экипаж здоров. Ненависть к врагу в сердцах не погасла.

22 июля. Опять на Кенигсберг. Такая лунная ночь. Но мы знаем, что и этот полет будет нелегким. Небо постепенно меняется. Луна скрылась. Входим в облака. Они лежат над землей двумя слоями. Первый достигает высоты четырех тысяч метров. Второй — от пяти до восьми тысяч метров. Идем в щели между облаками. Эта щель постепенно сжимается. облака облепляют нас, как вата. Температура падает. На кромках крыльев, на стеблях кабины, на допаях винта и расчалках хвостового оперения кристаллизуется лед. Струя воздуха, отбегающая машину, не оказывает на него влияния. Включая антиобледенитель карбюратора правого и левого моторов.

Теоретичеки учат: «По отношению к противнику можно применить один из двух способов: или пойти навстречу ему и вступить с ним в борьбу, или поторониться. Имея дело с явлением обледенения, следует держаться только одного способа, а именно — сторониться». Что ж, попробуем сторониться. Бросаю машину вправо и влево. Нет, там сегодня не везет. Район «худой» погоды слишком велик. Наша маневренность связана лимитом горючего. Решаем пробиваться по прямой.

В самолете — легкие вибрации, удары. Куликов озирается по сторонам, выглядывает из кабины. Я тоже беспокоюсь. При изобретении антиобледенители помогают отлично. Они также спасают положение в случаях незначительного нарастае стеклообразного льда, образующегося на крыльях. Но если лед начинает отлагаться вокруг чехлов обледенителей и образует нарост на поверхности крыльев за чехлом, тогда оставь надежду на антиобледенитель и «сторонись». Не поторонись — пеняй на себя. Вес машины будет катастрофически увеличиваться. Форма крыльев искажится. Рули и элероны станут бесполезными. В течение десяти минут нарастание льда может нарушить управление самолетом, сделать полет опасным.

Набираю высоту. Самолет неохотно ползет вверх. Выдержат ли антиобледенители поединок с природой?

Куликов советует снизиться. Спускаю самолет до трех тысяч метров. Попадаем в теплый слой воздуха. Ледяной покров тает. Порывами налетает боковой ветер. Отчаянная «болтанка». Земли не видно. Пользоваться астрономической и визуальной ориентировкой невозможно. Но мы, кажется, точно идем по курсу. Сережа ловит звуки радио-

станций и, как всегда, верно определяет кратчайшую дорогу.

Мы стартовали целой группой. Сперва летели вместе. Теперь вокруг нас ни единой машины. Льет дождь. В облаках разряды электричества. Огненные вспышки то справа, то слева. Машина вздрагивает, как от удара. Оглушительные раскаты грома, в которых топит гул моторов. Дождь сменяется крупным градом. Сверкает молния. После вспышки становится совсем темно, и в этой грозовой темноте видно, как светятся наэлектризованные металлические части самолета. По стеклам и антеннам пробегают огненные змейки. В кабину струится вода.

— Самка, как себя чувствуешь? — спрашивает Куликов.

— Ничего, — говорю я. — Бывает хуже. Мужайся, мальчик.

— Чертова погода, — ворчит он. — Сколько ты летал, такой карусели не видел.

А «карусель» не утихает. Вертикальные токи воздуха бросают самолет вниз. Происходит быстрое и неожиданное изменение высоты полета. В приборах скачки, колебания. Машина пеняется большую перегрузку.

По бокам сверкают молнии.

— Не шаркает в антенну? — спрашивает Серега.

— Не помест, — ободряю я его шуткой.

Случай «попадания» молнии в самолет, в самом деле, редки. Но можно случайно оказаться в центре электрического разряда, и тогда не сдобровать. Покарежит радиоборудование, раздерет плоскости, выключит радиоприемник, расплавит металлические части.

«Болтанка» становится невыносимой. Спускаюсь на бреющий. Некоторое время иду над землей. Затем поднимаемся до тысячи метров. Над нами — гроза. Освещающий этот тучесный зыбень с фейерверком оранжево-синих молний прижат к земле. Нам он мигает. Петрибитель взвился бы вверх, прошил над облаками. У нас есть кислородные приборы. Однако сегодня забираться гвель с бомбовой нагрузкой рискованно.

Наифилов принимает радиogramму из Москвы. Нам приказывают обойти грозу и следовать к цели. Ответаем: «Есть».

— Где находимся? — спрашиваю Куликова.

Он называет пункт.

Грозовые облака поредели. Дождя нет. Через несколько минут действительно мелькнула под самолетом река. Серега не ошибает-

ся. Набираем высоту, снова входим в дождевое облака. Опять «болтанка». Вспышки молнии. Искры на плоскостях и фюзеляже. Котки воды, от которых кабина превращается в ванну.

Идем на запад. Идем, несмотря ни на что. Задание нужно выполнить.

Серега командует:

— Развертывай вправо!

Вру вправо. Поднимаюсь до облаков. Идем на северо-запад. Ловим радиостанцию. Слышна музыка. В наушниках — игривая мелодия. Гансы и Гретхен веселятся. Они улаживают себя музыкой. Они еще ничего не знают. Скоро наш удар потрясет город, и диктор, много раз объявлявший об уничтожении советской авиации, первый ринется в бомбоубежище. В просветах облаков мелькает небо. Серега с помощью секстанта измеряет высоту Полярной звезды, определяется.

Мелькает земля. Темные силуэты города. Кенигсберг. Очевидно, звукоуловители поймали нас. Дан сигнал воздушной тревоги. В городе гаснут огни. Начинают работать зенитки.

Заходим на цель. Штурман говорит: «Бросай». Отрываются бомболочки. Корабль встряхивает. Густые вспышки зениток. Мы закончили бомбометание. Прорываемся сквозь огонь ПВО, набираем высоту и делаем круг над городом.

Подходят наши эскадрильи. Один за другим следуют бомбовые удары. Город в огне, в дыму. Наступил час возмездия для Кенигсберга. Пусть дрожат в своих норах полные фрау и фрейлей, еще вчера мечтавшие о польских с Восточного фронта! Нахерым! Впереди много ночей. Все фашистские города получат свою долю гостинцев. Не обойдется никого. Мы шедры на месть. Воздадим сторицею за Минск, Смоленск, за Одессу, за Киев и Севастополь.

Кладу корабль на обратный курс. Нас немного попаралати осколки. Машина в полном порядке. Гроза, кажется, кончилась. Ожидая ллкуюющих возгласов штурмана. Вместо этого в наушниках родная мелодия:

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет.
Молодые, смелые ребята,
На заре уходим мы в поход!

Серега поет, захлебываясь от полноты чувств. Облегченный корабль легко и плавно несет нас под облаками. Хорошая почва. Удачная ночь. Скоро будем дома. Я обниму Серегу и скажу ему, какой он все-таки

молодец. Дай бог всякому пилоту такого штурмана. С ним в любую погоду можно летать, хоть к чорту на рога.

Он мастерски обеспечивает всегда, как и сегодня, безошибочный выход на цель. Идем ли мы по приборам, или с помощью визуальной ориентировки — я знаю непременно: выйдем на цель с той стороны, откуда лучше всего пачать бомбежку. Его навигационные расчеты точны и, кроме того, он, по-моему, обладает каким-то особым чувством ориентировки, которое ни разу его не подводило. Может быть, это следует назвать интуицией? Так или иначе — успех наших операций во многом зависит от штурмана. Пилот — это мускулы и воля самолета. Штурман — душа и глаза.

Включаю наушники. Хочу поздравить Серёжу с выполненным заданием. Но он все еще поет, и я начинаю подпевать:

На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд.
Вместо нас, девчата, не грустите,
Мы с победою придем назад!

Переваливаем через линию фронта. Пемелые зенитки молчат. Ночные истребители врага не патрулируют. Спокойное голубое небо над нами, и внизу милая, необъятная русская земля. И щемит сердце от мысли, что эту родную землю топчет, грабит, кровосает враг. Ну, ничего. Будет на нашей улице праздник. Рано или поздно вышвырнем оккупантов. И опять зацветут родные поля. Не жить вышвому немцу в «восточном пространстве». Не жить!

— Кто придет к нам с мечом, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет земля русская.

Так сказал Александр Невский. Так говорим сегодня и мы.

23 июля. Во всех газетах под шапкой «Новый полет наших самолетов на Кенигсберг» напечатано: «В ночь на 21 июля группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно-промышленные объекты г. Кенигсберга и его района. В результате бомбардировки в городе возникло 6 очагов пожара и произошло 4 сильных взрыва».

25 июля. Третий полет на Кенигсберг. Вместо Васильева со мной летит писатель Виктор Гольцев. Он давно просился в дальнюю «экскурсию» по немецким тылам. Я пытался отговорить его. Он все настаивал. Упрямый гарень. Я люблю упрямых и на-

стойчивых. Пришлось уступить. Получен разрешение командования. И вот мы в июле.

Погода на сей раз хорошая. Летим без напряжения. Дорога «проторенная».

— Как себя чувствует Гольцев? — спрашиваю я у Папфилова.

— Хорошо, — отвечает он. — Говорит — мало впечатлений. Жалеет, что не попал! предыдущий рейс.

— Пусть подождет, — отвечаю я со смехом. — Под огнем зениток он почувствует аромат полета. Ручаюсь — будет весело.

И действительно, зенитчики встречают нас «хорошо». Успешно маневрируем. Обращаем бомбы.

— До свиданья, Кенигсберг! До новой встречи. Заливай свои раны. Поглядывай в небо. Не жалуйся на судьбу. Мы напомним тебе слова Мольера: «Ты сам хотел этого, Жорж Дантен». Не завидуй Штеттину, Ганноверу, Дрездену, Лейпцигу, Магдебургу. Не завидуй ни одному городу «Третьей империи». Придет их черед.

10 августа. 20 июля Совинформбюро сообщило о подвиге экипажа сержанта Дивиченко. Над вражеским аэродромом бомбардировщик, ведомый Дивиченко, был подожжен огнем зенитной артиллерии и истребителя противника. Объятый пламенем, он с брешущего полета продолжал уничтожать немецкие самолеты, стоявшие на земле. Потом Дивиченко направил горящую машину на автоцистерны с горючим.

«Летчики, участвовавшие в этом полете, видели, как поднялись огромные клубы дыма и огня горящих автоцистерн, — говорилось в сообщении Информбюро. — Смертью храбрых погибли сталинские соколы сержант Дивиченко, штурман Журавлев, стрелок-радист Мысиков и воздушный стрелок Ешов. Советский народ всегда будет помнить героев-летчиков, до последней минуты своей жизни борющихся за родину».

На днях Дивиченко, Журавлев и Мысиков вернулись в свой полк. Погиб один Ешов. Я сегодня получил многотиражку «Красные соколы» с напечатанным в ней интервью сержанта Дивиченко. «Наш бомбардировщик был подбит над самым аэродромом, — рассказывает сержант. — Пламя быстро охватило всю левую плоскость. Левый мотор умолк. Машина пала теперь грузно, тяжело. Она не слушалась рулей управления. Мысиков и Ешов вели непрерывный пушечный огонь по самолетам врага, стоявшим на аэродроме. Один за другим загорелось несколько немецких истребителей».

Самолет тянуло к земле. Ленты в пулеметах кончились. А тут еще паперерез горящему самолету ринулся «Мессершмитт». «Умирать — так с музыкой», — подумал Дивиченко и приказал стрелку-радисту Журавлеву продолжать боевую работу — сбрасывать бомбы на вражеские самолеты. Серия бомб разорвалась в самой гуще немецких машин.

— Пятнадцать «Мессеров» прикончили! — крикнул Журавлев.

Бомбардировщик, оставляя густой дымовой след, приближался к земле. Экипаж понял, что жить ему осталось несколько секунд, но никто из них не думал о том, чтобы выброститься с парашютом. Ведь у них еще были бомбы. И Дивиченко продолжал искать цель. «Не умирать же просто врезавшись в землю».

Летчик увидел вперед, прямо по курсу, колонну немецких автомашин. А самолет снижается и снижается. Дивиченко направил машину на колонну. Каждую минуту бомбы, висящие под фюзеляжем, могли взорваться. Тогда они погибли бы, не нанеся ущерба немцам. Надо было спешить.

Вот они над самой колонной. Сбрасывают бомбы с высоты 7-8 метров. Раздается страшный взрыв. Что было дальше — Дивиченко плохо помнит. Очевидно, взрывом самолет швырнуло в сторону. Он пролетел еще немного и упал в овраг между двумя холмами.

Дивиченко выскочил из разбитой машины. При падении он ранил себе лицо. Текла кровь. Горела одежда. Он бросился на землю и стал кататься, чтобы потушить пламя. Из машины вылезли Журавлев и Мыльников. Мертвый Ешов лежал в кабине. Они уползли в лес. Немного передохнули. Определились по компасу, решили пробираться домой. До линии фронта было сто двадцать километров. Голодные, израненные, они одолели эти километры, проползая через фронт и снова рвущая в бой.

Нужно перо Джека Лондона, чтобы написать об этих людях бомбардировочной авиации, показать их мужество и волю к жизни.

17 августа. Превышшие педели бомбил войска, ж.-д. станции, аэродромы, коммуникации.

19 августа. Летим на Данциг. Приятная погода: луна льет на землю ровный синевато-матовый свет. Ветра нет. Прекрасная видимость. Подходим к объекту на высоте пяти тысяч метров. Видны пожары. Это

«поработали» наши эскадрильи, ушедшие сегодня вперед мещи. Что ж, поддержим товарищей. Добавим огонька и перцу с горчичкой. Твой черед, Данциг! Получай свою долю нашей ненависти к тебе!

Зенитки встречают нас за городской чертой. Ловят прожекторы. Слепящие лучи скрестились на машине. Разрывы кругом усиливаются. Увеличиваю скорость. Снижаю. Прожектористы передают нас друг другу. Выскакиваю из лучей. Панфилов то и дело докладывает, где рвутся снаряды. Напряженно работаю педалями и ручкой. Самолет послушно виляет, вводи в заблуждение ПВО. Вижу цель. Выравниваю полет. Успокаиваю машину. Серега сбрасывает груз.

Нырнем в огна между разрывами зенитных снарядов. Теперь домой. Отдыхать.

20 августа. Наш полк приказом Народного Комиссара Обороны преобразован в Гвардейский. За год полк сделал 2.500 боевых вылетов. Из них ночью — 1.786. На военно-промышленные объекты и живую силу врага сброшено около 3 тысяч тонн бомб. В воздушных боях стрелками-радистами сбито 24 истребителя противника. Сожжено и разбито на аэродромах 80 самолетов, много повреждено.

Экипаж майора Чумаченко сделал 154 боевых вылета без единой аварии. Капитан Симонов — 150 вылетов. Майор Бранухин, капитан Тюленев, старший лейтенант Гарагин и другие «догоняют» Сизюнова.

В полку два Героя Советского Союза, 172 орденоносца.

И. В. Сталин высоко оценил работу летчиков, штурманов, стрелков, инженеров и техников нашей части. Все радостно взволнованы. Поздравляют друг друга.

Сталинская воздушная гвардия. Это надо заслужить.

— Сама, мне даже страшно становится, — говорит штурман, развертывая газету с приказом ПВО. — Какая ответственность ложится на каждого из нас! Конечно, у нас в полку народ подобрался хоть куда. Гречишкин, Гарагин, Симонов, Тюленев, Андреев, Чумаченко и другие — все это летчики первоклассные. Они показали, как надо бить врага. Но придется еще подтянуться. Кто хоть чуточку запялняет гвардейское знамя — погоним из части.

24 августа. Истекшую пятидневку работали на Западном. Были вытесни с «Мессершмиттами» и «Хейнкелями». Ничего при-

мечательного. Ассы у немцев, очевидно, вывелись. На истребителях молодые летчики. Нападают неумело.

25 августа. Завтра 28-я годовщина гибели штабс-капитана Петра Нестерова. Мы гордимся такими предками. Гениальный русский летчик, автор мертвой петли, родоначальник высшего пилотажа, страстный пропагандист авиационного дела в России, Нестеров был в то же время теоретиком воздухоплавания, оригинальным конструктором, исследователем, ученым.

Еще задолго до того, как сделать (первым в мире) мертвую петлю, он доказал, что если повалить аппарат системы Ньютона на крыло на 90°, то аппарат, начав падать, впоследствии переменит направление, пойдет носом вниз, после чего пилоту нетрудно перевести это падение на планирующий спуск. Это и была теория мертвой петли, сыгравшей громадную роль в истории авиации. По системе Нестерова сделал мертвую петлю известный французский летчик Пегу. Затем она стала общим достоянием. Без мертвой петли Нестерова, возможно, не было бы «витков восходящего штопора» и «медленной бочки» Валерия Чкалова, оплеломившей при первой демонстрации зрителей.

Летом 1914 года немецко-австрийские полчища хлынули на Россию. Штабс-капитан Нестеров, «восходящее светило русской науки», как его называли, прекратил свои исследования, отправился в действующую армию. Первые недели он прославился на фронте боевыми вылетами. Однажды ему пришлось проводить воздушную разведку в районе Львова. Сдал мотор. Вынужденная посадка в тылу противника. С помощью галичан, сочувствующих русским, Нестеров уничтожает свою машину, переодевается в крестьянское платье и пешком пробирается домой. При переходе через фронт берет в плен австрийского часового и приводит его в расположение русской армии.

11-й авиационный отряд, в котором служил Нестеров, стоял в городе Жолкиеве. Там же находился штаб армии. Утром 25 августа над Жолкиевом появились австрийские самолеты и сбросили бомбу, которая не разорвалась. 26 августа австрийцы снова прилетели. Казачья артиллерия дала по австрийцам несколько залпов. Но скоро огонь пришлось прекратить. В строй вражеских бомбардировщиков врвался русский самолет «Моран». Это был Нестеров. Навстречу врагу он появился один, без наблюдателя, не пристегнув себя «поясом безопасности» — привяз-

ными ремнями. «Моран» имел большую скорость по сравнению с неуклюжими австрийскими самолетами. Нестеров с высоты в 2 000 метров ринулся на врага. Для атаки он выбрал самую крупную машину. Судя по всему, он хотел налетом сверху «посадить» атакуемого австрийца и взять в плен. Тот, подобно нынешним «храбрым» «Юнкерсам», «Игуарам» и «Дорнье», попытался удрать. Тогда Нестеров протаранил противника и вместе с ним рухнул на землю. Вот она, русская душа! Увлеченный азартом битвы, Нестеров не мог упустить врага. Ценою собственной жизни Петр Николаевич «приземлил» австрийца и обратил в бегство остальных бомбардировщиков противника.

Это был первый таран русских летчиков. Боевой почин Нестерова подхвачен советскими истребителями. Таран сегодня наводит страх на фашистских асов. Еще не вывелись расчетливые умы. Они до сих пор считают таран безумством. Не будем с ними спорить. Мы вслед за Горьким повторяем: «Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость жизни».

На школьной скамье я мечтал о профессии летчика-истребителя. Образ штабс-капитана Нестерова стоял перед моими глазами.

Буду драться за родину, как Нестеров, — говорил я себе. — И если суждено погибнуть в бою, погибну без колебаний, как Нестеров!

Бьются отечественная война. Будем ставить памятники летчикам-героям, погибшим в боях с немецкой ордой. Вспомним тогда и Нестерова, воздвигнем ему достойный его памятник. Это надо сделать. Штабс-капитан Нестеров — образец отваги и героизма. Он вдохновил нас на подвиги во славу родины. Память его бессмертна...

Разрешен полет на Берлин. Мы давно готовились к нему.

Столько месяцев мы мечтали об этом! И когда уже чуть-чуть охладели к этой необычной мечте, как к чкаловскому замыслу лететь «вокруг шарика», нас обрадовали таким неожиданным решением. Сережа хедит надувшись, как пиджук. У него сияющее лицо. Выбираем карты. Уточняем маршрут. Готовимся к полету.

26 августа. Курс на Берлин. Летим с максимальной бомбовой нагрузкой. До линии фронта — грозовая облачность. Находим коридор в облаках, Устремляемся в него. Справа и слева — гроза. Над нами — звездное небо. Так идем около двух часов.

Облака разнесло. Пролетаем над Штеттинем. Его кто-то из наших основательно «добанул». Пожары. Вспышки зенитных разрывов. Проекторы шарят по небу.

Сильный встречный ветер. Машину качает. Трудно идти. Увеличивается расход горючего. Летим молча. Каждый из нас в эти минуты думает о своем. А все об одном: как бы поудачнее отбомбиться, чтобы Берлин долгие-долгие вспоминал наш короткий визит. Весною я прочел в журнале описание полета английских летчиков на Берлин. Они хорошо бомбили. Я позавидовал им. По вот и мы «порабачаем» над столицей «Третьей империи». Носорернуемся с англичанами.

— Внимание! — говорит Сережа. — Подходим.

Перед нами Берлин. Огромный черный город. Он затаялся во тьме, как спрут. Мне кажется, я чувствую его гнилое, злобное дыхание. Вижу пастороженные глаза, сбитые злобой и страхом. Рассадник заразы и смерти, он не может спать спокойно. Его трясет лихорадка войны.

Нас шупают проекторы. Нажимаю левую педаль. Уклоняемся в сторону. Блуду машину по боевой курс. Волнение сжимает грудь. Волнуюсь не от страха, что меня сшибут. Нет, нет. Я боюсь — не промазать бы. Не сплоскаться бы в последние секунды. Обидно будет, если бомбы разорвутся на площади, на пустыре. Первый мой полет на Берлин нужно завершить отличным ударом. Он заслушала его, прокаженный город. Завтра весь мир узнает о нашем полете. Радостно вздохнут миллионы людей, истерзанных гитлеровскими шакалами. Матери, потерявшие детей, благословят нас, как мстителей и борцов за правое дело.

— Спасибо родные, — скажут они нам. — И пусть ваш удар будет не последним. Стирайте с лица земли фашистскую погань.

Пусть колченогий Геббельс кричит завтра с пеной у рта, по радио, что никакого полета на Германию не было. Пусть он обманывает весь мир. Пусть изворачивается. Берлинцы узнают музыку авиабомб, пущенных нами в сердце города. Они услышат ее.

Бомбы отрываются от машины. Летят в цель. Нас ловят проекторы. Сотни проекторов. Мои соратники занесли. На гори-

зонте — ги одной машины. Я один над городом. Вся система ПВО Берлина оцетивается против меня. Зенитки работают. Месточайный шквальный огонь, какого мы еще не видели.

Несколько минут идем в лучах прожекторов. Надо выйти из лучей! Из всех сна работая педалями и ручкой. Стрелки-радисты сперва докладывают о разрывах с той или другой стороны. Потом умоляют. Маневрирую на свой риск!

— Хэлло! — говорю я. — Спать улегаясь, что ли?

В шлемофоне голос Александра Панфилова: — Товарищ командир. Сотни разрывов со всех сторон. Внизу и сверху разрывы. Бесплезно наблюдать за воздухом. Ведите машину, как знаете.

Много километров идем в лучах прожекторов, под огнем зениток. Прорвался. Ушли.

Идем по визуальной ориентировке. Стрелки-радисты запевают песню. Штурман тоже поет. Я чувствую свинцовую тяжесть в ногах. Усталость сковывает тело. Скипаются глаза. Пюхаю панатирь. Проходим линию фронта.

Садимся на аэродром добавить в бак горючего. Только спустились из кабины, вижу. — взлетают потребители. Догадываюсь. в чем дело, команду: «По местам». Круто поднимаю машину в воздух. Над аэродромом медленные бомбардировщики. ПВО стегает по ним снапами огня.

Пемцев отогнали. Мы снова садимся.

— Вы в рубашке родились, — говорит подошедший механик. Когда вы поднимались, бомба уже свистела под облаками. Вы осуществили полет с предельной быстротой и это спасло вас. Молодцы, ребята!

Итогами полета я доволен. Но не обошлось без ошибок. Заход на цель я делал не по ветру, а сбоку. Это снизило скорость, и наш самолет медленно шпыл над хорошо защищенным объектом. После бомбометания уходил с разворотом в 90 градусов. Это задержало мое пребывание над огнем зениток на лишние 2—3 минуты. Ошибки учту. Не повторю.

29 августа. Четвертый полет на Кенигсберг. Отличная погода. Задавшие выполнили успешно.

30 августа. Жена Сергея, Лидия Николаевна, мать, Надежда Борцовна, и пятилетний сын, Юра, погибли на юге от рук гитлеровцев. Земляк сообщил ему об этом в письме. Сергей сидит у стола, подбородок ладошью. У него окаменело-суровое лицо. Брови сдвинуты к переносью. Он не

плачет. Но тем безысходнее горе, когда его нельзя выплакать слезами. Знаю по себе.

— Тяжело, Серега? — говорю я и глажу его, как ребенка, рукой по голове. — Крепись, мальчик! Ничего не поделаешь. Они разделили судьбу многих русских женщин, детей, стариков. Странная судьба. Стомстим за все. Кровь за кровь!

Каким-то кривляватым, незнакомым голосом Сергей произносит: — Это не люди! Нет, не люди! Ядовитые, мерзкие гады. Для них нет ничего святого!

Он куда-то уходит. Потом возвращается, молча сидит на диване. У него хмурый, тяжелый взгляд. Курит папиросу за папиросой. Вдыхает. Надо чем-то отвлечь его от мрачных мыслей и настроений. Я не знаю, как это сделать. Приглашаю в Дом Красной Армии. Сегодня — московские артисты. Большой концерт.

— Оставь меня! — резко говорит он. — Какой ты бестактный. Семья погибла. Понимаешь, семья! Сына моего, в котором была частица моей души, уничтожили! Вот! А ты хочешь, чтобы я пошел слушать анекдоты кофетерасе? Благодарю!

— Ну, давай сядем рядом и оба начнем реветь. Легче будет?

— Я не прошу об этом.

— Так чего ты хочешь?

— На бомбежку! Немедленно в полет! Иди, проспись.

— Погода полетная, — говорю я мягко, сознавая всю слабость аргумента.

— Вот как! — восклицает он. — И это смеет говорить капитан Молодчий! Не ослышался ли я? Полетной погоды нет. Быть не может. Мы летали с тобой в туман, в дождь, в снегопад. Было можно. А сегодня нельзя?!

— Летать можно, Сережа, а принципиально бомбить трудно. Мы не имеем права впустую расходовать боеприпасы. Командование не разрешает, стало быть, нельзя.

— А ты все-таки сходи, спроси, — настаивает он. — Скажи в штабе: сердце не выносит. Враг заливал кровью нашу землю. В воздух, Саша! Они вызвали в нас ненависть и злобу. Пусть получают ответные удары!

— С тобой нельзя лететь сегодня, — говорю я. — Ты слишком взволнован. Ты не в себе. Чехов сказал: «Когда садиться писать рассказ, будь холоден, как лед». Это относится и к нам, летчикам. Понимаешь? Твоей мозг возбужден. Ты можешь сделать ошибку. А летчик ошибается над территорией против-

ника лишь один раз в жизни. Мы оба еще нужны родные. И не хочу и не могу расстаться с тобой сегодня, майор Куликов. Испо? Ну, все.

Он смотрит на меня растерянным взглядом. Мнет в руке недокуренную папироску. Снова вздыхает.

— А завтра полетим, Саша?

— Полетим, — отвечаю я. — Если успеешь — полетим.

1 сентября. Поступили сведения о недавнем полете нашей части на военный аэродром, на котором стояло много немецких самолетов. Итоги бомбежки: уничтожено 12 самолетов, повреждено 36, возможно 40 автомашин, взорван склад горючего, 5 складов продовольствия, убито 156 солдат и офицеров.

Неплохо, мне думается.

2 сентября. Получаю письма от знакомых людей. Минут женщины, старики, пионеры, бойцы и командиры. Благодарят за бомбежку германских городов. «Сердца наши наполняются радостью, когда мы читаем в газетах, что большая группа советских самолетов бомбардировала очередную немецкую вертеп, — говорит в письме Мария К. — Мы аплодируем вам, дорогие товарищи! У меня два сына на войне. Дерутся неплохо, и горжусь ими. Горжусь и вами, славные летчики. Мстите за муки, за боль родины. Не жалейте бомб. Пусть содрогнется враг от наших полетов. Привет вам, родные!»

4 сентября. Летим на Будапешт.

— К венграм в гости поехали, — говорит штурман. — Интересно, как встретят, чем угостят.

— На хорошее угостение не рассчитывай, — смеюсь я. — Парод бедный, вассалы. Сами крошками с чужого стола питаются.

Погода неважная. Грозовые облака. Находим в облаках ворота. Идем по наземным ориентирам. Над нами Чехословакия. Венгрия. Освещенные, как в мирное время, города. На Дунае — огни буйков. Освещенные полным светом пароходы.

Подходим к Будапешту. Город только-что бомбили наши самолеты, стартовавшие ранее меня. Видны пожары. И все-таки много незатемненных домов. По улицам идут автомобили, сверкают фары, горят уличные фонари.

Заходим на цель. Огонь ПВО жадный. Стреляют всего две — три зенитки. После того, что мы видели в Кенигсберге и Берлине, это детская игра. Откровенно говоря, мы ждали не такого приема. Ну, что ж, бедность не порок. Островский прав.

Расчетливо, спокойно сбрасываем бомбы. Отстаиваем на восток. Проходят эскадрильи наших самолетов. Оглядываясь, вижу красно-желтые вспышки. Это рвутся советские фугасы. Холун Гитлера получили свою долю. До сих пор они жили спокойно. Они думали: «Мы далеко, нас не достанут». Безнаказанность породила пахальство и наглость. Они утратили своей силой. Бряцали оружием. Сегодня они протрут глаза и почешутся. Наши бомбы сбавят им спесь.

Идем домой в грозовых облаках. Обратный путь гораздо труднее. Достается штурману и мне. Нюхаю пахатырь. Ем шоколад. Экипаж поет песни, чтобы не дать мне уснуть. Приземляемся на своем аэродроме. В воздухе пробыли десять часов и одну минуту.

5 сентября.— Сана, погиб генерал-майор,— произнес Куликов, открывая дверь.

Я поднимаюсь, не могу пропустить слова. Такая жгучая боль в сердце. Сережа поплотит платок к глазам. Его плечи дрыгаются. Может быть, слухи? Не может этого быть! Расспрашиваю Сергея. Он сообщает подробности. Сомнений нет.

Погиб мой учитель, мой крестный отец. Сажусь на ступи и замираю в оцепенении. Николай Иванович. Какой это был человек! Десять лет в авиации. Воспитал сотни летчиков, прославивших советскую авиацию.

Драгуя с финнами. В финскую кампанию его полк совершил восемьсот боевых вылетов. Сто тридцать человек из полка получили правительственные награды. А теперь? В отечественной войне? Кто из нас не чувствовал его направляющей руки?

Он был требователен и строг. Мы, молодые пилоты его, иногда фронтати. Говорили о непринципности. Но быстро убеждались: он прав. Он хотел сделать нас мастерами, воинами высокого класса. Человек орлиной души,— он не терпел посредственности ни в чем. Слютяев, лодырей, трусов презирал, ненавидел. Не поддавались «нерековке» — встал в три шен за порог своей части. Он признавал только отличную работу. Вся нас от победы к победе. Мы любили его. Любовь граничила с обожанием. Его ласковое слово обывляло нас. Упрек — заставлял глубоко задумываться, болезненно переживать.

Вспоминаю одну его беседу с нами. Наша армия оставила крутиный город. Мы пали духом. Кто-то вздохнул:

— До каких пор будем отступать?

— Не хныкать, мальчижи,— строго сказал Николай Иванович.— Разные бывают отступления. Отходя, мы наносим противнику

смертельные раны. Ломаем его технику. Помните суворовское «заманивай!» Заманивай!? А потом скажем: Стой! Потом скажем: вперед, на Берлин! Русские умеют отступать и наступать.

Он долго еще говорил об искусстве маневра в русской армии. И нам стало легче от его искренних слов, сказанных с подкупающей убежденностью в своей правоте.

Гроб установлен в Доме Красной Армии. Идем туда. Торжественная тишина в зале. Масса цветов. Ветки от друзей и соратников. У изголовья в почетном карауле стоят гвардейцы, его воспитанники.

Я смотрю на суровое и строгое лицо генерал-майора. К горлу подступают слезы. Какая утрата! Мне кажется, он встанет сейчас, откинет голову, и мы услышим до дрожи знакомый голос:

— Так-то, мальчижи. Вперед, на Берлин!

12 сентября. Сегодня нам вручают гвардейское знамя. На просторном поле аэродрома выстраивается наш полк. Член Военного Совета поздравляет личный состав с высшим и почетным званием гвардейцев. Передает знамя командиру полка. Вместе с комиссаром полка командир принимает и целует знамя.

Полю становится на колени. В тишине звучат слова нашей клятвы. «Мы клянемся советскому Правительству, партии большевиков и вождю народов — великому Сталину, что мы еще сильнее будем бить по глубочай тылам противника, что каждый наш бомбовой удар будет смертельным, сегодням страх и смятение в стане врагов».

«Клянемся тебе, наша славная Родина, что каждый из нас будет драться с ненавистным врагом до последнего дыхания, до тех пор, пока будет двигаться хотя бы один мускул».

«Клянемся тебе, великий советский народ, что мы будем драться за твое счастье и свободу, как дерутся лучшие твои сыны — гвардейцы, что мы жестоко будем мстить фашистским ордам за поругание нашей родной земли, нашего народа».

«Мы клянемся, что врученное нам гвардейское знамя мы покроем славою, воинской доблестью, с горечью пронесем его на запад до полного разгрома немецких захватчиков».

«Да здравствует наша славная, могучая Родина! Да здравствует наша Красная Армия и Воздушный Флот! Да здравствует Сталинская гвардия! Да здравствует наш любимый вождь великий Сталин!

Команда: «Под знамя!» Оркестр играет «Интернационал». Я, майор Куликов и ками-

тыл Несмалный назначены знаменосцами. Мы принимаем из рук командира полка знамя и проходим вдоль строя. Над полем гремит «ура».

Короткий митинг. Принимаем текст приветствия Н. В. Сталину. Торжественно кончилось. Завтра — боевые будни. Завтра — в небо. На врага. С утроенной силой огонь по фашистской банде. Гвардейские залпы по немцу.

13 сентября. Летим на Бухарест. Хорошая погода, местами облачность. Я сегодня — наводящий. Нужно ударить фугасками в сбросить САВы для следующих за мною самолетов.

С интервалами в три — пять минут подлетают бомбардировщики. Атакуют город со всех сторон. Пламя над объектами. Зенитный огонь слаб.

Уплатили доллар Антонеску.

25 сентября. Работаем на другом участке фронта. Удары по войскам противника. Много немецких истребителей. Боем с малых высот, как штурмовики. По два вылета в ночь. Погода плохая. Грозы. Дожди. Летим по графику, невзирая на трудности и сложность метеорологических условий. Замечательно здесь работают летчики на «У-2». Они поднимаются на тихохонной машинке с комплектом мелких бомб и без усталости громят немцев. В занятой немцами части города бомбят по кварталам, а дома, двоты. Малая скорость позволяет «удвашкам» бомбить с такой точностью, какая нам не снилась. Садятся «удвашки» где попало. Им даже аэродром в нашем понимании не нужен. В темные ночи смельчак на «У-2» летает над окопами немцев, чуть не задевая брюхом землю. И бомбит, бомбит.

Мы, толпе отбомбившись, чешем из пулеметов по колоннам пехоты на дорогах. Гроимся за автомашинами. Немцы бросают машины. Как зайцы, разбегаются по степи.

Пехоту сопровождает зенитная артиллерия. По нас бьют из пушек, пулеметов, винтовок и автоматов. Огонь, как правило, шальной. Шуму много, а толку мало. Наши артиллеристы бьют куда прицельнее и точнее.

— Сана. — говорит штурман. — Если подсчитать, сколько немцы за всю войну выпустили снарядов по нашей машине, солидно получится. Разорим мы их на десятки тонн металла и пороха. Убитыми стрелять по советским самолетам.

— Бесповатый фюрер не считается с залатами, — отвечаю я. — Он ни денег, ни людей не жалеет. Картошкин.

— По ведь немцам-то придется когда-нибудь заняться бухгалтерией войны. С них потребуют возмещения убытков. Все возьмут. Мы заставим их восстанавливать Днепрогэс, шахты Донбасса и Бриворожья. Они построят новый Смоленск.

— Сначала их надо разбить, оставить на колени, Сережа.

— Разобьем и поставим. Эх, кабы союзники выступили. Ну, какого черта они малят! Все еще прививают пуговицы к мундирам. Будь второй фронт — как все бы изменилось!

10 октября. Работаем. Погода скверная. Часто дожди, туманы.

13 октября. Предстоит разбомбить важный ж.-д. мост агроинника. Его бомбить немцам много раз наши летчики. Он все стоит. Поезда ходят. У моста очень сильно ПВО. Над мостом день и ночь барражируют «Мессеры». Мы потратили на этот объект много сил и средств. Успеха не добились.

Прошу разрешения бомбить мост на рассвете. Командование не соглашается. Мотивы: могут сбить зенитки или истребители на обратном курсе. Потом разрешает, но с условием: если погода к утру улучшится, не будет облаков, я должен вернуться.

Стартуем. Облачность. Дождь. Видимость нет. Взлет тяжелый. Пасилу отрываемся от раскисшего аэродрома. До линии фронта идем в облаках. В районе объекта рассосало. Чистое небо. Начинается рассвет. Решаю все же бомбить. Подходим на высоте три тысячи метров. Надо снижаться до бреющего и бить по мосту бомбами замедленного действия.

Снижаюсь до 10—15 метров. Иду на цель. Зенитки молчат. Сергей сбрасывает бомбы. Зенитки открывают шквальный огонь. Внезапно передо мной возникает очертание водонапорной башни. Увлечшись маневром над целью, мы проглядели этого врага, который подстерегает ротозеев на малых высотах. Резко дергаю ручку на себя. Нос самолета поднимается. Пропулся под самой крышей. Чуть-чуть не разбилась.

Уходим от зениток в вышину.

На высоте трех тысяч метров Сережа говорит:

— Давай. Сана, вместе вздохнем. Может быть, мы действительно в рубашке редились. При встрече с башней я подумал: канут, отлетались, соколки.

6 ноября. Завтра 25-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. Не будь войны, какие торжества прокатились бы по всей стране! Ну, ничего. Ото-

бьемся и будем праздновать после победы.

Сергея подводит итоги работы экипажа. У нас — 160 боевых вылетов. Мы прошли над территорией врага 180 тысяч километров. Сбросили свыше 200 тонн бомб на различные объекты. Мы атаковали Москву, дальше на харьковском и воронежском направлениях, под Ленинградом и Сталинградом. Летали в Германию, к гитлеровским вассалам. Карта «путешествий» экипажа выглядит внушительно.

— Мы сделали, что могли, — говорит штурман. — Дай бог всякому так переработать. Надеюсь, до конца войны еще успеем кое-что добавить в наш счет. Верно, Саша?

— Верно, — говорю я. — Илывы будем — добавим.

Вечер опускается над летным городком. В комнате совсем темно. Я зажигаю лампу. Сергей включает радиоприемник. В репродукторе трансляция из Москвы. Зал торжественного заседания. Выбирают почетный президент. Гром аплодисментов. Сейчас услышим родной знакомый голос. Вождь будет говорить о родине, о нашей борьбе, о грядущей победе.

Мы смотрим на репродуктор. Напряженно ждем.

*Обработал и подготовил к печати
Ив. АРАМИЛЕВ*

Сербская народная песня о Ленине и Калининне

Две сосны стояли на поляне
С тонковерхой ственой переметле,
А под той под елкой тонковерхой
День и ночь сидел пастух Михайло.
Пас Михайло стадо богатея,
И все думал он о том, где правда,—
В синем ли и беспоконном море,
В недрах ли земли — глубоких, темных,
В небе ли — высоком, синееком,
На звезде ли, еле видной глазу.

И пошел, пошел искать Михайло
Крышкине ключи лучистой правды.

В море ли искал Михайло правду,
В синем ли искал он океане —
Он нырнул в холодные глубины,
Но там было и темно, и тихо.
Только рыбы плавали, скользили
Да чернели странные останки
Кораблей, разбитых злобой бури —
Ну, а правды — нет, как не бывало.

И на берег выпел наш Михайло,
На высокую взобрался гору,
Где была глубокая пещера,
И спустился быстрее в глубь пещеры,
В непроглядные земные недра.
Было там, как в бане, жарко, сыро.
Там мерцали сказочные лалы,
Там лежали золотые шалы,
Ну, а правды — нет, как не бывало.

Хвать тогда пастух орла за лану —
И орел явился его на небо,
В синь высокого, большого неба.
Там вышло солнце. Солнца кудри,
Рыжие волокошениные кудри
Всем с земли мерцающей лучами.
Было жарко, жарко, как у пещеры,
Везде златошальные святила,
Но был рожок тут небесный восток,
Восток тут ничуть не наравалек —
Ну, а правды, правды и на небе
Ее было и нет, звать, не бывало.

Он хотел, как молодой Михайло,
Полететь за правдой даже дальше —

На звезду, чуть видимую глазом,
Но вот надо ж было так случиться,
Что вот ни одна на свете птица
Там, на той звезде, не побывала,
Не могла на крыльях переправить
Птица темнокудрого Михайла
На звезду, сверкавшую чудесно,
Где, быть может, — кто ее там знает, —
И жила, цвела людская правда.

Вот однажды сокол белокрылый,
Вот однажды сокол, сокол спылый
Пролетал над лесом, пролетал он
Над двумя над соснами, и сел он,
Сел, сгустился на макушку елки,
На макушку тонковерхой елки.
И проклекотал вдруг с елки сокол,
Белокрылый, быстролетный сокол
Юному, по умному Михайле,
Молодому пастуху Михайле:
— Ой, пастух, ой, молодой Михайле,
В бедной и заплатанной одежде
Ты напрасно, милый, ищешь правду
На глубоком дне дикого моря,
В жарких и сырых подземных недрах
И в высоком, синееком небе.

И вчера мне рассказали птицы,
Птицы — перелетные певички,
Что искать ключи лучистой правды
На звезде даточкой ты собрался.

Знай, Михайло, пламенная правда
На земле живет. Ее, земную
Эту правду, честную, простую,
Пастухам понятную, шоднаском,
Кузнецам, крестьянам, златибоям,
Знает человек с беляним, высоким,
Ясным лбом, с прикипновениным сердцем
И с умом, сверкающим звездою.
Человка этого найди ты —
Он тебе откроет, он рассказывает,
Где она, драгоценная правда,
В чем она и как иголочку шробрить ей
К людям, в жизнь тяжелую дорогу,
Словно на засадебных высотах,
На высоких, поприступных скалах
Тропку сдвизь чачобу бурелома.

И пошел, пошел искать Михайло
По всему по белому по свету
Человека с сердцем-ясновидцем
И с умом, сияющим звездою,
Человека, знающего правду,—
Настухам понятную, подпасткам,
Кузнецам, крестьянам, златнобоям,
Знающего всю, как хлеб, простую,
Всю земную, всю людскую правду.

Две сосны стояли на поляно
С тошковой елкой посредине.
Сел под этой елкой наш Михайло
И не знает сам, куда податься.
Где он, человек — хозяин правды,
О котором сокол вдруг поведал,
Белокрылый, быстролетный сокол.

Залумела елка топким верхом,
И откликнулись за елкой сосны,
Две сосны — корявые сестрицы:
— Ой, ты, храбрый наш юнак Михайло!
Ой, настух в заплатах одежде,
Ты иди в забытую избушку,
Что стоит на глыбине высокой.
Там давно живет седой отшельник
Толкователь Голубиной книги.
Он тебе, дружок, найти поможет
Человека, знающего правду.

И пошел, пошел настух Михайло
К мудрому отшельнику седому.
Робко-робко молодой Михайло
Постучался в дверь избушки старой.
Сгорбленный, седоволосый старец
Вышел скоро настуху навстречу
И сказал ему смиренно, тихо:
— Знаю, знаю, что ты, милый, ищешь.
Дам тебе, юнак, клубок волшебный,
Дам клубок льняных сурьвых виток.
Мой клубок покатылся по тропам,
И за ним шагай ты вперед, Михайло.
А потом сорвал любезный старец
Ветвь калины, дал ее Михайле
И сказал ему опять тихо-тихо:
— Вот запомни: эта ветвь калины
Завянет, покроется цветами
В час, когда ты, мальчик мой, увидишь
Человека, знающего правду.
Так сказал Михайле тихий старец,
И покинул старца наш Михайло.

Катится и катится клубочек,
И ложится позади дорога,
Вьется серою суровой нитью.
Путь далек, неизмерим. С Михайлою
Вот зима подутницей шагает.
Словно горы, выросли сугробы.
И найти все так же трудно правду.

Как зимой заставит ветвь калины
Расцвести, украситься цветами.
Где ты, где ты затропала, правда?

Вот на горы снежные взобрался
Похудевший по пути клубочек,
А за ним взобрался и Михайло.
Вдруг клубочек — стоп! И пред собою
Видит неожиданно Михайло
Хижину, и дверь ее толкнул он:
У огня руки греет охотник.
Вдруг — и ветвь холодная калины
Ночками покрылась. Нежно-нежно
Листьями она зазеленела.
И спросил Михайло тихо-тихо:
— Ты скажи мне, Расскажи, охотник,
Где она, простая папа правда,
В чем она? И отвечал охотник:
Крайда в боевой высокой дружбе
Тружеников поля и завода.
И за эту пламенную правду
Надо нам, товарищ мой, бесстрашно,
До последней капли крови драться.
Только слово он свое закончил —
Расцвела невестой ветвь калины,
Расцвела нарядно, пышно, ярко,
Словно у ручья весною теплой.
Тут Михайло низко поклонился
Девному охотнику и тихо,
Как собрату старшему, промолвил:
Ты позволь, охотник незнакомый,
Быть твоим учеником, скорее
Научи, как правильно бороться
За простую, за земную правду.
И промолвил с твердостью охотник:
— Будь моим учеником, Михайло,
И отныне ты зовись Калиной
В память ветви, что в мерзот, зимой,
Расцвела, как у ручья весною.
Но запомни, что борьба опасна,
Тяжела — и только вот юнаки,
Смелые и храбрые юнаки
Драться удостоены за правду,
За простую, за земную правду.
Так сказал охотник незнакомый.
То великий был перед ним охотник,
То пред ним был сам Владимир Ленин.
Ум его был ясен, искромесен,
Как звезды немерцающей сиянье.
Ленин никогда не ошибался.
И в рядах советников ближайших
И его соратников бесстрашных
Занял место, полное почета,
Молодой настух, настух Михайло,
Что искал дополнительную правду
И в глубоком море, и на небе,
А нашел ее в уме и сердце
Самого земного человека.

Перевел с сербского В. КАЗИМ

В керченских каменоломнях

Я, нижеподписавшийся, член партизанского отряда имени Ленина Сталинского района гор. Керчи, торжественно заявляю, что не дрожит моя рука и сердце при выполнении священного долга перед родиной в борьбе с гитлеровским бандитским полчищем.

За поруганную землю нашу, за сожженные города и села, за пытки населения и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко и беспощадно.

Я клянусь, что никакая пытка не сломит моего духа, я никогда не выдам ни тайны отряда, ни тайны моей родины.

И если я откажусь от этой моей клятвы и торжественного обещания, то пусть моим уделом будет общее презрение и ненависть, а мерой мщения мне пусть явится мое физическое уничтожение и презрение к моей семье и потомству».

Под этой присягой подписались шестьдесят человек, шестьдесят керченских рабочих — каменотесов, плотников, рыбаков, партийных и беспартийных, решивших в дни немецкой оккупации остаться в родном городе и, чего бы это ни стоило, продолжать борьбу с врагом.

Присягу написал Николай Пляч Бантыш — начальник штаба партизанского отряда, неответственный рыбак, коренастый, спокойный человек, с детства приученный морем ничему не удивляться и ни перед чем не отступать.

Ночью встал присягу читать, собравшись в тесной комнате райкома партии. Бой уже шел под самой Керчью. Всю ночь слышались звуки приближающейся колюнады. Через город к местам погрузки тащались раненые.

Керчь славится своими каменоломнями. За городом у села Аджимушкай, у Камыш-Бурунского порта, скалы изрыты бесконечными лабиринтами подземных коридоров, с десятками ходов и выходов, с узкими черными галереями. Эти самые старые и новые каменоломни у деревни Аджимушкай и решили партизаны сделать своей крепостью.

В городе еще были пафки, но уже засылали немцы шпионов, уже поднимали голову много лет выжидавшие этого случая предатели, уже надо было быть настороже, и отряд готовился к обороне строго и тайно.

Днем люди работали на заводах и на промыслах так же, как всегда, а по ночам они шли под скалы, углублялись в каменные коридоры и строили там свою крепость. Ночь за ночью возили туда продукты, патроны, снаряжение, винтовки, ручные пулеметы, гранаты, фонари «летучая мышь», свечи, спички — все, что им могло пригодиться в течение ближайших же дней. Ничего нельзя было забыть, нельзя потому, что потом уже не выйдешь, потом ужь, запертый в этих каменоломнях, будешь отрезан от всего мира, и долгое время не придется рассчитывать ни на чью помощь.

Все возили по ночам. В отряде не было ни одного шофера, но инженер Иванов, когда-то сдававший нормы на значок ГТО 2-й ступени, года три тому назад имел любительские права. Никому постороннему нельзя было поручить перевозок, и заставили ездить Иванова. Это было настоящее мучение: машина делала с новымосеченным шофером все, что хотела. Она то неожиданно останавливалась, то так же неожиданно для кого ехала, но так или иначе, к концу недели Иванов смог заявить начальнику штаба, что он перевез все, что ему было приказано. «Все на свете», — сказал он, тяжело отдуваясь.

Но было еще одно осложнение. Нужно было запасти воды на три-четыре месяца. Для этого решили сложить внутри самых дальних галерей каменные вали и зацементировать их. Среди партизан не было специалистов по цементу. Бантыш вызвал к себе трех старых рабочих, трех известных мастеров и, доверившись их рабочей чести, посвятил в тайну отряда и взял с них расписку о сохранении тайны.

Двое суток работали старики в подземельи. На третьи — вали были готовы, и в них стали заливать воду.

А скалы были такие, что, потуши свет — ты погиб; хоть родись там в этой скале, но только потуши на минуту свет, и ты погиб. И вот по этим коридорам, освещаемым первыми мерцающим фонарей, ночь за ночью многие километры проходили люди, сгибаясь под тяжестью мешков со снаряжением и прищелкывая вальствами.

Положение осложнилось еще и тем, что в верхних каменоломнях, через которые надо проскребаться в низкие, секретные, в последние дни стал собираться народ, спасавшийся от жестоких немецких бомбардировок Керчи. Партизаны по ночам осторожно проскальзывали мимо спящих, работали бесшумно и незаметно.

Начальник штаба вел целую канцелярию: записывал в книгу все доставленное под скалы, стараясь ничего не забыть и не пропустить. Но в то же время этот бессонный, казавшийся всем неугомонным человек успевал вести еще и свой личный дневник.

2 ноября. Сегодня была моя первая партизанская ночь, провел ее в скалах, выставил посты и дежурства. Немцев еще нет, но надо привыкать».

Это была первая запись в его дневнике. Следующий день и ночь прошли в окончательном подборе людей, и к утру четвертого ноября шестьдесят человек — пятьдесят пять мужчин и пять женщин — собрались под скалой в своей новой, созданной их руками, крепости.

«4 ноября. Последний раз вышел на свет, — записал Бантыш в своем дневнике. — Был вечером дома у матери, попрощался с нею. Я знал, что она не выдст, и сказал ей, что остаюсь здесь. Вот, говорю, паган, в случае чего — шесть на немцев, а седьмой — мой. А ничего хуже не будет. Так что не плачь. Но мать, конечно, плакала».

Седьмого ноября немцы подошли совсем близко. Наверх вышел один из членов отряда, Войтенко. У него уже, как и у всех, не было никаких документов, только паган за пазухой. Ночью его задержали патрульные наших отступавших частей.

Стали узнавать, кто он и откуда. Он не мог предъявить никаких документов и в то же время не имел права сообщить, что он партизан и где его отряд. Двое суток его держали под угрозой расстрела, положение казалось безвыходным. Его выручило счастье — нашлись люди, опознавшие его. На третий сутки он вернулся в отряд, где уже была поднята тревога, где беспокоились, неужели он струсил, неужели ушел из отряда. Он вернулся живой и здоровый, только паган у него при аресте отобрали и потом почему-то

не вернули, что послужило поводом для дрободушного подтрунивания — еще не успел пачать партизанских действий, а уже разоружил себя. «Эх, ты, партизан», — говорил ему.

Все эти дни и ночи проходили в последних напряженных приготовлениях. Шла закладка камнем некоторых внутренних ходов, слишком широких отверстий. Галереи перегораживались каменными стенками, из-за которых в случае необходимости можно было скрытно вести огонь.

«10 ноября. Мы задержали в каменоломне дезертира. Я наблюдал безвыходное положение человека, который сам себя приговорил к смерти, и в первый раз в жизни подписал человеку смертный приговор».

Такую запись оставил об этом у себя в дневнике начальник штаба. На самом деле это была целая история, тяжелая и сложная, в которой пришлось принимать решение жестокое, но необходимое. Из Красной Армии в дни последних боев дезертировал некто Рутковский. Он сначала пробрался в верхние каменоломни, а потом, обуреваемый страхом, решив спрятаться подальше, пролез в нижние. Там он наткнулся на партизанский пост. Партизаны привели его к начальнику штаба. В широкой угловой галерее, подкеросиновой лампой, за сколоченным из нескольких досок столом собрался штаб. Дезертир стоял окруженный партизанами, он замечал трунил. Его спросили, откуда он. Он сказал, что из Керчи, что фамилия его Руденко. Его обыскали. Оказалось, что он не Руденко, а Рутковский, что он не из Керчи, а из Джанкы. что он хотел переждать в отсюда перебраться в уже давно занятый немцами Джанкой.

Прижатый к стене, он дрожал и клялся, что он не хотел сделать ничего худого, что он просто боялся. Он хотел доказать, что он не враг, что он всего-навсего трус. Но трус сейчас был врагом.

Что было делать с этим человеком? Оставить его у себя — значит следить за ним, тратить на него силы людей, необходимых для борьбы с немцами. Отпустить его? Значит, рисковать тем, что он выведет тайну отряда. Устроили короткий суд и приговорили его к смерти. В одной из дальних штолов приговор был приведен в исполнение, тело бесславно погибшего труса было завалено камнем.

Бои уже шли над головой. Глухо отдавалось в щеках эхо выстрелов, грохот близкой бомбежки. Люди, дезертившие у секретных выходов, видели отсветы близкого пламени. Бантыш делал последние приготовления, ему даже было некогда записывать подроб-

вести в дневник. Его запись этих дней коротки и скупы:

11 ноября. Я наблюдал, как горел мой родной город. Я прожил в нем всю жизнь.

12 ноября. Керчь еще горит. Пришел Маёров и на заседании штаба сказал, что Амконайские каменоломни разгромлены немцами и все, кто там был, погибли. Водворилось тяжелое молчание. Теперь нам, как никогда нужны нервы и дух.

13 ноября. Как кобыла звонгла.

Эта запись так, для памяти. Среди тяжелых переживаний, среди первых трудностей были и смешные житейские случаи. Эта запись об одном из них. В те дни под скалою были еще лошади, возившие сюда воду. А во всем проходам и постах была проведена сигнализация. Кобыла, шедшая в темноте по коридору, запуталась ногами в сигнализации и устроила тревогу на все каменоломни. С тех пор за долгие дни осады выработалась поговорка: во всех случаях, когда кто-нибудь устранивал ложную тревогу, говорили: «А! как кобыла звонгла!»

Начальник боеспитания, старый механик Перепелица, еще в девятнадцатом году партизанский в этих каменоломнях, занят был устройством механической мастерской. Сдвинув железные очки на нос, он целыми днями копался, устраивая из всего, что было под рукой, хитроумные приспособления.

14 ноября с контрольного поста сообщили, что пришел Жабкин — один из тех трех стариков, которые делали цементные резервуары для вод, и, мало того — пришел не один, а еще привел ко входу в каменоломни пятерых краснофлотцев.

Жабкина привели в штаб. Оказалось, что краснофлотцы стояли у него на квартире, и, когда немцы подошли вплотную, моряки, не успев переправиться со своею частью, стали распрашивать старика, не знает ли он, где тут партизаны и как к ним податься. Старик, в простоте душевной решив, что клятва клятвой, а не пропадать же хорошим ребятам, привел их с собой в каменоломню. Начальник штаба молча выгнал присягу и показал старика. Старик молчал. Что ему было ответить? Начальник штаба достал паган и несколько раз выстрелил не в старика, а так, мимо, поблизости, для испуга, чтоб больше не проявлял такого простосердечия старик Жабкин. Потом вызвали представителя моряков и договорились, что они еще предпримут последнюю попытку пробраться к своим, а если не выйдет, то их все-таки примут в отряд. На следующий день выяснилось, что морякам удалось прорваться.

Это было 14-го, а 15 ноября Бантыш записал в своем дневнике только три слова «Зоя, Зоя, Зоя...» Ему было тоскливо, он вспомнил жену, представил себе предстоящие тяглые дни и такое далекое, бесконечно далекое свидание, — да будет ли еще оно, кто знает. Начиналась осада. Немцы уже были повсюду, они окружали каменоломни. Теперь, сколько бы ни было, какое бы ни было настроенное, Бантыш считал своим долгом регулярно вести дневник.

«16 ноября. Заложили ходы, запалили шурупы и взорвали несколько выходов. Теперь к нам будет трудно добраться. На расстоянии тридцати метров в отверстие скалы видел немцев живых, пока еще живых. Охватило страшное чувство. Вечером в Алжимушкае немцы расстреляли первых четырех человек. Ночью мы проводили партсобрание. Книжло зло. Хотелось плакать от ненависти. Думал о матери и о сестре.

17 ноября. В 2.20 сделали тревогу. Прошло хорошо. Все на местах. Перепелица, видя, как я веду дневник и вежливость, пристроил мне лампу так, чтобы висела над столом. Потом лег спать, а когда проснулся, то сказал ребятам громко: ему якобы снится сон, что начальник штаба за подвеску лампы пад столем дал ему сто грамм спирту и что у него всегда так бывает, если сон, то непременно в руку. Но я ему сказал, что на этот раз сон не в руку, хотя за лампу спасибо. Разведка донесла о мародерстве немцев. Хочется воевать; кажется, что мы медлим, нужна выдержка и еще раз выдержка. Надо сохранить силы и ударить тогда, когда сможем это сделать с большей пользой.

18 ноября. Час ночи. День рождения жены. Ребята выпили — с меня матарыч за Зою. За стеной видел свет и слышны разговоры. Здесь в скалах каждый стук пальцем слышен за триста метров. Все лежат. Черкес смотрит историко-революционный календарь. Слышно, как над головой едет немецкая подвода. Я достал фотографию жены. Войтенко подозревает меня, глядя на фотографию и говорит: «Ну, Зоя Николаевна, шем за твое здоровье. Зоя Николаевна, будь здорова».

19 ноября. Обходим вдвоем с Голиковым все забои. Все в порядке, все на своих местах.

20 ноября. Налаживали телефонные аппараты. На главных постах поставили телефоны и провели провода к штабу. Все по настоящему, как в крепости. Нашли брошенную в дыру немецкую листовку к партизанам».

Двадцатого ноября был последний сравнительно мирный день. Двадцать первого нем-

цы забрались в верхние каменоломни и стали выгонять население, гнездившееся в крайних коридорах. А двадцать второго, продолжая проникать все глубже, добрались и до наших постов. Было слышно, как солдаты с грохотом разбирают заложённые камнями галереи. Немцы боялись темноты. Разбирая камень, они стреляли вниз, в глухую пустоту, трассирующими пулями. Но там все молчало. Был приказ до поры, до времени не отвечать на выстрелы. Ночью партизаны подошли к крайним переходам, заложили там фугаску, и когда немцы на следующее утро пришли работать, все фугасы были взорваны. В галереях слышались крики и стоны. Весь день немцы убрали убитых и раненых. На второй день в разобранное отверстие донесся голос: «Рус, сдавайся, немцы стрелять не будут». Стоящий на посту партизан первым выстрелом разбил лампу, а когда немцы очутились в темноте, был взорван еще один фугас. В скалах все гремело и дрожало, они необычайно чувствительны на каждое потрясение.

Так началась осада. Двадцать первого был создан штаб, и в связи с тем, что немцам удалось обнаружить примерное местонахождение отряда, было решено сократить выдачу табака и спичек. С этого дня началась полтора месяца напряженная ежедневная война. Немцы стали стонать население и одни переходы закладывали цементом, а другие, которые трудно было заложить, заваливали камнем при помощи взрывов. Они хотели похоронить отряд в каменоломнях. И, надо сказать, что если бы им помогло население, знавшее тут почти каждую щельку, то это бы им удалось. Но насильно согнанные алжмуничайские крестьяне только лениво, под угрозой штыков, работали там, где им приказывали это делать немцы. И никакие угрозы не могли заставить их рассказать немцам, где еще другие ходы, как добиться полной закупорки каменоломней. А без этого все труды немцев были напрасны. Целый полк немецкой пехоты был сосредоточен вокруг каменоломней, на всех выходах стояли многочисленные бесстрашные немецкие патрули. Но внутрь лезть было страшно. Страшно тем более, что, по немецким сведениям, которые было не в наших интересах опровергать, в каменоломнях скрывалось не шестьдесят партизан, а до двух тысяч.

Двадцать четвертого во внутренние коридоры забралось двое смельчаков — офицер и солдат. С них не спускали глаз и дали им немножко погулять. Они ходили с факелом, размахивали руками и, боясь темноты, особенно громко разговаривали. Наблюдая за

ними полчаса, их застрелили. Это выстрелов привлекло к этой галерее немецкую охрану, и трупы убитых немцев не удалось взять. Немцы через верхнюю галерею держали под огнем кусок скалы, на котором лежали трупы, и освещали их факелами. Но и немцам также не удалось забрать своих убитых. При каждой их попытке партизаны стреляли в темноту. Тогда, отчаявшись, немцы взорвали углы верхних штолен и похоронили офицера и солдата под обвалившимся камнем.

Все труднее становилось выходить на разведку. Легкий стук был слышен на двести метров. Свет просачивался в щели. В одну из ночей партизан Виктор Нудин, вытаясь выйти в разведку, проделав в одном из верхних коридоров отверстие наружу. Но когда он высунулся до пояса, то оказалось, что отверстие проделано им у ног немецкого часового. Немец растерялся от неожиданности и не ударила Нудина штыком, а только приставил к спине, видимо, рассчитывая, что тот сдастся. Оцарапав спину о штык, Нудин скользнул обратно.

Все эти дни над скалой был слышен шум. Немцы боялись вылазок, боялись держать свои патрули на открытом месте и сверху на выступах скалы строили для часовых укрепленные точки с амбразурами. Они думали, что партизан много.

А у партизан не хватало людей. В каждой из бесконечных галерей нужно было держать охрану. Любая неожиданность могла кончиться гибелью всего отряда, и люди дежурили по суткам, спали по два, по три часа.

Но война войной, а быт бытом. В осаде установился свой необычайный, немерный быт. Это определял прежде всего мрак, абсолютный мрак, не позволяющий сушить ни о времени, ни о пространстве за пределами маленькой площадки, освещенной лампой. У начальника штаба в его ведении находились суточные большие морские часы и календарь. За тем и другим он следил сам. Это было необыкновенно важно, ибо здесь, где день ничем не отличался от ночи, было неумудрено спутать часы и дни. Каждый день вечером начальник штаба переворачивал листок-календаря, а три специально назначенных человека проверяли начальника, перевернул он или нет. Как выяснилось потом, после выхода на свет, календарь все время работал без ошибки и только морской хронометр ушел вперед на два часа. Ели два раза в день. Сначала был хлеб, но в скалах страшная сырость, там все цветет и прет, и уже на вторую неделю партизаны питались пышками, которые пекли домашним способом.

Раз в день, после завтрака, раздавали воду. Каждый получал свои два стакана воды на сутки и мог делать с ней, что хотел. Водой заведывала Анна Родионовна — как ее называли — начальник водного режима. Она строго раздавала воду, каждый грамм которой был на учете. Труднее было контролировать воду, которая выдавалась на кухню для готовки пищи. Там женщины однажды проявили мягкосердечие — кому-то дали из жалости лишнюю порцию воды. Но жалость здесь была неуместной. Бантыш вызвал их и сказал: «Вот что. Я много слов говорить не буду, но первую, с которой это сиять узнаю, уведу в дальнюю штольню и без звука расстреляю сам. Нет у нас тут ни суда, ни прокурора, ни защитника, так что имейте в виду».

Больше это не повторялось.

С водой было тяжело. Кое-где в коридорах со сталактитов капали редкие капли холодной чистой воды. Каждый завел себе баночку и подвешивал её под эту капель. Один в одном коридоре, другой — в другом. Так у каждого набираюсь любовочных иногда двадцать, иногда тридцать, иногда сорок граммов чистой воды в день. Как кому повезет. Один раз двое партизан вошли в дальнюю штольню, где были подвешены их банки с водой. Неожиданно у них потухла свеча. Много часов бродили они в полном мраке, не в состоянии пойти выход. Только трудами всего отряда удалось их найти, озябших и смертельно утомленных поисками.

В один прекрасный день начальник продовольствия Войтенко вздумал сделать сюрприз всему отряду и соорудить винегрет. А меня утверждалось каждый раз не иначе, как начальником штаба. Войтенко пришел к нему и попросил разрешения сделать винегрет. Бантыш, которому эта мысль сразу улыбнулась, горяча разрешил. Но через минуту, отпустив начальника продовольствия, он вдруг вспомнил, что ведь бураки и картошку для винегрета надо варить в кожуре и, стало быть, эта вода пропадет. Он немедленно пошел к Войтенко.

— Отменяется ваш винегрет, товарищ Войтенко, — сказал он сурово.

— Почему?

— А куда, интересно, ты денешь воду с картошки и бураков?

— С картошки? — переспросил Войтенко. — С картошки пойдет на суп.

— А с бураков?

На это Войтенко не мог ответить, он встал в тупик, и винегрет был запрещен. Целый день, однако, соблазненные этой гас-

трономической идеей, ходили свободные от дежурства партизаны к начальнику штаба, пытались смягчить его непреклонный характер. К вечеру он махнул рукой, — эх, была не была! — и дал поведра воды.

В первых числах декабря выпал снег. У проходов верхней каменоломни через наружные отверстия насыпало небольшие сугробы снега. В каменоломнях было грязно, сыро, стены были черны и скользки от плесени, и трудно даже передать, насколько остро у каждого, особенно у женщин, было желание помыться, хоть немножко помыться. К начальнику штаба и комиссару Черкезу явилась целевая делегация с просьбой разрешить «пойти у немцев снега поворовать». Разрешение было дано. Ночью в один из коридоров принесли в ведрах снег, растопили его и все по очереди мыли голову.

Старый партизан, начальник разведки, оторвал от вечных занятий начальника штаба, потащил его в импровизированную баню и, ласково приговаривая: «Иди, иди, сынок, я тебе в отцы гожусь, я сейчас тебе головомойку устрою, хоть ты и начальник штаба», — собственноручно вымыл ему голову.

Начальник штаба продолжал вести дневник.

«5 декабря. Провели собораке, встречали праздник Конституции.

7 декабря. Был в верхних штольнях в разведке. Все обыкновенно.

8 декабря. Немцы засыпают и заваливают верхние проходы. Сегодня с ними был один русский — предатель. Опознать его не удалось. Но по голосу примета — частое выражение «едят его мухи». Ничего, выйдем, узнаем кто.

9 декабря. Оборудовали телефон на втором боковом посту.

10 декабря. Слышали с утра сильную бомбежку и зенитную стрельбу. Видно, наши их беспокоят. 12.30 немцы завалили крутую яму. Три сильных взрыва. Меньше еще на один выход. В 19.40 по вынужденному ходу пошел в разведку Кочубей.

11 декабря. Ничего особенного. Ждем Кочубей.

12 декабря. Немцы опять бурят и поджигают аммонал для взрыва. В 16.12 глухой взрыв. Завалило еще один проход. Ждем Кочубей. Все еще нет.

13 декабря. В 4.40 вернулся Кочубей. Сколько радости!»

Сколько радости — вот и вся запись, которая осталась об этом событии в дневнике. Но разведка, в которую ходил Кочубей, заслуживает особого рассказа.

Кочубей отправился на разведку десятого. Днем он выбрался на исходное положение за край скалы и пролежал там до ночи. Ночью, пробравшись мимо немецких патрулей, пошел на окраину города на Коложаку. В полдень он тихо постучал в окно своего дома. Ему открыла жена, он был мок и черен, как выходящий с того света. Узнав в течение суток все, что можно было узнать, и все, что знали здесь в городе, он вечером двенадцатого вернулся обратно. Но в темноте, преследуемый немцами, попал по ошибке не в ту пещеру, в которую был спущен и проходил вниз, а в другую, наглухо заложенную камнем. Путь дороги не было. Тогда он остаток дня, ночь и утро рывками, сдирая с них ногти и кожу, разбирал стену, проделывая себе узкие отверстия. Тринадцатого, окровавленный и обессиленный, он не сплел, а буквально упал срывом ногой вниз к своим.

Можно легко представить, с каким нетерпением ждали его все эти люди, наглухо отрезанные от мира. Он сообщил, что Москва и Ленинград, по немецким сведениям, окружены, что немцам в Крыму обещают дать отступать после взятия Севастополя и что, значит, ни Москва, ни Ленинград, ни Севастополь не взяты. В эти тяжелые дни это было огромной радостью. Кочубей уложилши отдохнуть. Жизнь шла своим чередом. Вечером того же дня Бантыш записал в дневник:

«13 декабря. 20.30. Приказал расстрелять Степаненко — за вторичный сон на посту. Зайченко повел его расстреливать, но по дороге остановился, дал ему пять минут сроку, сказав: «По-стариковски тебе говорю, найди попроси еще раз прощения перед отрядом, может простит, а если нет, тогда что же делать». Степаненко вернулся, мы его простили на этот раз.

14 декабря. Майоров, Голпквев и я ходили проверять по коридорам возможность поступления к нам газа. Потому что, по сведениям Кочубея, немцы готовят через некоторое время попытку отравить нас газами. Зажидали по коридорам факелы, проверяли движение дыма. Результат плохой. Все тянет вниз, прямо на нас. Ночью комсомольское собрание исключило Степаненко за сон на посту.

15 декабря. Зайченко донес, что наверху слышен шум мотора, — видимо, немцы решили бурить скалу сверху. Приказал раздать противогазы и приготовить камни для того, чтобы если пробурят насквозь, подложить сразу под потолок камень, чтоб не заметили, что бурка прошла насквозь, и продолжали бурить дальше. 11.00. Немцы пробовали опять пройти под скалу. После перестрелки стояли. Одного убили, одного ранили.

16 декабря. Все нормально. Был в разведке.

17 декабря. В 12.30 слышна бомбежка. В 13.00 артосвист. Нудин в верхнюю дырку прослушал разговор проходящих: «Чем кончился этот бой?» Я обходил с Голпквевым и Войтенко часть старых скал, пускали оттуда ракеты по коридорам, проверяли, — и отсюда тоже дым тянет на нас.

18 декабря. Немцы сделали еще девять взрывов. У створетия, которое предал Нудин, стоит целый караул. Немцы сбросили листовки, требующие сдачи.

19 декабря. Наверху слышно, как наши бомбят немцев.

22 декабря. 20.00. Кухали все пирос и вышли за здоровье товарища Сталина. Немцы над головой повесили, нет возможности выйти наверх.

Двадцать первого ночью Бантыш, записывая события дня в дневник, вспомнил, что завтра день рождения товарища Сталина. Он разбудил Анну Родимовну и попросил ее по такому случаю печь к утру для всего отряда большой праздничный пирог.

— А е чего? — спросила она. — Небось сладкий пирог-то ведь надо?

— С брынзой, — сказал находчивый начальник штаба. — Возьмешь брынзу, вымочишь как следует, сахаром посыпешь, и такая ватрушка у вас праздничная получится, что крапота.

Так и сделали. Пирог был вложен в широкой нижней штольце, прибавив по этому случаю лишнего света, собрались все свободные от дежурства члены отряда и отпраздновали день рождения своего вождя.

23 декабря. Немцы продолжают заваливать шахты. Сегодня два сильных взрыва. Ночью бомбежка. Наши бомбят немцев. За ночь было до десяти налетов. Идет артиллерийский обстрел, очевидно, через залив с косы Чушка. Зинченко без приказа хотел вылезти наружу посмотреть, что происходит. За нецелесообразность арестовал его на пять часов. Ночью в щели верхних галлерей видно красное зарево. Горит порт.

24 декабря. Немцы весь день бросают гранаты через верхние галлерей. Двум несколько раз, судя по звукам, были налеты нашей авиации.

25 декабря. Все время сильная бомбежка. Немцы пытались прорваться к главному ходу. После перестрелки отступили. Весь день опять стреляют по щелям из автоматов. Вечером слышались пятнадцать сильных взрывов. Это уже не у нас в шахте, а где-то наверху. Каждый из нас про себя думает, что,

может быть, это десант, но друг другу пока не говорим, ждем, боимся верить.

26 декабря. Непрерывающийся гул артиллерийского огня наверху. Носков и Буженко пошли на разведку в верхние галереи и, столкнувшись с немцами, двоих убили. Немцы отступили, началась сильная перестрелка. В 18 часов верхние посты донесли, что подземная охрана начинает отходить от главных проходов. В 20 часов заседание штаба».

Двадцать шестого декабря... Этот день запомнился на всю жизнь каждому из проследивших полтора месяца здесь, под скалой. Они ушли в скалы для того, чтобы бороться, и, если нужно, умереть, но никому не хотелось умирать. В самые трудные дни, самые черные минуты полного мрака, окружения, кажущейся безнадежности, люди все-таки находили в себе силы верить в спасение и победу. У них был ограниченный запас воды и продовольствия, — большой, но все-таки ограниченный. Здесь можно было сражаться и уничтожать немцев еще месяц, еще полтора, но в конце концов паю было выйти и погибнуть в неравном открытом бою. На это люди шли, об этом они были предупреждены и к этому они были готовы. Но весь смысл их работы заключался в том, чтобы бороться, возвращая своих и, как неведомые метатели, выйдя из горных пещер, ударить немцам в спину неожиданно и страшно.

Полтора месяца немцы держали вокруг каменоломен больше полка пехоты. Полтора месяца они тратили тысячи килограммов аммонита для того, чтобы закупорить каменоломню. Полтора месяца они каждый день боялись, что эти подземные силы вырвутся из каменоломен наверх, в город. И, что самое главное, — полтора месяца каждый человек в разгромленной, залитой кровью Керчи знал, что не все здесь взято немцами, что не всем им удалось согнать, что есть еще и в самой Керчи другая сила и другая власть, которая каждый день и каждую ночь борется с немцами и уничтожает их.

Трудно оценить, что значит это ощущение для людей, живущих в оккупированном, заданном городе. И если бы партизаны сделали бы только это, то все равно они бы с лучшей выполняли свою задачу. Но им хотелось большего. Они мечтали о большем. Они хотели своими руками задуть эти немецкие караулы, полтора месяца державшие их в мышеловке. Они хотели, оставшись в живых, увидеть обратное вступление советских войск в Керчь и помочь этому вступлению. Они в это верили и этим жили. И вот двадцать шестого в восемь вечера собрался штаб. Надо

было выходить и начинать открытую борьбу. Они еще не знали, как развернется бой, но что наши вступили на берег и где-то ведут бой, это они твердо знали. Они все привыкли к дисциплине, и заседание штаба было деловым, обычным, разбивали отряд на боевые группы, назначали разведчиков. И только голоса были глуховаты от волнения, от сдерживаемого желания скорее, скорее выбраться наверх, увидеть своих и увидеть свет, настоящий дневной свет, или даже пусть лунный, ночью, но все-таки свет.

Утром двадцать седьмого первые разведчики пробрались через верхние галереи, через заваленные взрывами штельбы и вышли на свет. Был солнечный день, светило солнце, а кругом лежал холодный белый снег, и первые минуты света были нестерпимыми. Люди плакали, так им резало глаза. Им было трудно целиться, они все время вытирали глаза. Немцы уходили. Через Аджимушкай тянулись немецкие обкомы. Партизаны вытаскивали наверх пулеметы и открывали огонь. Но в этот день мимо проходили еще большие немецкие части, гора была еще окружена, и весь день вели бой, все-таки не удалось выбраться из каменоломни на простор. Но двадцать восьмого с утра партизаны упрямо продолжали прорываться. Они один за другим отступовали проходы и подходили все ближе к дороге, ведущей через Аджимушкай. Первой их жертвой была немецкий радиовзвод, оторвавшийся от своей колонны. Они разбили и сожгли радиостанцию и уличтожили всех, кто был около нее. С горы отходили последние немецкие посты, охранявшие подступы к ней. Партизаны, привыкнув к свету, метко били по амбразурам немецких огневых пулеметных точек и, заглушив их, двигались дальше вперед. Двадцать девятого в три часа дня они напали на надвигавшийся к городу большой обоз, зажали шесть машин, захватили несколько десятков повозок, штабные документы немецкого пехотного полка и убили восемьдесят пять немцев, пытавшихся защищать обоз.

С этого часа партизанский отряд оседлал дорогу, ведущую через Аджимушкай на город, и немцам приходилось отходить, делая крюк по проселочным дорогам, неся потери от меткого ружейного и пулеметного огня. К вечеру, ворвавшись в Аджимушкай, партизаны отбили четырнадцать заложников, которых завтра ждала казнь.

Они бы сделали еще больше, если бы их глаза так не болели от полторамесячного мрака, если бы первые часы они не ходили почти слепые от солнца и снега.

«И верится и не верится, и не знаешь —

ты ли это или нет,— записал в этот день в своем дневнике Баптыш.— Кругом воздух, и стоишь во весь рост. Вынесли наверх и воткнули в скалу наше отрядное партизанское знамя».

А тридцатого утром, в тот день, когда Керчь была занята десантом и когда оставалось еще несколько часов до встречи с регулярными советскими частями, на улицах деревни Алтимуншай появилось следующее объявление, напечатанное на машинке:

Объявление

Настоящим штаб партизанского отряда имени Ленина объявляет, что с этого часа власть в Сталинском районе переходит в его руки.

Штаб отряда.

Так вся эта эпопея, начавшаяся торжественной и суровой присягой, кончилась этим ступным, таящим в себе сдержанную силу объявлением.

Керчь. Март 1942 г.

НИК. АСЕЕВ

Метель

Ветер, дик и груб,
гонит дым из труб,
крутит, пригибает,
рвет за клубом клуб.

Над трубою дымы —
хата не пуста;
страшины, великими
гиблые места.

Улица села
выжжена до тла,
словно все живое
вымела метля.

Ходит часовая
с мертвой головой,
вьюга заливает
ногой басовой;

чудится ему:
в снеговом дыму
призраки мелькают
связь метель и тьму.

Пособи, зима,
посуди сама:
шаг врага попутай,
посводи с ума!

Числы, поприматы
свежле снега,

стынут автоматы
в пальцах у врага.

Снега целина,
вьюги целена,
рухнув, вновь взмывает
воздуха стена.

У врагов в тылу,
связь буря и мгла —
сводные отряды
двигаются к осле.

Помоги, пурга,
разгромить врага,
чтобы подкосилась
хищница пога.

Стужа их дерет,
ужас их берет,
ходит, автоматы
выставив вперед.

Не мешай, метель,
нам наметить цель,
чтоб — ушал захватчик
в мерзлую постель,

Чтоб — ушал, уснул
под метели гул,
под прямой наводкой
партизанских дул!

Багратион

Последний поход

Глава I

Солнце спускалось за горизонт, красное, как перегоревший костер. Лагерь был ярко освещен его косыми лучами. Под холмами, на которых расположились войска 4-го итальянского корпуса вице-короля Евгения, тихо струились воды широкого Немана. Река текла в уровень с берегами, по гладкому раскату золотых полей, корячневых пашен и зеленых лугов. Но сейчас все это было розовое — и лагерь на холмах, и Неман, и его берега.

Лейтенант гвардейского легко-конного полка Массимо Батталья сидел на пенёчке возле хижины, в которой помещались вице-король и генерал Тюно, герцог д'Абрантес, командир 8-го вестфальского корпуса, подходившего следом за итальянцами к Неману для переправы. Адъютантская шляпа мохолого офицера съехала на ухо. Красивое черноглазое лицо выражало печальное недоумение. Он только что перечитал, — вероятно, в двадцатый раз, — письмо старшего брата Сильвио, жившего в России. Письмо это было им получено еще в Милане, много месяцев назад. Но, если бы не мешали темповатые ответы красного вечера, Массимо, может быть, и еще читал бы и перечитывал страшное, непонятно даже страшное письмо брата. Зачем понадобилось лейтенанту брать его с собой в далекий северный поход? Чорт знает, зачем... Он бережно уложил письмо за лацкан мундира и, вздохнув, прошептал:

— Пусть меня повесят, словно кошку, на солдатскую мишень, если я понимаю, что приключилось с беднягой Сильвио! Или он сделался умен, как Аристотель, а я — глуп, как чулок редисок... Или...

Массимо Батталья глубоко задумался. Между тем подступила ночь. Вечерняя заря, встретившись с утренней, разлилась по прозрачному небу. Собственно, ночи не было, а был какой-то бледный сумрак, настолько

слабый, что очертания предметов несколько в нем не менялись, — лишь самые предметы казались слегка колеблющимися. Этому способствовал отчасти и дым бесчисленных костров, носившийся над лагерем тонкой пеленой.

Множество попятных повозок катилось к реке. Необычайно рослые лошади, выраженные тремя парами в каждую повозку, развозили инженерный груз по тем местам, где должны были перекинуться через Неман мосты. И мосты уже перекидывались. Казалось, будто они отрываются от реки, плывут над ней в тревожной подвижности. И это производило неприятное впечатление на людей, настороженно следивших за ходом грозной операции. Всю ночь плыл к Неману войска — пехице и конные, артиллерия и обозы. Все это двигалось стройной массой, напоминая воздух глухим и разнообразным гулом, таким же пестрым и военственно-красивым, как и мундиры этих войск, их кони, знамена и оружие.

Солнце начало было всходить ярко, и величественная картина ожила, засверкав переливчатыми цветами радуги. Но это продолжалось недолго. Вскоре золотое поле, лежащее по ту сторону реки и густо обрызганное синими васильками, потонуло в тумане. Потом и на лагерь тоже налет туман, едкий, как дым, от которого хочется кашлять. Сухая земля притягивала к себе ночные тучи, чтобы высосать из них влагу. И водяная пыль впитывалась в землю медленно и прочно, как ржавчина в железо. По мере того как это происходило, туман редел. Он поднимался все выше и выше, — до тех пор, пока солнце снова не зайграло над лагерем. Однако легкие белые облака, похожие на клочки аккуратно расчесанной шерсти, еще висели под небом. «Как изменчива сегодня погода», — подумал Массимо Батталья. И стоило ему подумать это, как ослепительный блеск утра опять погас. Белые об-

лака растянулись в паутину и заслонили солнце. Сплошная серая туча клубилась над лагерем. неподвижный воздух был мутен и тяжел.

Над холмами и лесом глухо ревели военные марши. Вице-король Евгений и Жюно стояли возле своей хижинки с подозрными трубками у глаз. Переправа началась. Понтоновые мосты с легкостью огромных пробок прыгали под непрерывным потоком шагавших по ним войск. Тускло поблескивали над водой серебряные трубы гвардейской дивизии, медленно колебались огненно-красные значки улан, туго натянутыми нитями чернели ровные ряды гренадерских шапок, грохотали зарядные ящики и лафеты пушек. Солдаты были приодеты по-праздничному. У них был отважный и бодрый вид.

— Взгляните, герцог, — с живостью обратился вице-король к Жюно, — как это прекрасно! И как похоже на воскресный парад перед Тюильрийским дворцом в Париже, в присутствии императора, а?

Суровое солдатское лицо Жюно сморщилось. Да, это было похоже на парад в Париже, но... Чорт побери! Чего-то все же не хватало. Чего? Ага! Жюно нахмурился и сказал:

— Солдаты не веселы, ваше высочество... И нет песен!

Действительно, каждый из инструментов, создававших военную гармонию этого дня, давал о себе знать: колеса орудий и фургонов стучали, кони ржали, начальники командовали, обозные кричали. Но один инструмент молчал — душа. Не было слышно буйных восклицаний восторга и радости. Двадцать пять тысяч итальянцев — гвардия и дивизия генерала Пино, — переправлялись через Неман в удивительном порядке. Одною зоркий взгляд Жюно не поддавался очарованию, и горно мрачно подтвердил наблюдение своего опытного уха:

— Заставить их петь сейчас так же трудно, как посадить сотню дьяволов на острие одной иглы.

К кучке штабных офицеров подошел блестящий любимец армии, вице-короля и самого императора, храбрый и веселый полковник Гильемино. Он протиснул вперед ладонь вправой руки и щелкнул по ней пальцем левой.

— Когда я смею, господа, на то, что передо мной совершается, у меня такое чувство, как будто история захвата в моем кулаке. Клянусь святым духом, — вот она история, — здесь! Его высочество принц Евгений только что получил сведения: первый

корпус Даву, второй — Удино, третий — Нея, король Миорат с кавалерией Напсути и Мюбрена, гвардия — Мортье, Лефевр, Бессьер, наконец, император с главной квартирой — все без всяких затруднений переправились утром двадцать четвертого¹ через Неман у Тувны, а десятый корпус Макдональда по Тюльзентом...

Офицеры с жадностью слушали новости.

— Удино опрокинул русский аррьергард под Вилькомиром, король Жером выбил казаков Платова из Гродны. Нет сомнений, что император также вышвырнул из Вильны хвост армии генерала Барклай и занял город. Он будет ждать, пока подтянутся обозы и переправимся мы — правый фланг великой армии...

— Клянусь парусом со шляпкой святого Петра! — воскликнул бразый капитан Дельфанте, — императору не долго придется ждать. Завтра утром мы все будем на русском берегу...

— Еще бы, — подхватил Гильемино, — да и вообще эта охота на русского медведя, не позже чем через месяц, окончится дележом его шкуры. Пусть мне покажет шкуры святой Амвросий Медиоланский, если будет не так...

Сказав это, он захохотал. За ним — Дельфанте и другие. Посыпались шутки, удачные и неудачные, но все, как одна, грубовато-веселые.

— Баталья... — вытирая слезы душистыми платочком, продолжал дурачиться полковник, — вы — отличный офицер! Ха-ха-ха! Не потому, дружище, у вас сегодня такой вид, будто... Ха-ха-ха!.. будто вы обожрались ячменем?² А? Ха-ха-ха!..

Массивно поднял голову. Он никак не мог поладить с собой. Его положительно охоловали мрачные мысли, вызванные письмом брата. На душе у лейтенанта было смутно, и лицо его в самом деле поражало унылостью.

— Не надо смеяться, полковник! — резко ответил он Гильемино.

— Почему?

— Сегодня великий день!

— Что это? Канонада?

Все насторожилось. Глухие раскаты донеслись совершенно отчетливо. Но это была не канонада, а гром, и удары его с каждой минутой делались все оглушительнее. С восторга долзили две тучи — одна серая, другая

¹ П. вынул стиль, рывком с старшим на двадцать дней, — 24/12 ю. я 1812 года.

² Грубая солдатская шутка. Обозначая ячменем лошадь, дрислат от боли, в животе и покрывает себя бегом.

черная. Из первой вырывались зигзаги бледных молний. Вторая обдавала небо красным огнем. Гроза в полном блеске вставала над лагерем, гоня перед собой бурю и внезапно сгустившийся мрак. Молнии все чаще расщипывали этот мрак на куски. Все яростней грохотал гром. Вдруг белый свет ослепительной яркости упал на Неман и его холмистые берега. Гром грянул с такой силой, будто небо рухнуло на землю, чтобы раздавить ее. И тогда разрядились тучи: черная брызнула дождем, серая — градом.

Шум и гам разнеслись по лагерю и перекинулись на переправу. Лошади рвали копытами и шарахались куда попало. Они жались, фыркали, трусливо закладывали уши и, не слушая поводов, мчались навстречу буре. Град был жестоко. Сначала мелкий, как толченное стекло, он больно резал лица и руки. Но скоро превратился в ливень крупных и тяжелых камней. Некоторое время они падали редко и как бы пробуя себя наудачу. Затем — все чаще и гуще. И, наконец, опрокинулся вниз ледяным ураганом неслыханной силы. Страшными порывами ветра разметало солдатские ружья из козел, шалаши и палатки. Потоки пенной воды стремительно мчались по дорогам. Бурные озера волновались над полями.

Завернувшись в плащ, Массимо прижался к толстому стволу огромной соены и так простоял всю ночь. Он видел, как под утро стали падать лошади, — их ноги вязли в грязном болоте, образовавшемся на месте лагеря. Проклятья, крики гнева и боли раздавались со всех сторон. Холодный вихрь еще выи и стонал, когда на мутном востоке забрезжила бледная полоска зари. Солдаты промкли и ооченели, тзмученные и голодные, словно корабельщики после крушения. Один проклинал град, падававший ему в спину таких тумачков, что хоть спиртом натирайся. Другому посадило на затылок волырь. Третьему раскропло до крови висок. Кому-то погнуло на кивере герб, скривило линпак на каске. Птальянцы суевежны. Самые беспокойные мысли приходят им на ум. Обозы застряли в болотистой топн — это грозило голодом. Тысячи лошадей топыхали в грязь и воде, — как двигаться дальше? Небо дрожало в белых вешыпках зарниц, — странное небо это как бы предостерегало припшельцев от отрометчывасти. И все это именно тогда, когда они ступили на берег враждебной, далекой, копявятной земли!.. Жестокое предзнаменовало!

Почти совсем рассвело, когда Массимо Батталья покидал лагерь верхом на отличном

воропом жеребце из конюшни принца Евгения, в сопровождении пяти конных великов. Поручение вице-короля, с которым он ехал, превосходило по своей важности все, о чем может мечтать молодой адъютант. Проскакать до Вильны, доставить в собственные руки императора Наполеона рапорт о переправе итальянского корпуса через Неман у местечка Полонного¹ и вернуться назад с повелениями... Со щипом или на щип! Так делается карьера! За ласковый взгляд императора, за слово его и улыбку люди платят головами...

Но странно: как ни старался Массимо подбодрить себя этими мыслями, на душе у него не становилось ни радостнее, ни веселее. Не оттого ли, что пакет с донесением вице-короля и письмом брата Сильвио лежали рядом, в одном и том же жилетном кармане под мундиром? До границы лагеря на каждом шагу встречались знакомые. Косившие физиономии этих офицеров, их обвисшие усы выглядели жалко. Вероятно, они сами знали это. Никому не хотелось смотреть в лицо друг другу. Грустный отъезд!

Лейтенант хлестнул жеребца и вынесся на дорогу, покрытую лужами. Копыта лошади взбили фонтан черных брызг. Почему-то именно в эту минуту Массимо ужасно захотелось вернуться назад. Бедная хижина на холме... Сумрачное и бледное, но прекрасное лицо вице-короля... Брюзгливая мяна па солдатской розе Жюно... Они толкуют о почной буре.

— Скверная примета! — качая головой, говорит герцо.

— Да, римляне, вероятно, принесли бы умилостивительную жертву богам...

Массимо Батталья сердито ударил своего коня рукояткой хлыста по голове. Конь вздрогнул и рванулся из повода. Тогда он ударил его еще раз, еще и еще...

Глава II

Буча кривых изб посреди неотглядных болот и сосновых рощ. На несчастном бугре — серое приваждение замка, пустого и заросшего высокой травой. Старый, бедный деревянный кляштор, повисший над обрывом днепровского берега. Вот и весь город Мир, возле которого установилась на почлег вторая армия князя Багратиона. Впрочем, в голубом полумраке лунной летней ночи город не казался таким убогим и жалким, как днем...

Главная квартира армии разместилась в пригородной бочме — обширной грязной хате с земляным полом. Длинные скамьи у

¹ 20,8 июня 1812 г.

стои, паськвозь прокоптившийся линовыи стъл и кровать, кое-как прикрытая соломой, составляли скудное убранство просторной комнаты. На кровати сидел, поджав ноги, молодой рыжеватый офицер в коротенькой походной шинели вместо халата. Около него в глиняной чашке горела самбальная свеча. Из другой чашки он брал неочищенные картофелины и, медленно отправляя их в рот, задумчиво жевал. На лавках, вдоль стен, запрокинув головы, спали адъютанты и ординарцы главнокомандующего. Их храпу вторил ветер, высевавший и высвистывавший дикие мелодии по щелям и закоулкам корчмы. Эти звуки падали в ночную тишь, как камни в воду.

Кто мог бы полгода назад представить себе поручика лейб-гвардии егерского полка Муратова, из старинной, богатой, всей России известной семьи, молодожена с самыми почетнейшими видами на будущее, в его теперешнем странном положении? Бессонная ночь на соломе в воюющем клоповнике... Полусырой картофель на ужин... Но это — лишь начало. Что же будет потом? Муратов вытаскивал из-за обшлага шинели листов бумаги и прочитал вполголоса:

Младость

Преднасеменя нам не сродны,
И дерзновенен дум полет.
Размахи наших крыл свободны:
Кто молод, — не глядит вперед...

Эти четыре строчки ему нравились. Но дальше стихотворение никак не вытанцовывалось. С досадой отбросив листов, он кулаками сбросил ружь протер уставшие глаза, круглые и желтые, как у большого степного козла. А все-таки — хорошо! Наконец сбылось то, в чем давно мечтал он. Зарю каждого дня его новой жизни приветствуют и труба, и пушка, и ржанье коня. Фланкировка, атаки, скачки по чистому полю, живые дымки перестрелок, удачные схватки охотников, — есть от чего дрожать сердцу в буйной радости. И какой далекой кажется опасность смерти! Чуждое дело войны, — высокая доля чести, любви к отечеству и славных жертв! Чего нехватает воину для счастья? Стоит лишь захотеть — и любой подвиг свершен. Вот знаменитый генерал Муратов, спаситель родины, везет в Петербург плененного им Наполеона. Злодей мечется за решеткой железного лючка. Ах, канальство! Нет, не уйдешь!..

* * *

— Душа, очнись! Эй, разбойник!

Главнокомандующий тряс поручика за плечо. Муратов спрыгнул с кровати и вы-

тянулся, — красный, сконфуженно хлопая глазами. Так и есть: чашка с ужином — на полу, а рыжей кудри, что так круто вылезли надо лбом, — точно не бывало. Ее спалил огонь свечи. Главнокомандующий медленно покачал головой:

— «Кто обнимается с Морфеем яря свеча,

Тот берегись, чтоб не сгореть сплочки», — еще медленнее проговорил он, — есть, брат, такие станцы старинные — про тебя, видеть, писаны. А за спанье на дежурстве вдрогурядь крепке взыщу. Получившь, душа, большущий шпанс!

Муратов покраснел еще гуще. Теперь, когда поручик стоял, можно было видеть, что он очень высок ростом — аршина под три — и, как будто стараясь убавить громадность своей фигуры, слегка горбится. Багратион, не торопясь, сбросил горницу и остановился у стола, заваленного бумагами. То, что речь и движения его были непоспешливы и как бы даже лениваты, ободрило Муратова. Значит, гнев прошел мимо. А что такое багратионов гнев, знали все; он вслыхивал, как молния, и гремел с бешеной силой мгновенно падающей грозой. «Слава богу!» Несмотря на крайнюю неловкость, которую испытывал Муратов от сознания своей вины, он с восхищенном смотрел на этого небольшого генерала, — на его горделивую осанку и воинственное лицо. Два часа ночи... Когда же он спит? И спит ли? Багратион был в сюртуке со звездой и в панталонах, с пагайкой, перекинутой через плечо, и шпагой, подарком Суворова, у бедра. В этом костюме днем и ночью видел его Муратов с той минуты, как началась война и армия пошла в отступление. Раздевается ли он когда-нибудь?

— Что нового, душа? — спросил Багратион.

— От военного министра — весьма важный, конфиденциальный пакет, ваше святительство. Но пометы о срочности нет, печать без перышка¹.

— От министра? Рви пакет. Так! Поддай сюда. Свечу ближе. А-а-а...

По мере того, как Багратион читал, на его открытой физиономии последовательно отражались сперва удивление, потом удовольствие и, наконец, простодушная радость. Муратов жадно ловил эти смехи выражений, словно влюбленный, исподтишка наблюдавший милую непосредственность дорогого существа. Известно, что главные квартиры всех армий на свете всегда бывают наполнены

¹ На пакетах со спешной курьерской почтой сургучные печати накладывались поверх двух перекрещенных перьев.

бездельниками и болтунами всяких чинов. Именно они плетут военные интриги и паутинной тайного противодействия опутывают начальство. Но ничего этого не было в главной квартире второй армии. От дежурного генерала до конвойного казака — все здесь были беззаветно преданы своему главнокомандующему и считали за счастье исполнить любое его приказание. Так было в штабе. В войсковых же частях люди просто рвались по первому знаку Багратиона в воду и огонь. Едва ли сыскался бы в российской армии другой генерал, менее Багратиона дававший чувствовать подчиненным свою власть и столь же безотказно властвовавший над ними.

Внимательно прочитав бумаги, присланные от генерала Барклая де-Толли, князь Петр Иванович несколько минут стоял неподвижно в тихой задумчивости. Потом повернулся к Муратову и положил на его могучее плечо свою легкую руку.

— Любишь ли ты меня, душа?

Поручик вздрогнул. Любил ли он Багратиона? В обычное время Муратов говорил плавно, чутьчку нараспев, приятно акая и по-московски растягивая слова. Но при сильном волнении случалось с ним что-то такое, отчего он вдруг становился как бы зайкой. И сейчас он тоже не сразу ответил на вопрос, простояв довольно долго с раскрытым ртом и выпученными глазами. А затем вывалил одним духом:

— К-как жизнь, ваше сиятельство!

Багратион улыбнулся.

— Жизнь? Ее и впрямь любить надобно. Ведь ты и женат-то год всего?

— Так точно, ваше сиятельство!

— На сестре Олферьева?

— Да-с!

— Счастливы ты, Павлице! А я — что за ферт? И женат, и не женат... Сам не пойму. Жена в Вене с австрийскими министрами приятные куры строит. Я же здесь грудью стою против Бонапарта и полоумного его тестюшки. Как это? А?

Часто бывает, что глубокое уважение, с которым люди относятся к своему избраннику, несколько охлаждает пылкость их привязанности к нему. Но ничего подобного не было в горячем и почтительном сочувствии, с которым Муратов слушал дружески откровенную речь Багратиона.

— Тридцать лет службы военной... Из них двадцать три года — в походах... У таких, как я, знаешь ли, жены где?

Князь помолчал, задумавшись.

— Любезен ты мне, Павлице! Ты да еще сызек твой Олферьев — двое вы всех прочих милей. Возьми же от меня, братец, на па-

мять писульку эту, что военный министр прислал. Возьми... Писулька забавна, да и не пуста. А главное — все в ней не лживо. Правда — лучший монумент человеку. Чудно! Из мелочи нечто вдруг большое сгрудилось! Убили ша-днях сих барклаевы казаки итальянского военного курьера. И с прочими важнейшими бумагами взяли на нем и эту, — писанную обо мне наемным слугой моим, итальянцем же, к брату, в Милан. Хоть и не лживо письмо, а для меня приятно. Вот министр, думая не долго, и шлет мне, дабы любезностью своей князю Петру глаза залепить. Хитер министр! Ан, и князь-то Петр не с ослиным ухом...

Багратион весело засмеялся.

— Бери, душа, памятку. Ты да Олферьев — в секрете. Для прочих — нет ничего!

Один из офицеров, лежавших у стены на скамейке, громко зевнул, повернулся на бок и, разглядев главнокомандующего, с шумом вскочил на ноги.

— Желаю здравия, ваше сиятельство!

— Олферьев! Душа! Еще ли не обоспался?

Входная дверь осторожно скрипнула, пропустив на порог горницы маленькую, нарезкость изящную фигуру молодого франтоватого генерала в прекрасных темных локонах. Он любезно поклонился. Это было короткое, быстрое, еле приметное движение. Но учтивости, которая в нем заключалась, хватило бы, вероятно, на весь старый версальский двор. Простодушная улыбка потухла на лице Багратиона, словно ушла внутрь. От этого лицо его потускнело, и новое, неприятное выражение возникло в нем.

— А вот и господин начальник штаба, — сказал Петр Иванович странно чужим голосом. — Доброе утро, граф!

Слав Олферьеву дежурство, Муратов похвастался подарком. Две головы низко склонились над письмом Батталья. Одна огромная, как ворох ржаной соломы, и такого же цвета, другая — белокурая, с волнистыми зачесами на тонких висках.

— Когда дым бивачных огней окутал Европу, словно черные туманы средневековья, — проговорил Олферьев, — итальянский язык как раз у места для славы нашего вождя. Я в подлиннике читаю Тассо, — стало быть, послание грамотея этого сейчас разберу. Ты же, Поль, возьми копию с переводом. Итак: «Господину Массимо Батталья, второму лейтенанту легко-конного велитского полка итальянской королевской гвардии, в городе Милане»...

Головы склонились еще ниже.

ПИСЬМО Э. С. БАТТАЛЫ

«Мой дорогой брат! Ровно двенадцать лет тому назад я в последний раз обнял тебя и тетюшку Бобину. Это было на выезде из Милана, у Верчельских ворот, возле хижины из серых булыжных камней, в которой помещалась старая кузница нашего покойного отца. Клянусь святой троицей, я ничего не забыл. И сегодня, оглядываясь в прошлое, я снова вижу, как по бледным и смуглым щекам моего маленького братца Массимо быстро катятся крупные слезы.

Я оставил родину и покинул близких для того, чтобы спасти их от жестокой нужды, а, может быть, и от голодной смерти. Другого способа не было. Накануне отъезда я вывернул наизнанку свои карманы. Из них выпало лишь несколько ничтожных соев и чентезимов. В доме — кусочек рождественской колбасы и банка с салом, перетопленным из свечей... В винограднике Сан-Витторо — четвертая доля пертика на всю папу семью... Что же оставалось делать? Я уехал в Россию.

Двенадцать лет — очень, очень много... Кузница у Верчельских ворот давно развалилась. Тетюшка Бобина уже не торгует на рынке весенними стрижами. С тех пор как ее младший племянник сделался адъютантом итальянского вице-короля, это занятие больше не по ней. Вот и все, что я знаю о вас обоих, Массимо. Но обо мне у тебя нет даже и таких сведений. Ты хочешь иметь их? Слушай же, дорогой мой.

Два брата — две судьбы. В кузнице отца мы вместе учились быть стойками, привыкая к бедности и воздержанию. Я остановился на этом. А ты пошел дальше и теперь сам учишь своих храбрых солдат презирать страдания, лишения и смерть. У тебя нет другого божества, кроме повелителя Европы, другого разума, кроме его силы, и другой страсти, кроме общего с ним стремления к славе. Я обращаюсь к тебе, заслуженному и блестящему воину, с братским «ты» и без всяких пышных титулов. Нет ли в этом ошибки? Не почувствуешь ли ты себя оскорбленным, узнав, что твой старший брат попрежнему всего лишь лакей? Не покоробит ли тебя от его фамильярности, которая перестала быть уместной? Да, любезный Массимо! Я, действительно, все тот же и совершенно не желаю быть другим. Опыт раскрыл передо мной несомненные преимущества скромных жизненных путей. И я отпущусь с теплым уважением к людям, достойно по ним идущим. С тысяча семьсот девяносто де-

вятого года я — верный слуга моего русского господина. И не нахожу в этом ничего, кроме личного права на гордость и честь. В объяснение я мог бы привести множество фактов: военные доблести моего господина известны целому свету; он добр, благороден, неустойчив в трудах и бесстрашен в опасностях; недостатки его гораздо привлекательнее достоинств, которыми обычно кичатся люди; наконец, он — правнук карталинского царя Иессея, следовательно, знатен, как король Обеих Сицилий, или, по крайней мере, как тосканский герцог. Все это — безусловная истина. Однако и ее не хватает для моего камердинерского самолюбия. Поэтому я расскажу тебе, Массимо, о том, что случилось вчера. Едва ли есть рассказчик, менее умелый, чем я. Не беда! Я постараюсь заменить искусство точностью изложения и думаю, что мне удастся бросить острый луч света на характер и душу моего героя. Тогда в ореоле его величия ты легко различишь глубину, из которой вырастает радостный долг моей преданности, — тот самый долг, который воспрещает старому слуге Энею Сильвио Батталле желать для себя иной, менее скромной судьбы...

...Уже около трех суток мой господин гостит в поместье своих родственников и друзей. Это поместье называется Симь и расположено неподалеку от города Владимира. Представь себе огромный белый дом с высокой крышей и широкой колоннадой двух террас, обращенных в сад, полный розанов. Посреди яркой зелени, под ослепительным летним солнцем, сверкают мраморные статуи древних богов. За садом искрится овалный пруд. Его берег — начало необъятного парка из столетних дубов и лип. Мне кажется, что для обмера этого парка в итальянских туазах не достанет всех чисел арифметики. В Симях — множество хозяйственных ферм и большой конский завод. Я видел здесь очертания важного берейтора-англичанина, гигантских ньюфаундлендских псов, сельскохозяйственные машины и даже какое-то сложное устройство для орошения полей, обсеянных клевером.

Этим богатством владеет почтенный полковник вельможа, князь Голицын, веселый и улыбающийся, чисто русским, добродушным лицом¹. Его супруга — тетка моего господина. Как и племянник, она тоже царского рода². Никогда не приходилось мне видеть

¹ Кн. Борис Андреевич Голицын (1760-1822).

² Кн. Анна Александровна Голицына (1763-1842), рожд. светл. кн. Грузинская.

ничего роскошнее той обстановки, в которой мы теперь живем. К дому ведет двойная лестница. За вестибюлем, буфетной и столовой открывается длинная анфилада комнат с настезь открытыми дверями — залы, гостиные и боскетные...

Мы приехали в Симы третьего дня. А вчера, с раннего утра, кареты, коляски, фаэтоны, брички и другие экипажи начали подкатывать к дому почти непрерывной вереницей. Кому не знакомо в России прославленное громкими военными подвигами имя моего господина? И вот соседние дворяне, знатные и безвестные, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, устремились сюда, выскисные общим порывом патристического воодушевления. Напудренные лакеи, в башмаках и ливреиных фраках, несмотря на ловкость своих споровок, еле успевали высаживать гостей. И к вечеру Симы превратились в маленький шумный городок.

Тотчас по приезде я довольно близко познакомился со здешним мажордомом (в России этих людей называют дворецкими). Карелин — сублильный старичок в длинном коричневом сюртуке. Он плешив, усердно полагает табак из лакированной черной табакерки с ландшафтиком на крышке и чрезвычайно разговорчив. В обычное время он не обременен заботами, так как в Симах все идет по издавна заведенному прочному порядку, будто само собою. Основная обязанность Карелина, в конце концов, заключается только в том, чтобы по утрам варить для княгини кофе. И он выполняет эту обязанность с артистическим искусством. Но вчера, принимая гостей, бедный старикашка бился с пог. Впрочем, не меньше хлопотал и сам князь — хозяин.

Среди этой торжественной сутолоки я один был совершенно свободен и вдоволь налюбовался как своим господином, так и его тетушкой. Мой господин не высок ростом, но сложен с точным соблюдением всех пропорций подлинного изящества: широкие плечи, юнкая, как у девушки, и такая же стройная талия, смелая, легкая поступь, — все это меня красиво. Прибавь сюда мужественную, смуглую физиономию, быстрый и горячий взгляд черных глаз, орлиный нос, крутые гудри цвета воронова крыла, беспорядочно венчающие гордую голову. Соединив все это вместе, ты можешь считать, что видел князя Петра Ивановича Багратиона. Он весел в обществе, неистощим в речах, любит нежную, но меткую шутку и придерживается той благородной простоты прямого обращения, которая свойственна только военным людям. Таков он был и вчера, — равнодушный к поклонению и отзывчивый на всякое

искреннее слово, — тогда как кругом него гремел хор комплиментов и восторженных похвал.

Совсем не похожа на него княгиня Голицына. Это — высокая женщина со строгим горбоносным лицом. В ее жестях, холодном выражении глаз и манере говорить трудно заметить упрямую волю, жесткий характер и резкий ум. Точно дерево среди зимы, она растеряла листья молодости, но сохранила в неприкосновенности твердый ствол и крепкие сучья. Иней лет уже посеребрил ее голову. И гости, входя в боскетную, где она сидела на зеленом штофном диване, приближались к ее угрюмому величию, как к святыне.

Вечером ужинали в большой передней заде. Восковые свечи ярко горели в трех люстрах. Ужин сверкал на длинном столе драгоценной посудой, саксонским фарфором, граненым хрусталем, вазами и букетами роз. Осетры, стерляди, сливочная телятина, индейки, откормленные грецкими орехами, — чего не было на этом столе! Оранжевые фрукты, груши, яблоки, груды конфет, прохладительные без счету... И шампанское — как вода! Я наблюдал за тем, что делалось в зале, из буфетной. Изредка туда забегал и старенький Карелин, потный, усталый, но довольный. Отправляя в нос попошку за попошкой, он непрерывно говорил, — многие в его возрасте бывают болтливы, — и в короткие минуты своего отдыха успел сообщить мне нечто очень важное. Ах, Массимо! Авторская дерзость меня оставляет. Я чувствую, что не смогу хорошо передать рассказы Карелина. А надо, чтобы он дошел до тебя совершенно таким же, каким я его услышал. Постарайся представить себе маленького человечка с круглым лицом цвета хорошо запеченной ветчины и голой, как кегельный шар, головой. Его голубые глаза полиняли от старости и слезятся. Праздничный фрак и узкие бархатные панталоны удивительно свежи и корректны. Огромные углы воротничков и галстук белы, как русский снег. Приятный басок проникает в душу. Попробуй представить себе эту милую фигурку, и пусть не я, а дворецкий говорит теперь сам за себя»...

Глава IV

РАССКАЗ КАРЕЛИНА

По науке, почтеннейший господин Батталья, тридцать лет — большой для жизни человеческой срок-с. И потому в семьсот восемьдесят первом году были мы, против теперешнего, много моложе. Княгине Алине Александровне всего лишь под двадцать под-

ходило. А господни наш едва ли даже и шестнадцатый считал. Да и я еще полным глядел лихачом-с. У-уф! Ап-чххи! Чхи! Чхи! Благодарствуйте! Состоя в нежном отроческом возрасте, жила князь Петр Иванович с батюшкой своим на Кавказе, поблизости города Кизляра. Можно сказать, жили они света на краю, где ирочки, белье моючи, мыло на небо кладут-с. А далекое такое пребывание по той нужде имели, что батюшка князя Петра, при великой породе своей, самый первый был голик: отставной полковник, и, окромя малого садика под Кизляром, не было у него ничего-с. Бросался его сиятельство на рюмки, будто магнит на железо, и — обеднял. Так-то, мешая дело с бездельем, чтобы, избави бог, с ума не сойти, и обитали они в своем садике.

Идоспело, однако же, время князька молодого в военную службу везти. А куда-с? Бог весть. Само дело ни ползет, ни летит. Принялись себебирать столичных доброхотов. И княгинюшку нашу вспомнили. Благодушнее тогдашнее всем было известно... У-уф! Ап-чххи! Чхи! Чхи! Благодарствуйте! Взятась она без отказа за хлопоты. И на тот конец, чтобы жребий племянников лучшим манером устроить, выписала его в Санкт-Петербург. Приехал князь Петр, — черен, худ, мал... Недоросток галчинный с виду, и только. А всего главнее — так одет, что и показать его людям возможности нет. Не то на нем куртка длиннополая была, не то кавказский бешмет, и по верх балахон пресмешной. Все то — из грубейшего верблюжьего суконца. Тут и весь был его мундир-с. Мечтается мне господни наш таким часто и по днесь... Ей-ей!

В те поры царствовала в России Екатерина-Секунда¹, государыня ума величайшего и сердца неохватного. Военными же всемп делами заправлял без отчета знатный чудодей, светлейший князь Потемкин. Через высокоую эту планету затеяла княгинюшка возвести племянника своего на первый ступень патурального счастья. И клюнуло. Да маленько во времени разошлось. Покамест Петру Ивановичу у лучшего столичного портного кафтан, камзол, штанишки правили, кланяться и французским кое-каким словам учили, вдруг, как гром с небес, от Потемкина к нам фурыер: немедленно представить светлейшему недоросля из дворян Вагратюна для панскорейшего в службу определения... А в чем представить? Как есть, не в чем-с... Ретивый фурыер у крыльца ждет. Страшная тут поднялась у нас суматоха, шуму полны герлицы, а дела — пет-с. И как знать, чем бы катавасия завершилась, кабы не я. Мир сей, господни

Батталья, — лабиринф и загадка. Все в нем и чему-нибудь да пригождается. Так и я пригнулся. Тогда еще мода была на англезы, и барши наш, князь Борис Андрейч, — бывалый в свете и не последний щеголь, — с грацией дивной оттопыривал англезы эти на бальные паркетах в разных дворцах. Для вечерних куртагов водилось у него многое множество, разноцветных шелковых кафтанов, одни другим богаче, а иные и с алмазыными пуговицами. Наслушит кафтан — с плеч долой, и мше — новый шодарок-с. Оттого и я ходил франтом: расчесан на три пучки, в пудре, в брыжжах, камзолы ярчайшие, а о кафтанах и речь молчи, — словом сказать, Бова-королевич, а не слуга. В тот день, как прищинулась у нас суматоха, князя Бориса Андрейча, по прыжкести его тогдашней, дома не нашлось. И подвернувся на глаза княгинюшке я, — в светло-голубом кафтане и претовком этаком кружевном жабо. Глянула она на меня раз другой, да ц пальчик к губам. Сперва залумалась, потом всохотнула. «Стой, — говорит, — Инкишка! Сымай с себя весь костюм». Я было застыдился. А княгинюшка на меня — прозой. Я скорей с себя все прочь, от парика до туфель, замер в бельишке худом и жду, — что будет-с? — «Князь Петр, — говорит, — живо облакайся!» Ну, князь Петр пресить не заставил. Вмиг преобразился из длинной черкески в курчый кафтан и выступает фертом, будто ввек ничего, окромя шелковых французских нарядов, не нашивал. И так вышло, что сложением и ростом оказались мы в одну мерку по всей точности. Помчал князь Петр Иванович во дворец. Принят его там светлейший с немалой ассистенцией, и понравился ему князек. Правду сказать, был он смолоду и дыковат, и безгласен, но ведь не один тот бывает учен, кто многим наукам учился, а и тот, кто с применением живет-с. Неправился... Через час назад прибыл, да уж не недорослем, а сержантом Киевского мушкетерского полка-с. Радостен вернулся, казалось ему, что на третьем небо пошал и неизреченные слышит там глаголы. А тут у нас и биниф, и вино, и пуши! Так-то довелось мне, почтеннейший, при первом господина вашего порьерном шаге не самовидцем простым быть, но и главным в деле участником... Что ж? Не задаром-с! Не стал бы теперь князь Петр Иванович на людях лобызать меня, старое, кабы сердце свое благородное не хотел миру показать...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА Э. С. БАТТАЛЬИ

«...Теперь представь себе, Массимо, громадную галерею и на ней — многочисленное общество, столпившееся после ужина вокруг

¹ Вторая императрица.

моего господина. Три каменных лестницы ведут прямо через сад в длинные аллеи столетнего парка. Перед входом в парк поблескивает пруд, голубеют в сиянии месяца статуи и обелиски. Где-то за садом ведется крестьянский танец (здесь это зовется хорсводом), слышат деревенские песни. Вечер удивительно тепел и тих. Пламя свечей, горящих на террасе в больших бронзовых шандалах, несмотря на открытые окна, неподвижно. Клянусь небесными силами, я и в Италии не видывал такого прелестного летнего вечера, как вчерашний!

Но три всем том было в нем нечто страшное. И под тягостным впечатлением этого страшного общества вдруг приумолкло. Никто не похвалил красоты вечера. Никто не спустился из галлерей в сад. А князь — хозяин шопотом приказал Карелину немедленно остановить крестьянские песни и пляски на заднем дворе. Словно замороженные, все глядели на темно-синее, чистое небо. Там, где обычно сверкают семь звезд Большой Медведицы, в его бездонной глубине висело чудовищное поелое невидимой ведьмы. Багровая комета шмыкала гигантским загнутым хвостом. И великодушное безобразие этого зрелища наваяло на души какой-то мучительно сладкий трепет. Уже не первую ночь миллионы глаз смотрели на небо и не могли привыкнуть к его новому виду. Хотелось донсаться смысла в этом необыкновенном явлении.

— Комета... Комета... — пронеслось по галлерее. — Чем грозит нам она, о, боже!

Господин мой тоже казался взволнованным. Его руки были сложены крест-накрест поверх бриллиантовых орденских знаков и широкой голубой ленты. Голова задумчиво склонена на грудь.

— Не феномен этот страшен, — вдруг выкрикнул он, — а то, чего вся Россия ждет... Други!.. Отечество наше — в опасности. Не выче-завтра бросится на нас Наполеон. Война неминуема, — свет не видал подобных войн. Все станет по карту — свобода и честь яйценной русской земли... Други! Памятью предков, всем, что есть для меня дорогого, клянусь: умру за Россию!

Привычным движением он вырвал из ножен пистолет до половины клинка и с лягом вынул обратно...

Поздно вечером я помогал моему господину раздеваться перед сном. Он был задумчив и молчалив. От нечаянной веселости не осталось в нем и следа. Этому унылому настроению соответствовал мерный стук английских часов, стоящих в спальне князя на полуркальнице между окнами. Минутная стрелка на них завершала свой круг. Они четко пробили один раз, и за ними множество дру-

гих часов, стоящих и висящих в разных комнатах огромного дома, принялись отбивать и отщелкивать ночной термин. Эта трескучая музыка вывела князя из задумчивости. Он пересел из кресла на постель и медленно проговорил:

— Если родине моей, Сильвио, предстоит гибель... пусть первой жертвой буду я!

К таким словам, из чьих бы уст они ни вышли, невозможно отнестись равнодушно. Но их произнес могучий воин великой страны. Они вырвались у грозного полковника, который не гнушается поцелуями теплой благодарности чтить старого раба. Бог знает, что со мной сделалось... Не помню и того, как это сделалось. Только я, свободный итальянец, схватил маленькую руку этого удивительного человека и крепко-крепко поцеловал ее. Кажется, я шептал в этот момент что-то очень банальное, вроде:

— Скорее небо упадет на землю и река По потечет вверх, чем я...

Но не то важно, что я шептал, и шептал ли вообще что-нибудь, а то, что я поцеловал его руку и от этого почувствовал себя не хуже, а лучше, чем был до того...

.....

...Вот то, дорогой Массимо, что, мне кажется, лучше всяких рассуждений может тебе объяснить, почему я не считаю унизительной свою лакейскую должность и не стремлюсь ни к какому другому, более высокому положению в жизни. Если же ты все-таки не поймешь, не я виноват. Никогда в жизни я не писал так много, — впрочем, дело заслуживает этого. Не оскорбляйся моей некрепностью, Массимо. Где скрывается истина, никому не известно. Да и к чему она людям, у которых есть убеждение? Итак, я обращаюсь не столько к королевскому лейтенанту, сколько к маленькому кузничному ученику, которого оставил двенадцать лет назад в Милане у Верчельских ворот. Обращаюсь к нему и прошу не отвергать дружеского и братского объятия. Нежно обнимаю также теплую Бобиду. Я очень желал бы знать, продолжает ли она попрежнему молиться обо мне ежедневно утром, вечером, после завтрака и после обеда святому Бонифацио калабрийскому. Извините, мои милые, за каракули и сохраните в памяти и родственном расположении вашего Энея Сильвио Батталья.

Село Симы, Владимирской губернии.

18 июня 1811 года.

* * *

Муратов и Олферьев несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Потом объ-

лись,—также без слов, радостные и светлые. Муратов бережно уложил на груди подарок Багратиона.

— Покамест сердце бьется, хранить буду здесь, Алеша!

Глава V

Городничий был из оставших кавалерийских майоров и в спокойные времена любил заливать за воротник и начинать нос табаком. Сейчас он стоял перед Багратионом бледный, как репа. Нижняя челюсть его приметно тряслась.

— Ваше сиятельство,—повторял он отчаянным голосом,—ваше сиятельство! Христом богом... Как же это? Давай кварцеры, строй печи для сухарей, давай дрова, давай подводы,—все на свете-с... Ваше сиятельство! Вы городничко наш изволили видеть? Откуда же? Куда ж мне? В реку броситься...

Багратион поднял руку и с такой неожиданной силой огустил ее вниз перед краснеющим носом старика, что лицо городничего явственно ощутило дуновение свежего ветра.

— Знать ничего не хочу! Чтоб было! Не то — повешу!

Олферьев с волнением следил за развитием этой сцены. Оба участника ее были правы,—каждый по-своему. Князь Петр Иванович берег людей. Но, сам неутомимый, бывал и к ним в нужде требователем до бесконечности. А городничий... Старый майор побавровел. Челюсть его перестала дрожать.

— Меня повесить? — рявкнул он.— За что-с? Аль не служил я кровью своему государю? Алн сын мой, Смоленского полка, что в седьмом вашем корпусе, подпрапорщик Зиминский, не льстится надеждой за родину жизнь сложить под вашей командой? Меня повесить! Как-с!

Городничий сорвал с себя зеленый сюртук. И, распахнув рубашку, плачущим от обиды голосом прокричал:

— Вот они — раны-с...

Багратион хотел отвернуться.

— Нет, уж извольте взглянуть, ваше сиятельство!

Плечо старика было много лет назад разворочено осколком и до сих пор имело уродливый и жалкий вид. Через грудь шел багровый рубец от глубокого сабельного удара. На животе... Князь Петр Иванович подошел к ветерану и обнял его.

— Прости, душа! Я думал, что ты из красивого семени¹, а не наш брат. Прости же великодушно. А теперь без крика и шума скажу: не выполнишь — расстреляю!

Несколько секунд городничий молча смотрел на него, так, как был,—с голым плечом и обнаженной грудью. Потом аккуратно застегнул сюртук и, вытянувшись, отчеканил:

— Будет исполнено!

* * *

— Садись теперь, Алеша, и пиши, что говорить стану. Или... обожди малость. Ей-ей не подьячий я, чтобы сочинять, что ни день письма царю. Я — воин. В том мне дело, чтобы командовать. Не дадут! А если бы отказался министр¹? Завтра был бы я в Витебске. Отыскал бы там Витгенштейна с первым его корпусом. А потом — распашным маршем двинулся бы, в приказе отдав: «Наступай Поражай!» Вот моя система: кто раньше встал, тот и палку взял. Ой, сколь много важности в быстроте! Под расстрел готов коли господина Наполеона в пух не рассчитаю. Но что делать? Не открыт государем ни общий операционный план. Министр знает, д от меня в секрете держит...

Багратион шагал по горнице. Вдруг, пораженный внезапной догадкой, он остановился перед *Олферьевым. Пронзительный взгляд его огненных глаз упирался в молодого офицера. Но Олферьев чувствовал, что князь и видит его.

— А что, коли и министр тоже ничего не знает, кроме того, что государю не угодн больших сражений давать? Скрыт от нас государь! И легко может Барклай, как и я ничего не зпать. Тогда так сужу: либо и имеет министр вождеденного рассудка, либо лисина. Зпает и молчит — гнусно. Не знам молчит — опять же гнусно, либо в одном с мной положении быть стыдится. Прикажи он, бурмистр государев, а не министр. Но во всем том министром зовется и на шею мое сидит...

Да разве один Барклай сидел у него на шее? А тот,—красавец в локонах, с узкими слегка поджатыми губами, начальник штаба второй армии, господин генерал-адъютант граф де Сен-При? Отец его был француз мать — австриячка. Родился он в Константинополе. Учился в Гейдельберском университете. С семнадцати лет в русской службе. На Аустерлицем потерял лошадь и за то получил Георгия. При Гутштадте ранен в ногу картечью. Отлично! Но кто же встаки он — этот граф? Что он для России? Почему и начальник штаба одной из российских армий

¹ Военный министр М. Б. Барклай де-Толл был вместе с тем и главнокомандующий 1-й армией. Его приказания были обязательны для Багратиона.

¹ Из гражданских чиновников.

и генерал-адъютант императора? Царь шлет ему письма. О чем? От Сен-При не дознаешься. Иной раз будто вытолкнет его что-то вперед с каким-нибудь неожиданным новым планом. Ясно: не его это планы, а государевы. Но зачем же государь шлет проекты Сен-При, а от главнокомандующего таит их? И выходит, что главнокомандующий должен повиноваться начальнику своего штаба, — мальчишке, проходивцу. А как этот французшика на ухо легок! Не шпион ли? «Мы проданы, — подумал князь Петр, — ведут нас на гибель. Где сыскать равнодушия? Нет мочи дышать от горя и досады»... Он присел к столу против Олферьева.

— Хотел писать царю, — не буду. А чтоб душу отвести, черкнем, душа Алеша, тезке твоему — Алексею Петровичу Ермолову. Начнай без экивоков: «Мочи нет, любезный тезка, дышать от горя и досады. Стыдно носить мундир! Бежит министр, а мне велит всю Россию защищать. Мерзко мне фокусничество это. Ей-ей, скину мундир!..»

Багратион взглянул на своего адъютанта. В ясных серых глазах Олферьева дрожали слезы. Нежное, как у девушки, лицо его было искажено судорогой отчаяния и горя. Князю Петру стало жаль его. Он протянул руку через стол и ухватил офицера за ухо. Потом, пригнув к себе, прошептал:

— Не горюй, душа! Сперва Россию из ямы вытащу. А уж там и мундир сниму. Одна-то голова — не бедна. Да еще и сниму ли? Ермолову ведь пишем. Он — тонок, «платер Грубер»¹, покажет письмо министру, — то и надо!..

* * *

Вьюки, чемоданы, седла валялись по скамейкам и на полу. Столы, табуреты и стулья были расставлены так беспорядочно, словно их уронили наземь с большой высоты. Дежурные толпились в дверях, ожидая приказаний. Человек пятнадцать офицеров, — кто в сюртуке, кто в шинелере², а кто и просто в архаике, — расхаживали по горнице с трубками в зубах. Некоторые что-то писали, лежа на чемоданах. Говор и смех висели в воздухе. Писаря суетились. С авашистов то и дело приезжали гусары с донесениями.

Государев флигель-адъютант вошел в дежурную комнату главного штаба второй армии около полудня. При виде золотого аксельбанта и вензелей на эполетах приезжего польсавишка шумная офицерская ватага сконфузилась и замерла в почтительном молчании.

¹ Платер Грубер — известный иезуит. Шуточное прозвище генерала А. П. Ермолова среди близких ему людей.

² Мундир без фалд, надевался под сюртук.

У флигель-адъютанта была немецкая, картонная физиономия, измятая и усталая, с мягкими впальми щечками и тем приветливо-постынным выражением, которое часто бывает свойственно придворным людям, неискренним, пустым, уклончивым и равнодушным. В походке и манерах он заметно подражал императору, — сутулился и вытигивал вперед шею, словно ожидая услышать или собирать сообщивить нечто важное. Флигель-адъютант скакал сюда по местам лесистым и болотным. Бруслики, которыми мостились дороги в Белоруссии, в течение целых суток непрерывно плясали под колесами его брички. Скачка походила на пытку. И сейчас узкая грудь флигель-адъютанта ныла от долгой тряски и бесчисленных толчков. Он огляделся и уже раскрыл рот, чтобы осведомиться, где главнокомандующий, когда из соседней горницы быстро вышел граф Сен-При с радостно протянутыми вперед руками.

— Бог мой! Как вы добрались до нас, полковник? Что вы привезли нам?

— Es ist schauerlich!¹ — ответил приезжий. — Дороги стали столь трудны и опасны, что государь, отправляя меня, не дал мне письменных повелений.

— Каким же путем вы ехали?

— Через Дриссу, Борисов и Минск. На встречу мне из Минска мчалось множество экипажей. Непрерывной вереницей тянулись обозы. А под самым Минском я столкнулся с губернатором и чиновниками, которые бежали из города. Они уверяли меня, что неприятель через полчаса будет в Минске. По я проскакал по улицам благополучно. Впрочем, через час там действительно были французы.

Громкий вздох пронесся по горнице. Как? Минск взят французами? А ведь вторая армия спешила именно к Минску, чтобы заключить собой средние области России от наступавшего Даву. И вдруг — Минск взят! Значит, Даву предупредил вторую армию. Стало быть, расчет главнокомандующего рухнул... Сен-При взял флигель-адъютанта под руку и повел из общей комнаты в соседнюю пустую. Здесь он аккуратно притворил дверь и тщательно припер ее тяжелой скамьей.

— Мне хорошо известно, дорогой полковник, как вы осторожны. И я поражен откровенностью, с которой вы сообщили сейчас *orbi et urbi*² о постигшей нас неудаче...

Флигель-адъютант внутренне вздрогнул. В самом деле, притвычка в сдержанности ему изменила. Проклятая дорожная тряска! Надо исправить ошибку. Но как? Ни на секунду не

¹ Нечто чудовищное (немецк.).

² Всему свету (лат.).

теряя достоинства и в полной мере сохраняя репутацию ближайшего к государю человека. Его шрешая физиономия строго смирчилась.

— Зачем скрывать правду? — проговорил он. — Пусть вторая армия знает, к чему ведут пассивная самопадежность и неосновательная хвастливость ее вождя... Что, собственно, случилось? Наполеон распустил ложные слухи, будто его главные силы сосредоточены в Варшаве и что австрийская армия движется на нас из Галиции. По этой причине мы разделили наши войска на части. Между тем Наполеон начал войну совершенно не так, как мы ожидали. С основной массой своих корпусов он перешел Неман к Ковны и направил Даву на Минск против князя Багратиона. Теперь ясно, что он желает помешать соединению генералов Багратиона и Барклая. С этой точки зрения потеря Минска равна катастрофе. Не скрою от вас, дорогой граф, что действия вашего главнокомандующего внушают его величеству серьезные опасения. Вам поручено присматриваться к князю Багратиону и изучать его. Скажите...

Сен-При провел рукой по своему бледному, тонкому лицу. И на лицо легла грустная тень. Прекрасные глаза его, потемнев, тоже сделались грустными.

— Наш главнокомандующий, — начал он, — неподражаем в своих мгновенных вдохновениях. Он храбр в битвах, хладнокровен в опасностях, необычайно распорядителен, тверд в ведении дела. Но...

— Но?

— Видите ли... Князь Багратион провел бурную и рассеянную молодость. Ему некогда было учиться. Он овладел военным искусством на опыте. А так как опыт часто противоречит книжным доводам кабинетной науки, князь своеобразно отличается от множества других военачальников. В этом, отчасти, причина его магического влияния на умы таких образованных генералов, как, например, Раевский. Они идут за ним совершенно слепо. Je le leurs disait bien. Mais ils n'ont pas voulu suivre mes conseils, et bien les voilà punis!¹

— Вы правы. Князь упустил Минск. Государь очень опасается, что подобные промахи будут повторяться... — По с Наполеоном нет ни Массены, ни Мармона, ни Ланна, ни Журдана, ни Сульта, ни Ожеро. Один из этих блистательных полководцев командует Домом инвалидов в Париже. На челе другого уже горит пустая печать измены. А прочие исполняют обязанности дядек при тупоумных

братьях гения. В Россию пришли Мюрат, Пей, Даву... Это — первоклассные таланты. Однако кто из них учнее Багратиона? Я хочу вас просить, дорогой полковник, вручить государю мое письмо. Я изложил в нем как эти соображения, так и многие другие, в сущность которых его величество несомненно посвятит вас. Я счастлив доверием государя, по удручен тягостью моей двойственной роли здесь, при князе Багратионе. Я так ненавижу Наполеона, что с невольной горячностью присоединяюсь к самым решительным порывам князя. И все же никак не могу завоевать его сочувствие. Он видит во мне прежде всего наблюдающее око, — это его раздражает. Я для него — человек, лишенный родины, и он не хочет понять, что уже около двадцати лет я заменяю потерянную родину долгом присяги и чести...

Голос Сен-При прерывался от волнения.

— Князь постоянно возвращает меня па какое-то неопределенное и крайне неудобное место. Боюсь, что я никогда не сумею победить его предубеждение...

— Вероятно, ваше сиятельство, намереваетесь просить государя о переводе в первую армию?

— Нет. Генерал Барклай еще менее радовал бы меня как начальник. Кстати: он так же мало посвящен в планы государя, как и мой главнокомандующий.

— Он посвящен больше. Но, конечно, тоже не полностью. Идея отступления первой армии в укрепленный Дрисский лагерь принадлежит исключительно его величеству, и генерал Барклай — всего лишь точный исполнитель...

— Тьфу, пропасть! — раздался за дверью громкий голос Багратиона. — Да куда же делся граф? Что? С государевым флигель-адъютантом? А ты не во сне видел, душа?

Сен-При и приезжий полковник вскопали с мест. Граф испуганно поджал губы и бросился отодвигать скамейку от двери. Полковник одернула сюртук и поправил аксельбант.

Глава VI

Командир 7-го корпуса генерал-лейтенант Раевский был слегка глуховат и поэтому ужасно не любил так называемых военных советов. Кроме того, столько раз случалось ему в них участвовать, принимать вместе с другими участниками общие решения и потом видеть, как все совершается иначе, что время, затраченное на эти словопрения, он привык считать просто потерянным. Особенно не нравились ему военные советы в присутствии царских посланцев, — таков

¹ Я их предупреждал. Но они не пожелали следовать моим советам и теперь наказаны! (франц.).

именно был сегодняшний. Здесь дело положительно отступало на задний план. Зато сложно развевалась утомительная игра людского самолюбия и карьерных замыслов. И Раевский заранее знал, как сгруппируются интересы, и какие образуются лагеря, и из каких соображений каждый участник совета будет говорить то или иное. К главнокомандующему привикнул донской атаман Илатов — по слепому доверию, и он, Раевский, — по убеждению в превосходстве смелой и самостоятельной военной мысли над робкой и хладушной. Государев посланец будет молчать, наблюдая. Но то, зачем он прислан, выскажет как бы от себя Сеп-Прп. А к нему — по дружбе и общим привычкам придворности — присоединится пачальник святой гренадерской дивизии граф Воронцов. Шеф ахтырских гусар Васильчиков беспомощно повиснет в воздухе. Всего труднее будет Багратиону, — из-за его горячности. Всего тяжелее — ему, Раевскому, — от глухоты и людских чувств.

Николай Николаевич сидел возле князя, подперев кулаком большую курчавую голову. В лице и во всей невысокой и стройной фигуре, в движениях и даже в неподвижности его можно было легко заметить нечто такое, отчего благородство и ум этого человека казались несомненными. Вот он повернулся к Багратиону, взглянул на Воронцова, опустил голову и задумался, — просто и открыто, с достоинством, без малейшей позы, точно взял и подчеркнул какую-то свою мысль. Но вместе с тем заметны были в Раевском и усталость, и холодность, и даже, пожалуй, равнодушие. Такие люди очень часто возбуждают великие ожидания, но оправдывают их далеко не всегда.

— Вашему сиятельству предлагается план решительный, но вместе и осторожный. — крадливо говорил Сеп-Прп, — он прямо вытекает из положения, в коем мы находимся. Будучи отрезаны от первой армии, мы, однако, без особых затруднений можем еще сосредоточить все наши части в Несвиже. Пользуясь природными условиями местности, а также старинными замковыми постройками князей Радзивиллов, нам легко будет там закрепиться. И выжидать неприятеля не на открытой позиции, но в укрепленном лагере, неподалеке Дрисского, куда первая армия идет...

Багратион слушал с недовольным, почти сердитым видом.

— Не годится, — твердо произнес он.

Потом, вспомнив, что предложение Сеп-Прп, по всей вероятности, есть один из планов императора, что привез его флигель-

адъютант, что главнокомандующий, по обыкновению, отстранен от своей естественной роли довольно оскорбительным приемом, он проговорил еще тверже:

— Нет, не годится! Песвиж на дальнейшей пути армии нашей и впрямь лежать может. Но сидеть там и ждать, покамест неприятель пожалует, когда ничто не мешает ему мимо пройти, — дурно задумано. Это все — натуральный ход ошибок, одна по другой с первого дня войны начатых. Да и до войны еще в том промах был, что растыкали нас по границе, как шашки на доске. И стояли мы так, разня рот. Знаю, в чем цель была: тонкой линией кордонов перехватить все три пути, возможных для наступления боуапартова, хотели, — и от Тильзита на Петербург, и от Ковны на Москву, и от Гродны на Москву же. А того в разум не взяли, что перехватить тонкой линией кордонов операционные направления еще никак не означает, что они уже и перерезаны. Нет! Это означает другое: взяли и подставили свои силы частями под удар. И притом вообразили, что пойдет Наполеон обязательно на первую армию. Нашей же назначили действовать ему во фланг, а генералу Торماسову с третьей армией — во фланг тем войскам, кои пойдут на вторую. Ах, умно! По капалье Боуапарт двинулся сразу, и против первой армии, и против второй. Тогда — с перепугу, что ли? — некий придворный чумичка и методик, из тех, о коих Суворов «гадкие проекты» говаривал, приказал нам бежать...

Выговорив эти дерзкие слова, Багратион гордо вскинул голову и оглядел смущенные лица сиевших генералов.

— Методик приказал — и побежали. Куда? Пикто не знал толком. Эх, жаль! Слезы змишат! Июня шестнадцатого начал я отступление на Минск и расчет имел к двадцать пятому там быть. Хорошо! Очень! Однако восемнадцатого — в Зельве — вы, полковник, доставили мне именное его величества повеление следовать через Новогрудок и Вилейку на Свеняны. Тут только я, главнокомандующий армией, известился о том, что за благо признало против главного направления войск боуапартовых первой и второй армиям соединиться и сосредоточиться. Где? Оказывается, пивó¹ для обидных операций в Свенянах выбрано. Славно! Добрался я до Немана. И уж совсем было переправился, да счастьем несчастью помогло, — мост испортился. Задержка богу благодарнее! Узнаю двадцать третьего, что государь и министр — в Свенянах, а пивó — между небом и землей. Тем часом

¹ Центр обширной, многосторонней тактической операции (франц. слово).

перерезал Даву дорогу на Витебск, остались мне леса и пути непроходимые. Что делать? Снова решил я двигаться к Минску. А дни потеряны. Кто вернет их? Никто. Узнаю, что грозные силы французские мчатся к Минску. И опередить их теперь уж никак невозможно мне, — сорвал марш мой короткий, и опоздал я безвозвратно. Разбить французов у Минска и прорваться напрямик к первой армии? Думал. Но людей множество и обозы потерять не хотел. Вот и ташелся я тогда — вернуться на Мир и Кайданов, чтобы и от Даву уйти, и честное соединение с первой армией, как то свыше повелено, из предмета не выпустить. Приказываю Матвею Иванычу¹ снова на левый берег Немана у Николаева перескочить и движение мое прикрывать обманым видом. Расчет у меня: узпав про ложную переправу мою у Николаева, попробуют французы отрезать меня от первой армии и для того сломают направление свое на Минск, а я, тем временем, к Минску подоспею и прорвусь... Уф!

Багратион быстро вытер платком бледное и потное лицо.

— Финал: приезжает поне господин государев флигель-адъютант и сообщает, что Минск французами занят. А нам до него еще два больших перехода, — разве двадцать седьмого достигнем. Вернется полковник в императорскую квартиру и доложит государю, что Багратион глуп, неуч и Минск проморгал. Полагать должно, что и господин начальник штаба моего о том же в партикулярном письме его величеству опишет. Так глуп Багратион, — окружен, как медведя с рогатинами окружают. Французы и в Вилейке, и в Воложинне, и король Жером из Новогрудка грозится бить по тылам. У Даву — шестьдесят тысяч, у Жерома — столь же, а у Багратиона — сорок. Сгиб ротозей Багратион, как швед под Полтавой! И в таких-то обстоятельствах предлагает ему господин начальник штаба армии, генерал-адъютант граф де Сеп-При, шествовать к Несвижу и там спокойно ожидать врага. Дельно ли? Избави бог!

Он помолчал, тяжело дыша.

— Что ни день — оплох, что ни час — спотычка. Повишен в том Багратион. А окромя него, — кого? Кто ему повелел идти то так, то этак, — из-за чего и упустил он Минск? Кто странно так дело ведет, что пробивается Багратион изо всех сил к первой армии, а она все уходит от него да уходит, и похоже, что и впредь ему все пробиваться, а ей — уходить? Наполеон лишь Неман перешел, — писал я уже государю. И предлагал его ве-

личеству крепко ударить со второй армией и казаками Бонапарту в тыл, с тем, однако, чтобы и первая армия его в лоб атаковала. Соизволения высочайшего на то не последовало, и назначено мне соединиться с министром в Дриссе. С тех пор повинуюсь министру, как капрал! Писал я опять государю... С прискорбием сокрушаясь, писал, что, не имея к себе доверия его величества, не знаю плаца операционных действий. Не открыт он мне. А, может быть, и скрыт. Оттого трудно мне с пользой распоряжаться армией. Государь устоял меня собственноручным рескриптом. Лестно! Боже, как лестно! Однако за всем тем остался я в переденки расчет операционного плана нашего. И уж думать выпужденным нахожусь: да есть ли он у нас? Государя люблю, как душу. Но, видно, он не любит нас. Не любит! И войско ропщет, и все недовольны. Не могут равнодушными быть! Еле дух перевозжу с горя, кланюсь вам, господа!

Генерал Раевский поднял голову. На холодном и серьезном лице его выражалось отвращение к происходящему.

— Его сиятельство прав совершенно, — устало проговорил он, — многое непоправимо упущено, согласования в действиях нет, положение второй армии тяжелое, безвыходное почти... Прислав флигель-адъютанта своего, его императорское величество не соизволил сообщить нам никаких повелений. И от генерала Барклая де-Толли также приказаний не поступает. Мнение графа Эммануила Францевича — он посмотрел на Сеп-При — апробавало, как полагаю, быть не может из-за неудобств и прямых опасностей, с коими приведение его в действие сопряжено. При таком положении считаю для спасения армии нашей нужным, от всех прежних начертаний вовсе отклонясь, отступать на Мозырь, где и соединиться, но не с первой армией, а с третьей — генерала Торماسова.

Силевский возле Сеп-При молодой генерал, высокий и худой, с лицом, необыкновенным по своей зменной красоте, улыбнулся с предостерегающей вежливостью. Это был граф Воронцов. Он родился и вырос в Англии, где отец его долгое время был русским посланником, и потому в говоре его явственно слышалось английское произношение.

— Однако, — сказал он, обращаясь к Раевскому и улыбаясь при каждой новой фразе все вежливее и любезнее, — однако ваше превосходительство уходите так далеко, как может уйти лишь тот, кто не знает, куда он идет. Сегодня его сиятельство, главнокомандующий, не получил повелений государя. Но что же из того? Ведь общий смысл воли его

¹ Атаман Донского казачьего войска М. И. Платов.

величества нам известен. Государь желает, чтобы вторая армия непременно соединилась с первой,— раз. Он не желает, чтобы мы, находясь в самом начале войны, предпринимали непредусмотренные или, рискованные и опасные для сбережения сил наших марши,— два. Наконец, он возлагает надежды на способ сопротивления французскому наступлению посредством укрепленных лагерей, образец коих изготовлен для первой армии в Дриссе,— это три. Согласитесь, ваше превосходительство, что предложение ваше никак не соответствует ни одному из трех желаний государя. Что же касается мнения графа де Сен-Прюста об отступлении к Песвижу с тем, чтобы закрепиться там в лагере, оно несомненно отвечает, по крайней мере, двум желаниям его величества...

Генерал в длинном оловом однобортом мундире без пуговиц, с грубой, скуластой физиономией и ухватками переодетого дикаря, вдруг довольно громко икнул. Это часто случалось с ним на военных советах, когда пуще разума одолевала его охота отлить пулю против сильнейшего. Но что спросить с темного станичника, который в степи родился, ковылью молился? Старый донец знал верное средство против гнева и мести.

— Простите, господа, великодушно,— начал он и еще раз икнул, перекрестив рот— может, и заблудился атаман Платов по скудости умной. Служу, слушаю,— все перебрал, что за сорок лет службы видать приходилось, а этакого коловращения не вспомню. Христом богом свидетельствую,— так! На сем аллегорию кончив, уже и того прямой скажу: от единого князя Петра Ивановича вразумления жду и приказа, где кровь за отечество пролить.

Воропцов и Сен-При оживленно перешептывались. Курносый, синеглазый генерал-майор в гусарском шпензере восхищенно ждал руку Платова.

— Да что ж, Ларивон Васильич,— бормотал атаман, почесывая ямку на широком подбороде,— что с нас взять-то? В степи родился, ковылью молился...

Раевский спросил гусара, сам не зная, зачем, без всякого любезнства, почти с тоской в голосе:

— Почему вашим собственным мнением не поможете вы нам, г. Васильчиков?

Шеф ахтырских гусар давно уже чувствовала себя в затруднении. Никаких своих ображений у него не было, а Сен-При, Багратион, Раевский, Воропцов и Платов — каждый в отдельности и все вместе — говорили так дельно, что в конце концов он был согласен со всеми. Как и что мог он сказать

от себя? На свежих щеках его выбился вишневый румянец досады. Он сделал над собой усилие и ответил с натуральной барственной гордостью, способной прикрыть любое из самых неприятных самоощущений:

— Я — младший в чине. Меня не спросили. А по мне — говорить последним трудней, нежели первому умереть.

Раевский был человек без предрассудков и сентиментальности. «Колн этого молодца не ухлоняют за храбрость,— подумал он,— то по придворной ловкости пустейшего ума быть ему главным в России чиновачальником...»¹

Грациозно-нисходятельная улыбка, бродившая до сих пор на губах государева флигель-адъютанта, вдруг исчезла. Он встал, и все поднялось, готовясь услышать нечто, как бы от самого императора исходившее.

— Отправляя меня сюда, государь соизволил сказать: «Передайте князю Петру Ивановичу, что Бонапарт, верный системе своей, двинется, конечно, к Москве, чтобы утратить Россию. Но ничто на свете не заставит меня положить оружие, покамест неприятель будет в пределах наших оставаться. Скорее я отращу себе бороду и уеду в Сибирь, нежели заключу мир».

Флигель-адъютант поклонил голову, как пастор в патетическом месте проповеди.

— Таковы подлинные слова его величества, из коих усмотреть возможно, сколь великие расчеты возлагает монарх наш на доблесть и мудрую предусмотрительность господина главнокомандующего и генералов второй армии.

Полковник подошел к Багратиону, откланиваясь. Он спешил с отъездом. Брчка и копытой уже ждали его.

— О каких же намерениях вашего сиятельства прикажете доложить его величеству?

Главнокомандующий вытянулся, как будто отдавал рапорт самому императору.

— Доложите, полковник, о предложении господина начальника штаба моего и о том, что с ним никак не согласен я!

Придворный гость отбыл, и генералы разошлись с этого странного совета, который словно для того лишь и создан был, чтобы сучок через двое многим в императорской главной квартире чихалось и не здравствовалось. Однако Платов и Раевский все еще сидели у Багратиона. Князь Петр рассуждал с величайшей горячностью.

¹ И. В. Васильчиков был впоследствии (при Николае I) председателем Гос. совета, то есть занимал высшую должность в империи.

— Пора, други, духу русскому приослапиться! Понять надо: не обыкновенная это война, а национальная. А с методиками нашими пропадешь. Уж и я чуть не пропал. Да не пропал же! И впрямь не случится! При них козырять не хотел. Пусть думают, что дела наши — швах! Ха! А дела-то отличны!

— Вам сие смятение преувеличиваете, — сказал Раевский, чтобы несколько охладить главнокомандующего, — дела не отчаянны, но и не хороши...

— Нет, Николай Николаич, душа, хороши очень! И сейчас я тебе докажу. Глянь на карту. Одна армия — за большой рекой. Другая направляется кратчайшим путем на соединение с первой — это мы. Но, узнав невозможность, в обход идет. Однако и тут — стоп! Волчья яма! Так! Что бы, — спрошу я вас, господа, — надо делать сейчас Бонапарту?

Платов молчал.

— Уничтожить нашу армию, — неохотно проговорил Раевский, — к коей первая никак на помощь притти не может...

— Слово золотое! Так! А Бонапарт что делает? Знай себе, гонится за министром. Почему Даву рвался к Минску? Чтобы отрезать меня от министра. Король Жером ему помогал. Дивно! Ну, и что же? Ничего. Живы, здравы, богу слава! Цель главная бонапартова маневра до сей поры не мы, а министр. Тем и дела наши чудны. Хочет Бонапарт Движу перейти и угрозой сразу Петербургу и Москве стать. Куда ж теперь Даву двинется?

— Вам сие смятению то лучше известно, — сказал Платов.

— Полагаю, что либо во фланг нам, — задумчиво отозвался Раевский, — либо... на Могилев. Скорей — последнее. Нам из виду не выпуская, будет грозить Смоленску. А нам за Днепр и ходу не останется...

— Ай, дупа! — радостно закричал Багратион. — Верно! Бросится Даву на Могилев! Вся армия французская на северо-восток сдвинется, — оно и началось уже. Сто тысяч против Петербурга и против Москвы — столько же. Министру из Дрисского лагеря либо на Петербург отступать, либо с Бонапартом лоб в лоб биться. Мы же...

Он остановился. Глаза и щеки его пылали.

— Мы же... В Могилев! Даву встречать! Аль чего не расчел? Ну-тка!

От удивления Раевский крикнул. «Как остра и извилиста мысль его! — в сотый раз подумал он о Багратионе. — Когда служили мы оба прапорщиками у Потемкина, кто бы предугадать мог?» И он приложил к тугому уху руку пригоршней, внимательно слушая.

— Армия наша горсти меньше... С чем начинать было дело? Выйдет хорошо — скажут: министр! Дурно выйдет — чорт ляжет Багратиону соваться? Шпанс! Но не у Могилева! Там я готов. И за войска спокоен. У меня верит солдат, что он мне товарищ! Солдат да я, — кто супротив?

— Каким же путем поведете вы, князь, армию свою к Могилеву? — с удивлением спросил Раевский, — на всех дорогах француз...

— А-а! Душа! Глянь еще на карту: Несвиж, Слуцк, Бобруйск... Крючкотово? Зато без драки дойдем. Доложим! Вот плащ мой. И как выведу армию из беды, — скину мундир. С ума сойти боюсь, коли министр отступать не кончит.

Наконец главнокомандующий и атаман говорили с глазу на глаз.

— Спроси меня, Матвей Иванович, — скажу прямо: не хочу я Сен-Приеста иметь при себе, не хочу! Воля государева была дать мне его в дядьки. А я не хочу! Все-то он шепчет, — то с флигель-адъютантом государевым, то с графом Михайлой Воронцовым. Шепот — дело сплетанков и... шпионов. За всем тем переписку ведет с государем. О чем? Поди, дознайся. Я редко пишу. А он — что ни день, и все — по-французски... Мне долго смешно было, а потом и к сердцу дошло. Как быть, душа?

Атаман покрутил короткий ус. На морщинистом лице его мелькнула такая хитрая улыбка, что нельзя было не подумать: ну, и третий калач!

— А послать бы его, ваше сиятельство, для обозрения армии неприятельской... Я провожатых дам. Покажут ему армию наполеонову в таком расстоянии, что он взглянет разок, да уж никогда больше и не увидит. Великодушно доставим французскому сему графу на том успокоиться. А-сь, ваше сиятельство?

Багратион вздрогнул и поблелел.

— У-ух, казачья в тебе душа, старик! Нет, на такое не способен я. Да и зачем станем мы его в бессмертье через славную смерть возвращать? Уж пусть лучше меня терзает... Только — на-чеку быть надо и смотреть в оба! Приказывать тебе станет — ты без меня ни с места!

Глава VII

Двадцать восьмого июня допцы Платова и легкая конница Васильчикова восемь часов дрались под Миром с кавалерийским авангардом маршала Даву под начальством польских

генералов Бужицкого, Турне и Радзимицкого. Шесть уланских полков неприятеля были частью порублены, частью подняты на дробитки, частью, не оглядываясь, умчались с широкого песчаного поля, на котором происходил бой. Платов гнался за ними двадцать верст. Казаки притащили в лагерь дюжину пленных офицеров да сотни три солдат. Живую добычу пересчитывали и разбирали под высоким курганом, на котором донской атаман разбил свою палатку, посреди неоглядой равнины, занятой шестнадцатью казачьими полками...

Славный день кончился. Вечер настал ясный и теплый. Солнце садилось. Розовая выль неподвижно висела в тихом воздухе. У палашей дымилась огоньки.

Кавалерийские кони, причесанные и гладкие, казачьи, брыкливые и растрепанные, веревками тянулись с водою. По биваку было разлито спокойствие, печальное и торжественное. Небо горело багровым светом. День кончился. Грянул выстрел заревой пушки. Барабаны скороговоркой затрещали: доброй ночи! Трубы голосисто пропели: доброго сна! Выехали конные разъезды. Уланские флюгера вялились над высокими киверами, как галки. Голубые казачьи куртки, барабаны шапки и латинские черные дробитки, взятые наперевес, казались легкими тенями. Все, куда мог достать глаз, тонуло в знойно-туманном пурпуре последних отблесков солнца. Нар прозрачно алая над рекой. Что за день! Что за вечер!

Муратов бросил повод на крутую шею Кирасира — отличного верхового коня, названного так по огромной своей стати. Другая лошадь, пожалуй, и не вынесла бы великана-всадника. Поручик смотрел кругом и улыбался, сам не зная почему. Но улыбка была радостная и бесконечно-счастливая. На выезде из лагеря его нагнал прапорщик 5-го егерского полка, тоже верхом. Офицер этот был чрезвычайно молод, — совсем еще мальчик, с лицом, странно привлекательным и неприятным одновременно. Загримировав ребенка под старика, можно получить именно такое лицо.

— Муратов! — крикнул он, шпоря низкорослую кобылу, — едемте вместе. Вы — в главную квартиру? Я — тоже.

— Едем, пожалуй. Что скажете вы, Раевский, о нынешнем деле?

Подпрыгивавший о бое с Кирасиром прапорщик как-то по-стариковски пожал плечами и на одно мгновение сделался удивительно похож на генерала Раевского, но только не вообще, а в минуты овладевавшего генералом порой холодного и равнодушного раздумья.

— Что сказать? Во-первых, много значит, что наши литовские уланы едут почти так же, как и польские. Тот же синий с малиновым мундир, разнится лишь в цвете шапок и флюгеров. Все время шла путаница, и мы от нее постоянно выигрывали...

Муратов живо повернулся в седле.

— Какие пустяки! Разве в этом дело?

— Во-вторых, славно работали казаки. Гнались напуском, не заботясь о том, кто опередил и кто отстал...

— Да! Так неслись, что земля стонала! Боже, как хорошо! А ветер? Ведь именно ветер — главное...

— Пустое! Хитрый азиатский фокус... Обманная штука...

— Тыфу! — возмутился Муратов. — Что за человек вы, Раевский! Ветер — славная выдумка атамана Платова. Да знаете ли вы толком, в чем ветра суть?

— Я видел сегодня...

— Дурно видели! Казачья застава выдвигается вперед для заманки неприятеля в тыл секретным засадам... Ведет его на себя, принимая весь пыл... Но стоит ему пройти съездов засады — выстрел, секреты ударяют в спину, застава оборачивается лицом... Чертовски умно! Я везу допосenne атамана главнокомандующему. Матвей Иванович при мне писал: «Ветер много способствовал, оттого и начал — пошел...»

— Дик наш атаман, — с пренебрежением отозвался Раевский, — как-то попалась мне на глаза у отца подпись его на бумаге с «ф» вместо «в» на конце. С тех пор так и стоит в глазах: «Платоф»... Вот молодец! Ха-ха-ха!

— Вы — злы, как беспок, Раевский! Хоть бы «фиту» ставил Платов, — вам что?

— Ха-ха! Об заклад бьюсь, Муратов, что сочиняете вы поэму о папках донцах. И Матвей Иванович летает в ней из строфы в строфу на лазоревых крылышках славы...

— Да, летает, — строго сказал Муратов, — но не в моей поэме... Много напишут длинных рассуждений об атаках легкой кавалерии. Чего только не будут писать! А ларчик успеха открывается просто: действовали Кутайпиков, Иловайский, Карпов...¹ Васильчиков водил за собой ахтырцев, литовских улан, драгун киевских... Я с ними был. Ясно: чьи кони нибче пущены, чьи всадники решительней очертали головы, тот и побьет...

Прапорщик хотел возразить, но не успел.

— Стой! Кто едет?

Изо ржи торчали пикеты. Ни людей, ни лошадей видно не было. Так всегда выглядят казачьи пикеты.

¹ Казачьи генералы.

— Адъютант главногокомандующего. Отзывается нет.

— Правильно, ваше благородие, — промолвил казак, — поднимаясь в рост.

Он был подпоясан широким патронташем из красного сафьяна. Два пистолета висели на патронташе. За спиной болталась винтовка. Он поднес руку с нагайкой к шапке, не то для того, чтобы приветствовать офицера, не то, чтобы получше взглядеться в него.

— Видать, брат, не скучно? — с радостной улыбкой спросил его Муратов.

Казак тоже улыбнулся.

— На бикетах стоим, скучать время нет. Извольте проезжать, ваше благородие!

* * *

Луна скользнула челноком по легкой зыби облачного неба. Она то пряталась за развесистыми кронами берез, то рядами тянувшихся вдоль дороги, то вдруг обливалась белым светом ее ровное полотно, рисуя на нем причудливые узоры древесных теней. Широкое поле по обоям сторонам дороги, за березами, было покрыто туманом. Где-то далеко-далеко трепетно мерцала зарница.

В передовом казачьем секрете велся тихий разговор. Молодой станичник, еще не заслуживший усов, стало быть, из тех, что даже заглазно, по ребячьей памяти, именуют родителей «мамушка» да «тятенька», шептал товарищу:

— Уж и такая тоска, такая... Уж и так берет...

Бто-то сильно ткнул его в спину.

— Ох, лихо те задави!

Он вскопчил было на ноги, но сплюнул с негодованием. Это конь почесал горбатое переполосье о казачье плечо.

— Так крепко берет, дядя Кузя... Ино случается — жить шевмочь.

Дядя Кузя был старинный донец, знаменитый в своей округе искусством наезднических проделок. Мало оставалось по станицам казаков, которые и монету поднимали бы с земли на скаку и, повернувшись под брюхо лошади, стреляли оттуда из винтовки с такой изумительной ловкостью, как он. А между тем уже давным-давно считалось уряднику Кузьме Ворожейкину под пятьдесят. Он медленно вырубил оголь на трубку. Слетел с трубки дымок, и кони отфыркнулись в темноте. Зубы Ворожейкина сверкнули, и туго прикушенный ими косяной черенок скривился.

— То-то, — веско проговорил он. — А с чего тоскуешь? Своё! Вот и грызет...

В этот момент дальний конский топот глу-

хо отозвался в ушах Ворожейкина. Он живо припал к земле.

— Эге! Двое... На рысях хода...

Станичник побелел, как песок на дороге. «Это кто же, дядя Кузя?» — хотел он спросить. Но Ворожейкин глянул так сурово, что у молодца зашелся язык. Всадники наезжали все ближе. Теперь не только был ясно слышен топот их коней, но видны уже и кони, и сами всадники. Один казался фигурой поменьше, зато другой...

— Je meurs de soif! ¹ — сказал великан.

Ворожейкин и станичник ползли к дороге неслышно волоча под локтями тяжелые дрантики. «Хранцы!» — молнией пронеслось по обоим казачьим головам.

* * *

Вскоре по выезде из лагеря споры Муратова с Раевским приняли серьезный и глубокий характер.

— На западе расчет всей жизни — на чертеже и в логарифмах, — говорил Раевский, — там — бессонница и труд ума, строгие допросы природы в застенках лабораторий. А у нас... Ради бога, Муратов, не примите моих слов по своему адресу! У нас — припадки вздорных вдохновений или детские сны. Мать моя — внучка Ломоносова. Любопытно, что воспевал бы теперь в своих одах мой прославленный предок? А может быть, подобно современным старым дуракам, и он занимался бы глупейшим исчислением грехов Наполеона? Право, чем больше люди думают об этих вещах, тем меньше проку в том, что они говорят о них...

Муратову по правилась холодная насмешливость прапорщичьих рассуждений. Было в ней что-то, больно задевавшее его простодушную горячность. Незаметно офицеры перешли на французский язык. Раевский — потому, что находил этот язык более удобным для точного выражения сложных мыслей. Муратов — по привычке изъясняться на нем в минуты душевных волнений, раздражения, досады и ссор.

— Странная идея! — с сердцем сказал он. — Попробуйте сами не думать. Но не советуйте этого, по крайней мере, другим!

Если бы не обуревавшие Муратова чувства, он должен был бы признать, что соображения Раевского никогда до сих пор не приходили ему в голову. Она была так устроена, что переполнявшие ее свободные мечты положительно не оставляли места для философского раздумья. Но сегодня все шло

¹ Я умираю от жажды! (франц.).

верх ногами, и он вдруг принялся выгораживать полезность трезвой мысли от нападок человека, который будил в нем эту мысль именно своими нападками на нее. Вероятно, Раевский уловил эту смешную сторону возражений Муратова, — он рассмеялся с обычной веселостью в тоне.

— Думать полезно только для того, чтобы не погрязнуть в мусоре жизни. А в остальных отношениях это так же бесплодно, как сдувать пыль с письменного стола. — ведь она непременно покроет его опять. Однако есть люди, для которых ни о чем не думать — то же, что размышлять: Они мало выигрывают от этого, зато и другое ничего не теряют...

От этих дерзких слов Раевского, как от холодной воды, внезапно остыли в Муратове гнев и досада. «Нет, не под силу мне спорить с этим мальчишкой! — подумал он. — Эх, кабы померяться нам сердцем и душой!»

— Бог весть, что станется с вами дальше, Раевский, — тихо проговорил он, — но мне жаль вас. Наслаждение жизнью вам недоступно, — ваша душа мертва. Скучно, очень скучно будет существовать вам...

Желтое лицо Раевского сморщилось, точно от боли. Но голос его продолжал смеяться.

— Я не люблю, когда меня жалеют, и мне трудно оценить по достоинству вашу трогательную доброту, Муратов. А наслаждаться жизнью могут лишь те, кто дорожит ею. Я — не из их числа. Следовательно...

Он помолчал и добавил уже совершенно серьезно:

— А впрочем, пожалейте меня, Муратов! Я заслужил этого тем, что появился на свет, не ведая зачем. Мои родители благодарили бога, не зная, за что. Глупо! Жалейте, если вам хочется. Это удвительно, что мы пылче не поссорились. *C'est le merveille!*¹

Муратову стало неловко и тягостно. Нет, ему и Раевскому не понять друг друга. И, чтобы покончить этот неприятный разговор, он сказал:

— *Il me semble, que je meurs de soif!*²

Раевский ничего не ответил. Бросив поводья, он плелся назад. Вдруг кобыла его рванулась в сторону, и он чуть не вылетел из седла.

— Ах! — отчаянно крикнул Муратов, — боже мой!..

Ника Ворсжейкина вошла в его сплну между лопатками. Острый палочечник ее торчал из груди поручика, по которой темно-

красной струей стекала слабо дымившаяся кровь. Муратов страшно захрипел и повалился с Кирасира. Раевский подхватил его одной рукой, придерживая другой тяжело качавшуюся пику. «Вытащить?» Он попытался. Но ни силы, ни решительности у него не достало. Жестокое оружие было всажено так туго, что не подалось ни на дюйм. Громадное тело Муратова затрепетало, и сам он побелел от боли.

— Не надо!

Его голос был беззвучен, как падение пшата.

— И-не надо...

Глава VIII

«Ее высокоблагородию Аппе Дмитриевне Муратовой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Лейцпано.

Netty, милая сестра моя! Не знаю, как пачать... Ищу и не нахожу слов. Отечество наше воюет. Ты — русская. Укрепи сердце мужеством. Жертвы неизбежны, — без них нет ни чести, ни славы, ни спасения. Сегодня в ночь к нам привезли тяжело раненого Поля... Память дружбы не боится испытаний. Ужасные подробности совершившегося не умрут раньше меня. Они поистине ужасны, но вместе с тем и бесценны. Слезы облегчают душу, — плачь, бедная Netty, и слушай печальный рассказ мой...

Офицер, который привез Поля с места, где он был ранен, не решился выдернуть из его могучей груди пику, — это страшное оружие горестной ошибки. Доктора находят, что этим он спас Поля от немедленной гибели, — пока рана закрыта, раненый живет. Поэтому и пика не выпута до сих пор... Фамилия офицера — Раевский, он — сын командира седьмого корпуса...

...Сердце Поля, певучее, как соловей, не умолкает. Сколько раз принимался он говорить о тебе, Netty! Ему не под силу говорить громко, — следовательно, он шептал. По разве люди не кричат попотом?..

...Я с отвращением представляю себе, какие глупые толки поднимутся в Петербурге по поводу необыкновенных обстоятельств этого несчастья. Прекраснейший из русских офицеров сражен рукой соотечественника! *Il est cosaqué!* О, *sort injuste!* Сколь-

¹ Это — чудо (франц.).

² Мне кажется, что я умираю от жажды! (франц.).

¹ Убит (или ранен) казаком (выражение 1812 года). О, несправедливая судьба! (франц.).

ко поводов для самой прискорбной болтовни, от которой злая случайность станет еще злее. Действительно, подобные вещи могут происходить только в нашей удивительной стране, где даже бралят французам по-французски. Катастрофа с Полем была бы невозможна, не будь мы так далеки от нашего народа. Возмутительно, что нам легче говорить на языке наших врагов, нежели на своем собственном. Но... Ведь не мешает же нам это ненавидеть французам и драться с ними совершенно по-русски! Нисколько! Кто же прав и кто виноват? Не знаю! Мои мысли путаются...

...Начальник штаба нашей армии, граф де Сен-При, пытался выведать у Поля имя ранившего его казака. Но откуда Полю знать это имя?

— Скажите, по крайней мере, мой бедный друг,— спрашивал граф,— как выглядит ранивший вас злодей?

На бледном, истомленном страданиями, лице Поля мелькнула улыбка,— добрая и светлая.

— Я не помню его лица,— простонал он.— Было темно... Не помню, граф.

Однако, когда я через минуту наклонился над ним, он шепнул мне чуть слышно:

— Я узнал бы беднягу из тысячи!

Netty! Je ne l'ai jamais vu aussi beau que dans ce moment!¹ Часто ли встречается на свете такое полное и чистое всепрощение?

Тебе известно, как любит Поля наш главнокомандующий. Он заходит к нему через каждые два часа. Невозможно видеть без слез отеческую ласку, с которой князь обращается к вернейшему из своих адъютантов, как он нежно целует и крестит его. Нисколько раз у постели Поля появлялся также и славный атаман донцов, Платов, герой боя под Миром. Сейчас, когда я пишу тебе, он опять кружится около Поля, как ивовый лист на воде. Ты спросишь: зачем? Я понял это в ту самую минуту, когда чудесное благородство Поля заслонило собой сражившую его темную руку. Чем больше печалится граф Сен-При, от невозможности открыть и примерно наказать злодея-казака, тем довольнее атаман. Он достаточно хитер, чтобы скрывать свои настоящие чувства. Но мне кажется, я разгадал их. Платов — ревностный патриот своего войска и стоит горой за каждого донца. Людям, не остриженным в

кружок, заслужить его уважение трудно, любовь — нельзя Единственное исключение — князь Гагратион, которого старый атаман боготворит...

...Платов сокрушенно качает головой и говорит скоро-скоро:

— Этаким астам получился... Всею войску донскому — поношение! Эх, попал он, р-ракаля, мне в руки, ей богу, да смерти засек бы! Нагайками! Без пощады! Но средства нет сыскать окаянного! Разве что всех казаков до последнего поодиночке перебрать, и то не откроем. Вот господин офицер идет. Кажись, самый тот, при ком стражилось. Эй, прапорщик, пожалуйста сюда, живо! Вы сынок Николая Николаича?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— При вас несчастье случилось?

— Так точно.

Дальнейшее — странно. Ах, как странно! Чтобы ты могла хоть что-нибудь снять в нем, я скажу тебе несколько слов о молодом Раевском. Одиночество в жизни, как и в дороге, часто бывает скучно. Поэтому люди предпочитают двигаться вперед, взявшись за руки, поддерживая, по крайней мере, обходя друг друга. При этом каждый стремится навязать прочим свой ум, глупость, вестность, вздох... Таково большинство. Но есть иные люди — они идут стороной. Судьба, которая ничего предварительно не спрашивает о его желаньях, бросает их порой в оживленную общественную среду. Однако и здесь они остаются верными себе: шагуют рядом с другими, даже ведут их, а сами все глубже и глубже сосредоточиваются внутри себя. И чем меньше заявляют о себе общими, житейским порядком, тем больше возникает вокруг них толков, всегда разнообразных и редко правильных. Обычно их зовут эгоистами. Но это совершенно несправедливо, так как эгоизма в них ровно столько же, сколько и у людей общительных и открытых. Молодой Раевский — именно такая загадка. Я не мог бы сблизиться с ним, да и не хочу близости. Но мне ужасно досадна невозможность понять его. В его обособленности я нахожу что-то обидное для моего самолюбия. Почему? Не знаю. Полю считает ум молодого Раевского безнравственным, а мораль — пустой. Ему только семнадцать лет.

Разговор происходил при мне. Я с нетерпением ожидал, что ответит прапорщик на вопросы Сен-При и Платова. Вот его ответ:

¹ Я никогда не видел его таким прекрасным, как в эту минуту! (франц.).

— Главная примета злодея заключается в том, что он по паружности своей сходен вполне со всеми прочими казаками, коих случилось мне видеть. К этому надо добавить, что он не моложе и не старше большинства из них. Впрочем, я говорю лишь о том, что успел заметить в продолжение нескольких мгновений...

Если бы ты видела, как вникнул Сен-При!

— Идите, прапорщик. Передайте от имени моего вашему батюшке, что главная примета его сына в том, что он совершенно не схож со своим почтенным отцом...

Расвский поклонился. Платов удовлетворенно развел руками. Прекрасные глаза Сен-При горели гневным огнем. Проходя мимо меня, он громко проговорил:

— Для этих людей не существует ни закона, ни справедливости. Mais ils me répondront de la vie de ce pauvre Moutatoff!

Кто — они? Я думаю, что и сам граф не знает...

...! забесал к себе на так называемую «фактору». Корова ревет над моим изголовьем. Петух кричит, взобравшись на кивер. Козы чихают от трубки моего дедушки. Скворода с яичницей шипит на печном загнетке... Удивительно, что жизнь может быть одновременно такой мирной и простой, как у меня дома, и такой грозной и сложной, как там, где лежат Польша. Я винулся к нему. Он — в том же состоянии. Множество штабных офицеров собралось рядом, за стеной. Как обычно бывает при подобных обстоятельствах, мы тихо-тихо говорим о нем...

Уже вечер. Полю не хуже. Но вперед — ночь, полная мрака и неизвестности. Сейчас отправляется почта, и я запечатываю это письмо, Netty...

Твой брат и друг

А. Олферьев.

29 июня 1812 года.

В г. Несвиже, на жарине.

— Итак, мы в восьми верстах от Слуцка, а французы уже в Несвиже...

Багратюн коротко подумал о чем-то и,

Но они мне обязаны за жизнь Багратюна (Франц.)

словно передвинув одну мысль на место другой, продолжал говорить:

— Что ж? Так и должно быть. Однако и нам свои меры взять необходимо. Господа генералы Платов и Васильчиков! После славной победы вашей под Мпром полную на вас имею надежду. Матвей Иваныч! Ларивон Васильич! Французы на хвосте у нас к Бобруйску ползут. Арьергарда долг — крепче прикрывать армию. Смотрите, други: коль скоро от Романова отойдете, — весь обес армии сплнет. Нельзя скоро отходить! Через ночь войска в Уречье будут. А вам и завтра, и послезавтра весь день у Романова надлежит держаться. И лишь третьего июля близ вечера дозволяю отойти на Слуцк. Хоть вся сила адава рынет на вас, — ни шагу!

Атаман расправил плечи.

— Быть бою! Эх, люблю я бой! За то от государя и чины... и звезды, и жалованьишко... И Россия за то славит нас... Хорош бой! Тут жарко, там опасно... А где безопасно? На печи лишь...

Васильчиков с восхищением смотрел на Платова. Повертез в воздухе какой-то бумагой, Багратюн с пренебрежением швырнул ее на стол.

— Кто о чем, а шелудивый — о баше, — едва выговоря он, — опять министр запрос прислал. Пацубно, вишь, знать ему, как второй армии генералитет к отступательным действиям расположен. Так и пишем друг другу бездельно, будто в сказочке про дурака, коему таскать — не перетаскать...

— Прешу, ваше сиятельство, уверить военного министра, что я не из числа любителей отступательных движений без принуждения и пользы, — гордо встопорщившись, произнес Васильчиков.

— Дулю бы ему, господину Барклаю, хороную! — с неожиданной и грубой злоестью стозавкал Платов.

В горницу вошел Сен-При.

— Только что спончался Муратов, — гнушно проговорил он, — как пилу вынули, всего полчаса дышал. Но и пилу оставить в нем было уже невозможного. Я распорядился пахоренами: два взвода — в парад, «под вечную память» — три залпа... Бедный Муратов! Но сегодня, князь, я, наконец, добился...

Багратюн медленно поднялся из-за столика с бумагами и перекрестился. То же сделали Платов и Васильчиков. Мягкое и тихое выражение преступило сквозь резкие черты лица главнокомандующего.

— Упокой, госноди, душу раба твоего Павла, — прошептал он несколько нараспев, но-церковному, — в месте покойне, отгюду же

отбеже... печаль и вздыхания... Эх, душа Павлице! Улетел-таки от нас. Витаешь...

Он закрыл рукой глаза. Рот его скривился в непослушной гримасе. Все стояли молча, опустив головы. Так прошло несколько минут. Князь Петр Иванович спросил, все еще не спящая с глаз руки:

— О чем, бишь, граф, начали вы?

— Сегодня дознался я, наконец, об имени злодея, что убил Муратова,— повторил Сеп-При и быстро справился по бумажке,— Плотайского двенадцатого полка урядник Кузьма Во-ро-жейкин... В розыске ни от кого ни малейшего содействия не шел. Но долгом почел дело завершить, дабы не осталась справедливость поруганной. И в намерении своем, хвала богу, успел. Надеюсь, любезный атаман, что теперь вы, со своей стороны, вступитесь и... обещанное выполните.

Платов был невысок ростом и сухощав. Однако при последних словах начальника штаба армии он сделался вовсе маленьким. Физиономия его потемнела, голова спряталась в плечи и живой, прыстый блеск улетучился из глаз. Атаман чувствовал себя скверно.

— Ворожейкин? — бессознательно оттягивая время, переспросил он. — Ворожейкин, Кузьма? Всех урядников войска своего знаю. Не задаром и сам казак, и с войском сорок лет. А Ворожейкина Кузьмы видом не видал, слыхом не слыхивал про такого... Проманечки тут пет ли, сиятельнейший граф? Бывают, Мануил Францыч, в донесениях описочки, али другое что... Наплетет какой-нибудь мерин-брехун по злобе, то ли с дурости...

Сеп-При отрицательно качнул головой и выпрямился, красивый и гордый, как петушок.

— Все точно, Матвей Пвапыч! Припмай-тесь за кнут!

Багратион оторвал руку от глаз. Они еще были мокры. Но на выразительном лице его уже не оставалось никаких следов недавнего мира и тишины.

— За кнут?

Он произнес это так, как будто сам щелкнул кнутом.

— Кого вы собрались сечь, граф? А ты, атаман, что задумал?

Багратион грозно ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула. По барклаеву письму расплодилось черное глянцевиное пятно. Песок для присыпки серой струйкой вылился из песочницы на бумаги.

— Да в уме ли вы, сударь? Как? При нынешних обстоятельствах сечь казака? За что? За ошибку, от прямой и честной верности происшедшую? И я бы ошибиться так мог! Меня секите! Любил я Муратова... Сами

видели, как, жалеючи его, в слабость врос. Но твердо говорю: не казак виноват! Где видано, чтобы на аванпостах казацких французскую козерю разводить? Хорош апапа да не к водке!

Князь живо повернулся к Платову.

— Каков он, урядник тот, — Ворожейкин? Атаман уже давно пришел в себя. Глаза его опять играли веселым огоньком, и он хохотался, лукаво поглядывая на Сеп-При.

— Надёжа-казак, ваше сиятельство, — отпарторфовал он с нарочитой точностью, вытянувшись, как на смётру, — первый в кругу на Дону старик усть-мелководный. А что шутки моей граф Мануил Францыч! Выразумел, тому уж, по правде, совсем и прищипел я...

Багратион махнул рукой. Выражение брезгливости скользнуло по его лицу мгновенно, судорогой. Он почувал один из тех фокусов, которые никогда ему не нравились.

— Остер крючок, — резко проговорил он, — да изогнулся... Перемудрили. А и раньше мне не сомнительно было, что казак тот хорош. Приключись беда не с Муратозым, взял бы я урядника-молодца к себе в конвой. А вы что затеяли? Эх-ма! Граф Эмануил Францыч! Ежедневно изволите то тем, то иным способом в удивление меня приводить. И у вашему сиятельству со всей прямой снажу начал я от беспрестанных тех удивлений скучать...

Сеп-При пожал плечами. Мелкие и частые зубы его осклалились в натянутой и неестественной улыбке. На несколько минут он перестал быть красавцем. Глаза его ловили испрошенный взгляд Багратиона и когда, вежливо встретившись в нем, он сказал без злобы, и не без язвительности в тоне:

— Мне не дано угадывать ваши желания, князь. Это так трудно, что даже атаману Платову не всегда удастся. А уж за его высокопревосходительством мне ли угнаться?

Он поклонился и пошел к двери резной походной человека, озабоченного главным образом тем, чтобы спина его выглядела как можно равнодушной. Дверь за начальником штаба закрылась. Васильчиков почесал рмяную щеку в тяжелой растерянности. По обыкновению, он решительно не знал, кто в этом деле прав. Своего мнения у него не было, но какое-то темное, смутное чувство влекло его на сторону Багратиона. Роль же Платова неприятно смущала и беспокоила. Атаман негодующе сплюнул и с солдатской ловкостью растер щеков негой.

— Обиделся граф... А на что? Нешто казака своего выдать могу я? Сохрани бог! Со-

¹ Болтовня (coserie) (франц.).

веть русская от многих веков и поколений, как мир, обширна. Окиян! П один тонут, а другие плывут с честью и славой. От самой той ночи, как свершилась, знал я про Ворожейкина. Да, хотел казака обречь, господо! Потому и след путал, — темнил, как умел во простоте. Вашему же сиятельству благодарность душевная за суд спорый, правый и милостивый. Вдругорядь иной фонтёр-поптёр призадумается середь народа своего навражьем диалекте лопотать. Что за стыд! Только и слышно: сам пан тре, у макитре Маруся тре, Мильита тре-тре-тре... Ох, фонтёры-поптёры, выгунька их салаягай!..

Через полчаса Платов и Васильчиков отъезжали от белого дымка, в котором стоял лавнокомандующий. Под ахтырским шеем плескала, делая красивые лансады, пугливая, метрая лошадь на высоких тонких ногах. Ю-казачьи согнувшись и размахивая пагайей, атаман гвоздем сидел в седле на своем маленьком степном скакуне.

— Знаете что, Матвей Иванович? — сказал Васильчиков. — Князю Петру Ивановичу неудобно. Мне же — вполне пристойно сделать гдайте казака Ворожейкина в мой конвой!

— Сделайте ваше дело! — воскликнул Платов. — Даривон Васильевич! Почтенный! Берн! Да почему не услужить, коли это возможно и законом не воспрещено? Проще! Храброму российскому генералу, каков вы являетесь, отказать никак не могу... Берн злобейника-Ворожейкина!

Глава IX

Притормаживая отступление второй армии, Платов и Васильчиков разбили 2 июля у местечка Романова передовой кавалерийский отряд маршала Даву под начальством генерала Шпейцовского. Это было второе крупное арьергардное дело армии Багратиона, не менее блестящее, чем первое, — под Миром, но еще более значительное по результатам. Теперь армия могла без опасений двинуться на Бобруйск, а оттуда к Могилеву. А до боя под Романовым каждый шаг ее сопровождался риском быть постигнутой и окруженной. Багратион вздохнул свободно.

Он знал, что Наполеон до сих пор еще не выбрался из Вильны, продолжая руководить в этого города действиями маршалов, — в частности Даву и своего брата, вестфальского короля Жерома. Наполеон, повидному, желал, чтобы Даву наступал на вторую армию от Вильны, а Жером преследовал ее с тыла. Его целью было уединить Багратиона и взять его

в тиски. Князь Петр Иванович отлично понимал смысл операции Даву и Жерома, но его беспокоили не столько они, — легкий маневр с выходом к Могилеву должен был вырвать его из тисков, — сколько полная неясность в положении первой армии генерала Барклая. В самый день боя под Романовым Барклай вывел свои войска из укрепленного лагеря при Дриссе, где они, запертые в ловушке, могли ожидать лишь обхода и уничтожения. Барклай правильно сделал, что отступил, но при этом он как бы забыл о существовании второй армии, — путь его отступления лежал через Полоцк к Витебску. Преследуемая войсками короля неаполитанского Мюрата и маршала Нея, первая армия все дальше и дальше уходила от второй. Это движение Барклая, спасительное для него, ставило Багратиона лицом к лицу с немалыми затруднениями.

Даву и Жером действовали плохо. Даву долго задерживался в Ошмянах, Жером — в Гродне. Потом передовые войска их были дважды разбиты арьергардом Багратиона. Вышло так, что, вместо уничтожения второй армии, французам удалось лишь опередить ее в Мінске и толкнуть на дальний путь через Песвику к Бобруйску. Не этого, конечно, требовал Наполеон от Даву и Жерома. Багратион имел основание смеяться над своими преследователями и гордиться любовью, с которой обошел их. Но с Барклаем у него ничего не получалось. Барклай ушел, и ссоединение армий становилось крайне сомнительным, так как догонять министра и одновременно отбиваться от французев Багратион больше не мог. Таково было положение дел, когда 5 июля вторая армия пришла в Бобруйск.

Если бы не Барклай, с его отступлением к Витебску, — этот марш казался Багратиону простым бегством, — положение второй армии в Бобруйске было бы довольно выгодным. Сама крепость никаких удобств для защиты не представляла. Восемь плохо одетых батальонов с выходящей на реку Березину круглой оборонительной башней, казенные склады, бедный деревянный форштадт — все это было трудно защищать, да и не стоило. Зато река Березина являлась превосходной естественной преградой папору короля Жерома. Могилев уже не мог теперь выскользнуть из рук Багратиона. Правда, в 85 верстах от него показались французы. Но, если бы даже авангард Даву занял Могилев раньше, чем Багратион подошел к нему¹, то и в этом случае

¹ Именно так и случилось: 8 июля генерал Бордесуль, командовавший авангардом Даву, захватил Могилев.

биться с французами один на один и перейти Днепр с боем у города было не так опасно, как искать дальние переправы и очутиться в конце концов между Даву и Жеромом. Багратион принял решение: пробиваться во что бы то ни стало и, прикрывая собой Смоленск, выходить на соединение с первой армией. Спешить, спешить... Сорок пять тысяч человек — мало, очень мало...

— Их кит напалакав,— говорили солдаты украинцы.

Ничего! С сорока пятью тысячами можно смело идти на пятьдесят. Только бы развязать себе руки и ноги. Спешить!

Так рассуждал Багратион, сидя вечером в гостинице господского дома на фольварке Сажкино, в трех верстах по большой дороге от Старого Выхова. Он только что привел сюда свою армию из Бобруйска форсированным маршем по самому короткому тракту, чтобы заслонить французам путь на Оршу и Смоленск. Господский дом на фольварке был удобен. Олферьев велел растопить камин,— в гостинице стало тепло и светло. Ах, как отрадно огонек камина под оседлой домашней кровлей! Дверь распахнулась, и в гостиную быстрыми шагами вошел Платов. У него было сердитое лицо. От волнения тугие желваки бежали на скулах под коричневою кожей.

— С новостью, ваше сиятельство,— громко заговорил он еще с порога, взмахивая обеими руками и ударя ими по длинным полам синего казачьего мундира,— прямо скажу: министр у нас, конечно, головастый человек. А ноги уж! То и дело приводит войско догнать в огорчение и меня самого в размышление...

Платов выхватил из-за пазухи лист бумаги.

— Не угодно ли приказец министра, сейчас мною полученный, вашему сиятельству прочесть?

Это было предписание генерала Барклая, которым донскому атаману повелевалось незамедлительно выйти из-под команды Багратиона и направиться со всеми казачьими полками к Витебску для включения в состав первой армии. Платов сел на шелковое канале, широко расставив ноги в мягких сапогах. Близ Петр Иванович крепко закусил зубами побелевшую нижнюю губу, держа барклаево повеление в вытянутой руке на отлете. Он не кричал и не бранился, а просто молчал. Платов знал грозный смысл этого молчания. Оно означало высший градус гнева. За ним следовала страшная буря. Атаману стало не по себе, и он тихо сказал:

— Давно я служу, много видел, ведомо мне очень, каково за себя и за других про-

биваться... Жизнь — безовое дело... А так и не научился!..

Он распахнул мундир и вытащил из-за сорочки засаленную ладонку на тонкой золотой цепочке.

— Вот,— корешочки. Из сада моего юм черкасского, с Дона взятые...

В остром взгляде главнокомандующего сверкнуло изумление: «Не съятил ли атаман?» Внезапное соображение это отодвинуло гнев в сторону.

— Па кой ляд корешки твои к этому делу!

— Заговорить надо было бы!— горестно воскликнул атаман.— Уж чего верней? И ум министру пакость такая не взбрела бы.

Багратион вздохнул. И с протяжным вздохом этим из груди его вылетел таящий наполнявший ее гнев. Сердце его забилось свободней. Горло разжалось от спазмы. И громко и весело захохотал.

— Эку гиль, душа, порешь! Заговорить, Ха-ха-ха! Колдун донской! Ха-ха-ха! Ужори душа! Вовсе в прах уложил! Ха-ха-ха!

Он так заразительно смеялся, что и Платов не выдержав, взфыркал.

— А коли не колдовать, то что ж на езаправду с министром делать, а? Ты эт скажи! Ах, он!.. Сам без оглядки бежит Вильны... Меня с сорока пятью тысячами всероссийским спасителем произвел... И тебе ему мало! Теперь тебя отбирает. Ах, он!..

Багратион уже не сидел перед камином. Он бежал по гостинице так быстро, что фоль сюртука развевались около его колен, как флаги.

— Первое: не бывать тому! Эй, Олферьев! Адъютант вбежал.

— Садись, Алеша! Плини, что говорит буду... «Атаману войска донского, господи генералу от кавалерии Платову. Поселку. В виду...» К черту, Алеша, и «поелнику» «в виду»! Черкай их, плини просто: «Предписываю вашему высокопревосходительству задержаться с войском донским при вверенной мне армии впредь до особого моего повеления». Все! На-кося, выкуси, министр! Ты Слушай меня, атаман! Царь ни тебя, ни меня не любит. Слава наша не им подарена, бою взята. Такова наша слава, что не съидеть с ней царю. Ты меня знаешь: сказал-свято. Верусь я сделать тебя российской империи графом, ежели духом не упадеши, и пьянство не вдашься и с министром в ставке не влещешь. Верь! Будете графами,— сам ты и сын твой Иван, а дочь Марфуша — графиньшой. Только близ меня стой! Вместе с французам паложим, и министру полталим. И тогда благодарностью царской я тебя с миловы до ног вымажу!

Илатов кинулся к князю, чтобы обнять его. Из черных глазок атамана катились слезы. Пыльные слова без связи и последовательности срывались с губ.

— Не надо! Сперва дело сделаем! Тогда и спасибо скажешь! Теперь — второе. Алена! Прини повеленье Раевского: «Дабы предупредить находящиеся за Орней французские войска выходом нашим на Смоленскую дорогу и занятием города Могилева, а также и для препятствования движению их на Смоленск, чем ограждено центральных российских областей прямо достигается, повелеваю вам, господин генерал-лейтенант Раевский, со веренным вам корпусом седьмым немедленно предпринять diversion по следующему плану. Известно завтрашний день выступить к селу Лашковке, что от Могилева в двадцати верстах, а отъезд с частью корпуса вашего для реленной рекогносировки до самого города Могилева. Буде же окажется, что город французами занят, забрать язык и мне довести, в каком количестве французы тамо засели. Я сам с армией неотступно за вами спешу, и при надобности секуре¹ полный вам обеспечен. С сим вместе и атаману войска данного мною повелено отступать на Старый выход для сближения с вами. На случай нечаянного наступления нашего у Нового Выхова мест наводится... Но не в движу я неудачи, а один лишь несомнительный успех. Пусть авангард давустов уже в Могилеве. Что в нем? Тысяченок шесть... Много? По выбем, что ль? С богом! Прощай, душа-атаман! Ольферьев! На конь, друг, скачи сам к Раевскому с повелением! Жязо!

Глава X

Ночь кончалась, — светало. Никогда до сих пор, ни в какое время суток, приемная комната губернаторского дома в Могилеве не выглядела так странно, как в этот ранний предутренний час. Люди в генеральских и полковничьих мундирах лежали на столах и соплавленных в ряды стульях, многие — просто на полу. Шляпы — под головами, вместо подушек. Плани и шинели — взамен матрадов и одеял. Адъютанты несильно проносились через комнату и, осторожно приоткрытая дверь, исчезали за ней. Так же таинственно возвращались они и назад, подобно бестелесным духам. В кабинете, за дверью, жло горели свечи. Лысый человек лет сорока, с пухлыми щеками, горбатым носом и жестким взглядом темных глаз, сидел за столом, перебирая бумаги, и раздраженно шокрищивал на адъютантов. Маршал Даву, прини

Экмюльский, был в самом скверном из тех настроений, которые делали службу под его начальством невыносимой. И основанной для этого было сколько угодно.

Во-первых, когда король Жером застрял по непонятным причинам в Песвиже, а он, Даву, послал ему приказ о немедленном выступлении вдогонку за Багратионом, глумясь Жером обиделся, сложил с себя командование и уехал из армии. Достучился по тропу! К счастью, император достаточно хорошо знает, как тупоголов и бездарен его брат, как талантлив и верен Даву, чтобы не обратить внимания на детские претензии брата! Во-вторых, — и это гораздо важнее, — непрерывные ссоры Даву с Мюратом и Пеем, драги и взаимные обвинеия в конце концов привели к тому, что император довольно резко обругал принца Экмюльского за его последние промахи. Добились! Это верно, что Даву упустил Багратиона. Но он хотел бы видеть другого маршала, еще более отважного и решительного, чем он сам, который не потерял бы следов своего хитрото и предприимчивото врага на этих пустынных песчаных просторах дикой страны. Хотел бы видеть! Впрочем, стоило императору обмолвиться бранным словцом, как принц Экмюльский преодолел все затруднения, сбегал Багратиона и, захватив Могилев, встал на пути отступления второй русской армии со всем своим корпусом. Интересно, кто из маршалов, упоенных страстями личного честолюбия и давно уже относящихся с эгоистическим равнодушием к выгодам своего поселителя, преодолел бы такой курбет в доказательство беспредельной преданности и полного самоотрочения? Во-третьих... Но тут уж начиналась история сегодняшней ночи.

Вчера, к концу дня, Даву отправил в разведку шесть штабных офицеров. Он ожидал их возвращения вечером или в конце ночи и потому приказал всем дивизионным, бригадным и полковым командирам собраться в сумерках в дежурной комнате губернаторского дома, рядом со своим кабинетом. И что же? Ни один из разведчиков не вернулся до сих пор! Может быть, Ней, или Мюрат, или безмозглый Жером, в виду этой непредвиденной задержки и распустили бы командиров по домам, чтобы дать им возможность отдохнуть и выспаться в постелях. Но не таков был Даву. Прини Экмюльский! И вот, хотя светоний не разведки все еще не было, генералы и полковники валялись в приемной комнате, продолжая ожидать приказаний и не смея уйти. Даву не сомневался в том, что они кланут его за трубость и безжалостность. Пусть! Пусть кланут и валяются на полу... Даву не выскочка, как они, — нет! Он — казакский

¹ Помощь.

ский офицер из старой буржуазной семьи, и не этим мущинам, Дессе, Компану и другим, судить о достоинствах и недостатках его военной системы. А что такое дисциплина, он знает получше их. Пусть же они шепчутся об его надменной суровости, чрезмерной раздражительности и взыскательности, — зато ни один из них не посмеет и заикнуться об этих вслах вслух. Несмотря на все сплетни и злобные подкраски, императору известно, что у него нет маршалов дельнее и преданнее Даву. Итак, это хорошо, что генералы валяются на полу. Однако почему же до сих пор нет ничего из разведки? Чорт побори!..

— Капитан Ньон де Комб, ваша светлость! — доложил адъютант.

— Ага! Сюда его скорей!

Капитан стремительно шагнул в кабинет. Это был высочайший молодеватый офицер с помятой физиономией, на которой странно смешивались выражения открытой смелости и тайного нахальства.

— Какой дьявол носил вас столько времени вокруг этого проклятого герода? — крикнул Даву, опираясь на разведчика весь замасконившейся за ночь досады. — Какой дьявол? И вы всегда возвращаетесь первым, но с пустыми руками. Я кончу это. Вы пойдете командовать взводом, несмотря на ваши чины, полученный с помощью темных проделок. Я все знаю. Докладывайте!

Сам дворянин, Даву, тем не менее, терпеть не мог мелких аристократиков, все гуще наиспавших ряды французской армии. Сам верный императору на жизнь и смерть, он не верил в их преданность и даже простую лояльность. Что-то оставалось от прежнего в нем самом раскрывало перед ним души этих людей. И отсюда возникала его подозрительность.

— Докладывайте! Но если с пустыми руками. — на взвод!

Капитан задрожал. С каким наслаждением он ответил бы на грубость этого прощальги с маршалским званием подмынкой полковской плюмой! Ничтожный бурбундский побль¹ свилет keresztими, а он, Ньон де Комб, преданнейший при Людовике Святом императору маршалам Монтевердони, а при Генрихе Четвертом — графами и виконтами де Шювельяк, слушает и молчит, выслушавшись в струнку! Неделю время! Между тем капитан, действительно, вернулся не совсем с пустыми руками. Только разобраться в том, с чем он вернулся, было нельзя. Чорт довольно долго «несет» его по окрестным холмам и широким хлебным удолам, в которых, прижавшись к земле, как стан куте-

нать лежали убогие деревушки. И, наевая «панасе» на два полка русских егерей, ест довольно подходящих и деревень Салтановке. Чт это были за полки, шли за ними другие, более крупные русские части или не шли, — ничего этого капитан не знал, да и узнать не мог, так как, не желая рисковать, немедленно повернул копы и стремглав умчался в горы. Не будь сейчас Даву так бесцеремонно груб Ньон де Комб, вероятно, ограничился бы скромным допесением о том, что в действительности видел. Но дерзости маршала и в возможность ответить на них плюхой вслыхнули самолюбивое воображение знатного француза. Кроме того, ему ни за что на свете не хотелось очутиться в строю и командовать жалким взводом. Не для того же сваял он свое чистое имя с разбойничьей славы Наполеона и дотянулся до капитанских эполет... Ненависть и злость наполнили его голову горячим туманом. «Вудь что будет! покажу тебе, что явился не с пустыми руками... Я проучу тебя, бурбундский убожок!» — подумал он и сказал:

— Русские войска наступают на Могиле со стороны Дашковки через Новоселки и Салтановку. Судя по количеству войск, это авангард армии генерала Багратиона, за которым следует армия. Вашей светлости...

— Вы сами видели? — быстро спросил Даву.

— Да, ваша светлость! — гордо ответил Ньон де Комб.

— Благодарю вас. Ступайте. Вы поведете войска на позиции. Эй, адъютанты! Генералов — ко мне!

Маршал услышал от разведчика именно то, чего ожидал и боялся...

* * *

Пехота Даву состояла из двух полков дивизии генерала Дессе и трех полков дивизии генерала Компана, — всего двадцать пять батальонов. В девять часов утра одиннадцатого июля эти войска были выведены из Могиле капитаном Ньон де Комбом. Мысленно прощая плечами и растерянно оглядываясь в стороны, капитан остановил их за версту от герода, около деревни Салтановки. Он не верил в их и дальше, туда, где видел на рассвете русских егерей, но старый и опытный командир отряда из стрелковых батальонов майор Лемуан, сказал ему у Салтановки:

— Славное место для боя! Видите?

Капитан осмотрелся. Низово между толстыми берегами, струился Дигир. Впереди темнелась широкая полоса оврага, по грязному дну которого мутно поблескивал извилистый ручей. За оврагом поднималась густая стена

¹ Дворянин.

ский офицер из старой буржуазной семьи, и не этим мусульманам, Дессе, Кошпаду и другим, судить о достоинствах и недостатках его военной системы. А что такое дисциплина, он знает получше их. Пусть же они шепчутся об его надменной суровости, чрезмерной раздраскительности и выскательности,— зато ни один из них не посмеет и заикнуться об этих вещах вслух. Несмотря на все епитетны и злорадные подкаски, императору известно, что у него нет маршалав дельнее и преданнее Даву. Итак, это хорошо, что генералы балятся на полу. Однако почему же до сих пор нет никого из разведки? Чорт поберит!..

— Капитан Пьон де Комб, ваша светлость! — доложил адъютант.

— Ага! Сюда его скорей!

Капитан стремительно шагнул в кабинет. Это был высокий молодеватый офицер с плотной физиономией, на которой странно смешивались выражения открытой смелости и тайного пахальства.

— Какой дьявол послал вас столько времени вокруг этого проклятого герода? — крикнул Даву, опрокидывая на разведчика весь запас скончившейся за ночь досады. — Какой дьявол? И вы всегда возвращаетесь первым, но с пустыми руками. Я кончу это. Вы пойдете командовать взводом, несмотря на ваши чины, полученный с помощью темных проделок. Я все знаю. Докладывайте!

Сам дворянин, Даву, тем не менее, терпеть не мог метких аристократов, все гуще наполнявших ряды французской армии. Сам верный императору на жизнь и смерть, он не верил в их преданность и даже простую лояльность. Что-то оставшееся от прежнего в нем самом раскрывало перед ним души этих людей. И отсюда возникала его подозрительность.

— Докладывайте! Но если с пустыми руками,— на взвод!

Капитан задрожал. С каким наслаждением он ответил бы на грубость этого прощальщи с маршалским взводом подмышкой полновесной плюхой! Ничтожный бурбундский noble¹ свилел дерзости, а он, Пьон де Комб, предан которого при Людовике Святом именитые маршалы Монтезервены, а при Генрихе Четвертом — графы и виконты де Жюмьелья, слушает и молчит, выслушавшись в струну! Падло время! Между тем капитан, действительно, вернулся не совсем с пустыми руками. Только разобраться в том, с кем он вернулся, было не легко. Чорт дерзливо делал «несет» его во окрестных холмам и широким хлебным долам, в которых, прижавшись к земле, как стаи куро-

натов лежали убитые деревушки. И, наконец «нанес» на два полка русских егерей, осторожно подходивших к деревне Салтановке. Чем это были за полки, шли за ними другие, более крупные русские части или не шли,— никто этого капитан не знал, да и узнать не мог, так как, не желая рисковать, немедленно повернул коня и стремглав умчался в город. Не будь сейчас Даву так бесцеремонно груб Пьон де Комб, вероятно, ограничился бы скромным допесенком о том, что в действительности видел. Но дерзости маршала и не возможность ответить на них плюхой вселихнули самолюбивое воображение знатного француза. Кроме того, ему ни за что на свете не хотелось очутиться в строю и командовать жалким взводом. Не для того же связал он свое чистое имя с разбойничьей славой Наполеона и дотянулся до капитанских эполет... Ненависть и злость наполнили его голову горячим туманом. «Будь что будет! Я покажу тебе, что явился не с пустыми руками... Я проучу тебя, бурбундский ублюдок!» — подумал он и сказал:

— Русские войска наступают на Могилы со стороны Дашковки через Новоселки и Салтановку. Судя по количеству войск, это — авангард армии генерала Багратиона, за вторым следует армия. Вашей светлости...

— Вы сами видели? — быстро спросил Даву.

— Да, ваша светлость! — гордо ответил Пьон де Комб.

— Благодарю вас. Ступайте. Вы повели войска на позиции. Эй, адъютанты! Генералов — ко мне!

Маршал услышал от разведчика именно то чего ожидал и боялся...

* * *

Шехота Даву состояла из двух полков дивизии генерала Дессе и трех полков дивизии генерала Кошпана, — всего двадцать пять батальонов. В девять часов утра одиннадцатого июля эти войска были выведены из Могил капитаном Пьон де Комбом. Мысленно прожая плечами и растерянно оглядываясь в стороны, капитан остановил их за версту от города, около деревни Салтановки. Он поведал им и дальше, тут, где видел на рассвете русских егерей, но старый и опытный командир одного из стрелковых батальонов майор Дедуш, сказал ему у Салтановки:

— Ставьте место для боя! Видите?

Капитан ошогрелся. Налезо между толстыми берегами, струился Днепр. Впереди темнелась широкая полоса оврага, по грязному дну которого мутно исклескивал извилистый ручей. За оврагом поднималась густая шата

¹ Дворянин.

на основного леса. От деревни к лесу были перекинуты мостки и узенькая плотина с накатом из поперечных бревен. Направо открывались песчаные бугры пустынного скала, сливавшегося с оврагом.

— Славное место! — подтвердил Пьон де Комб, наглость которого обычно была благо-разумной, то есть молчала до тех пор, пока не поднимали своих голосов самолюбие и гордость.

Майор Лемуан должен был разбираться в этих вещах. И капитан остановил войска. Саперы тотчас принялись заваливать мост и рубить боишницы в стечах деревянной корчмы над оврагом. Стрелковая рота засела в корчме, почти мгновенно превратившейся в блокгауз. Прискакал Даву, вихрем промчался вдоль позиции и благосклонно буркнул Пьон де Комбу:

— Позиция хороша, капитан! Сегодня — ваш день!

Даву был в дураках. Слепое счастье швертывалось лицом к потомку Монтрезорских маркизов. Но душа этого молодца была полна тревоги. «Сегодня — мой день, — мысленно повторил он многообещающие слова маршала, — о, это еще не известно! Где русские? где Багратион? Даже егеря, которых я видел утром, куда-то исчезли... Никого, решительно никого нет! Боже, помоги мне!» Отчаяние и страх морозом пробегали по спине капитана. А Даву распорядился:

— Мост и плотина под нашим огнем, — прекрасно! Генерал Дессе, размещайте ваши роты справа от дороги, у самой деревни. Три батальона — здесь... Что? Да, на открытой месте. Так и пади! Один батальон отправьте к мельнице, четыре поставьте между мельницей и той, дальней деревней. Вперед, по берегу оврага, — еще два батальона. Так! Генерал Компан, пристраивайтесь к Дессе слева. Пять батальонов в резерв, пять — посередине, последние пять — у города...

В этой возне прошло около часа. Кругом Пьон де Комба рыскали адъютанты, суетились и кричали офицеры гресыхали на скаку оружия и зарядные ящики, тесными шеренгами маршировали батальоны и роты. Один капитан по дрыгался с места. Его лицо было бледно, и глаза, по отрываясь, смотрели на лес. Русских не было... Даву ускочил в город.

— Куда же провалились эти азпаты? — сердито прозорчал майор Лемуан, вызволивший своих стрелков к оврагу. — А что, если эта кутерьма впустую?

У Пьон де Комба екнуло сердце и возникло странное ощущение в погах: ступни продолжали твердо упираться в землю, но выше, там, где коленки, не было ничего, и поверх

этой пустоты плавал он сам, раскачиваемый и подбрасываемый волнами страстных ожиданий. Голос Лемуана донесся до него издали:

— Э, нет, не впустую! Вон они, вон они..

Пьон де Комб рванулся вперед. Действительно, русские выходили из леса несколькими колонами в сомкнутых рядах. Судя по амуниции, это были те самые егеря, которых капитан видел на рассвете. Внезапно ожила вся позиция. Рывнули оружия, грянул батальный ружейный огонь. Русские остановились и замерли под картечью, на опушке основного леса, за песчаными холмами, которые тянулись перед ними ровной грядой...

Когда к полудню Даву снова приехал на позицию, бой уже развернулся. Трудно было сказать, вся ли армия князя Багратиона наступала на Салтановку или только часть ее. Но упорство, с которым русские пытались перейти овраг около плотины, было поразительно. Батальон Лемуана не выдержал их жестокого огня и пачал пятиться назад. Все старания майора обобрить и воодушевить солдат были напрасны. Старик потерялся. Пробитая пулей шляпа слетела с его головы. Он растоптал ее ногами и в неистовстве колотил себя кулаками по седым вискам. Тут-то и подскочил к батальону маршал.

— Стой! — закричал он, овеваемый свинповой бурей, и вздернул коня на дыбы перед самым солдатским строем. — Стой! Майор! Я хочу научить ваш славный батальон ружейным приемам. Ему еще не случалось учиться под огнем. Маршал командует вами, стрелки! На караул! На плечо!..

Батальон дружно забрякал ружьями. То один, то другой солдат надал, не успев сделать прием. Но остальные с привычным усердием подбрасывали ружья, размеренно и точно похватывая их под приклады, крепко сжимая ложи и не замечая ни гибели товарищей, ни угрожавшей им самой смертельной опасности. А русские залпы гремели все чаще, поражая батальон все с большей меткостью и убийственной силой. Майор Лемуан бегловый от негодования и досады, бегал кругом маршальского коня и восклицал громовым голосом:

— Ванна светлость! Я приказал отступить батальону, так как у меня кончились патроны... Кляпсу! Поцадите батальон, ванна светлость!

По Даву не слышал или делал вид, что не слышит, и продолжал командовать. «Проклятый ублюдок! — с бешелством подумал капитан Пьон де Комб. — Из-за его фокуссов нас всех перебьют здесь»... Эта трусливая мысль

мелькнула в его голове, как птица, — быстро взмахнула крыльями и упала вниз. Капитан огляделся, кусая губы. Через минуту его уже не было на месте побоища.

Даву был близорук и, может быть, по этой причине не видел того, что совершалось на русской стороне оврага. Адьютант дождался слуху:

— Ваша светлость! Русские переходят овраг!

— Майор Лемуан! — крикнул маршал. — Ваш батальон превосходно знает стрелковый артикул! Теперь возьмите его и выбейте неприятеля из оврага! В атаку, солдаты, в атаку!

Лемуан побежал навстречу огню, батальон — за ним...

Пьон де Комб стоял в лесной гущине и так плотно прижимался к огромной, толстой сосне, что шершавая кора ее царапала ему щеку. Неожиданный припадок страха, овладевший капитаном на стрелковом ученье, еще не прошел. Гул сражения долетал и сюда, глухо раскатываясь по лесу. И капитан то и дело вздрагивал с болезненной живостью. Но вот он задрожал мелко и часто, как собака при виде крови. Мальцы его судорожно вцепились в дерево. Он почти перестал дышать.

По широкой лесной поляне, лежавшей шагах в пятидесяти от Пьон де Комба, пригнувшись к луке седла, восторщив длиннейший ус и сбив на затылок панку, метался старый казак. Откуда он взялся? Капитан не приметил. Через минуту на поляну высыкало еще несколько всадников. Уткнувшись бородами в гривы косматых коньков, они двинулись за старшим тихой ходой, мягко покачиваясь в седлах, прямо на Пьон де Комба. Итак, Даву ошибся: сегодняшней дель не был днем капитана, и судьба бедяги должна была сейчас решиться самым печальным образом. Капитан зажмурил глаза, ожидая приветствия никой, а то и простой затрешены. Но все произошло не так, как он предполагал. Тяжелая рука крепко ухватила его за плечо. Дюжляна легких рук с немощерной быстротой промчалась по всему его телу, выиг освободив карманы от кошелька и пистолета. И, наконец, тонкий жгут больно скрутил за спиной его локти. Все это делалось удивительно ловко, без всяких лишних движений и потери времени, с такой поразительной точностью, что капитан не успел ахнуть. Казаки деловито перемоявились вполголоса и, сблизившись по знаку старшего в кольцо, посредине которого находился пленник, трону-

лись по направлению к лесной опушке. Свершилось!

Вдруг что-то грохнуло вперед, свистнуло, отзываясь в чаще тысячей звонких подтопков, и посыпалось с деревьев дождем веток и сучков. Погинуло дымком. Два казака, соскочившись, медленно повзлзались с седла. Их подхватили товарищи. Залц? Откуда? Могучий удар пика в плечо опрокинул капитана. Он упал навзничь, больно стукнувшись о древесный корень затылком, оглушенный громким казачьим гиком. Всадники исчезли еще скорей, чем появились. Пьон де Комб с трудом поднялся на ноги. Затылок и плечо его болело невыносимо. Он сделал несколько шагов с места, где чуть было не погиб, и остановился, ослепленный пзумительным зрелищем. Рассыпной строй французских стрелков выкатывался прямо на капитана из-за деревьев. Их ружья, взятые на прицел, дымились. Впереди бежал майор Лемуан.

— Кой дьявол! — закричал старый батальонер, увидев растерзанного и связанного Пьон де Комба. — Кой дьявол, я говорю! Да каким же это образом вы попали сюда, лебезный капитан? Мои товарищи все еще очешают свои солдатские души от утреннего греха. Мы выбили русских из оврага. — ох, что это было за дело! Теперь маршал послал нас сюда, — он боится обхода через лес. Азиаты лезут со всех сторон, и он хочет, чтобы мы их здесь встретили. Но вы... вы? Зачем вы здесь?

Пет, Даву не ошибся! Этот день был, действительно, днем Пьон де Комба, и счастье продолжало служить ему. Вся паглотка, за которую он был способен, прихватила сперва к его сердцу, потом — к голове.

— Я? Зачем я тут? — переспросил он майора. — По приказу маршала я должен вести ваш батальон во фланг к русским, — вот зачем я тут! Но проклятые казаки перехватили меня... Да прикажите же, майор, развязать мне руки! О, как болит плечо! Не крови, кажется, нет... Что ж? Не будем тратить время. Вперед!

— Вперед за капитаном, стрелки! — слымайдовал послушно Лемуан.

Глава XI

Генерал Раевский выступил из Давковска с двумя егерскими полками и двумя батальонами пехоты, ясным и тихим утром, под тонким, крупным и частым дождем. Маленький отряд шел скорым шагом по прямой и ровной дороге. Еще при Екатерине II, лет тридцать тому назад, здешние дороги были обсажены березами. Теперь эти высокие, ста-

рые, развесистые деревья прилавали им вид бесконечно длинных, роскошных аллей.

Отряд был уже недалеко от Салтановки, когда его пагнал на запаренной лошади молодой белокурый адъютант в конногвардейском мундире, с радостно-взволнованным лицом. В серых глазах его дрожал тревожный блеск. Но всему было видно, что он колон того особенного, очень сложного настроения, которым поднимается дух человека па чудесную высоту и которое переживается только раз в жизни — перед первым боем. Адъютант подскочил к Раевскому.

— С чем присланы, Олферьев?

— Повеление главнокомандующего, ваше превосходительство. Полагая, что в Могилеве лишь авангард маршала Даву — не более шести тысяч пехоты, — князь почитает необходимым, чтобы ваше превосходительство собрали весь 7-й корпус и уже не рекогносцировку предприняли, а прямую атаку Могилева...

Бесхвостый английский жеребец Раевского неожиданно взвырвал. Генерал ударил его рукояткой хлыста по лбу и тотчас же пергладил по нереносью, давая повод. Эти движения были естественно-просты и деловиты, — Раевский был опытным паездником. Но в Олферьеве они вызвали взрыв удивительного восхищения генералом. «Сейчас он узнал, что будет бой, — большой бой... Где же беспоконство? Ни одна черта в лице не дрогнула... Он занят конем, словно ничего не изменилось оттого, что я сообщил ему!»

— Хорошо, если князь не ошибается, — сказал Раевский, — и если в Могилеве действительно не больше войск и пет еще самого Даву... Попробую! Вы будете возвращаться через Дашковку, Олферьев?

Голос корнета зазвонел.

— Ваше превосходительство! Князь Петр Иванович па этапе гневаться... Дозвольте мне па возвращаться! Дозвольте остаться при вас, ваше превосходительство!

— Что за пустяки! Зачем без нужды подвергаться опасности. Еще успеете, корнет! Итак: отправляйтесь назад через Дашковку. Загляните в двенадцатую дивизию к генералу Колюбакину, в двадцать шестую к генералу Паскевичу, в Ахтырский полк к генералу Васильчикову и в артиллерию. Передайте приказание мое тотчас ко мне следовать. Князь доложите: все сделано, что в силах будет. Но расчет его едва ли верен. Во французских дивизиях по двадцати восьми батальонов соеет против наших двенадцати. Во всем моем корпусе двадцать четыре батальона, не сильнее пятисот человек каждый. Если напо-

ремся на Даву, — плохо скажется. Впрочем... Отправляйтесь!

— Ваше превосходительство!

— Корнет, марш!

Олферьев приложил руку к шляпе, повернул лошадь и ветром помчался в обратный путь. Кто знает? Доведись ему справиться па под сотнями человеческих глаз, а одному-одинешеньку па пустынной дороге, может быть, он и расплакался бы сейчас счастливо па-детски...

В бинокль было видно, как колонны французских войск стройко двигались по улицам Салтановки и кругом деревни, — направо, налево, позади. Дождь прекратился. Солнце выплыло из-за туч и залило ярким блеском эту прекрасную картину. Генерал Раевский па отнимал бинокля от глаз. Около него стояли командиры только что подошедших войск — Васильчиков и еще один, молодой, сухощавый генерал с правильными, но маленькими чертами живого лица. Это был начальник двенадцатой пехотной дивизии генерал-майор Паскевич.

— Спасибо, Иван Федорович, что успели дивизию привести, — сказал ему Раевский.

— Не или — хотели, презирая, что солдаты в шинелях, с ранцами, ружья па плечах, — хвастливо проговорил Паскевич, — знали, что от быстроты жизнь зависеть будет...

Раевский отвел бинокль от глаз и обонк посмотрел на Паскевича, как старый, умный человек смотрит иной раз на пустого надумчивого ребенка.

— Полноже! Разве вы еще думать ко забыли о жизни?

Васильчиков засмеялся. Паскевич распры было рот, чтобы ответить, но ничего не ответил, — только приложил руку к шляпе и вытянулся.

— Итак, — продолжал Раевский, — берите, Иван Федорович, вашу дивизию, а вы, Маривол Васильич, ваших гусар и двигайтесь несом, в обход правого фланга французов, — он в версте от дороги. Когда обогнете фланг и выйдете па ровное место, я с двенадцатой дивизией ударю в середину, — через мест. Прощу к войскам, господа генералы!

Сосновый бор, па котором двигался Паскевич, был так част, что только расквашенная пехота могла сквозь него пробраться, да и то лишь па тропинках, гуськом, человека па три в ряд. Васильчиков с гусарами дамо от-

стал, — для кавалерии лес оказался непроходимым, и ахтырцы вернулись назад. Не оставленный Васильчиковым конвой, с обычной казачьей ловкостью, все дальше и дальше пропикал в глубину бора. Вероятно, обходное движение было уже на половине, когда перед Паскевичем выросло несколько человек донцов, на взброшенных конях, с перекинутыми поперек седел телами двух убитых товарищей. Урядник, усы и брови которого были так длинны, что развеивались на скаку, доложил:

— Хранцы навстречь валют, ваше превосходительство... без ошибки!

И в подтверждение, — о, как был теперь осторожен Кузьма Ворожейкин! — он махнул рукой в ту сторону, где висели с седел трубы сраженных станичников. Паскевич, нервничая, выщипывал из правого бакена волосок за волоском.

— Много?

— Близ тысячи, а сколь за ними, не могим того знать. Егеря ихни...

Маленькие, бесцветные глазки генерала сверкнули. — «Угу! Ясно: мы их обходим справа, а они нас — слева. Ну что ж?»

— Есть, старик, дорога из лесу?

— Полная дорога, ваше превосходительство. Как лесу к спущке поредеть, — тут та дорога и выжидает...

«Ясно! — паспех соображал Паскевич. — Егерская бригада примет вправо от дороги, два полка второй — влево. Артиллерия пойдет по самой дороге. Это — первая боевая линия. Прочих — в резерв. А* на случай пужды они же — вторая линия»...

Кое-как перестраиваясь, — лес уже начинал редеть, но еще не позволял никаких точных движений, — дивизия постепенно подходила к тому месту, откуда открывалась дорога. Однако полки так и не успели разместиться по указаниям генерала. Три ружейных залпа, метких и, по близости дистанции, совершенно губительных, обрушились на них один за другим. Это действовал со своим батальоном майор Лемуан. Цепи французских стрелков отчетливо виднелись впереди. Что было за ними? Та ли тысяча, о которой доносил казачий урядник, или много, а может быть, и очень много тысяч? Паскевич нервничал все сильнее, и от этого уже довольно заметно работился его бакен. Егеря первой линии сбегали французам, — лес наполнился грохотом залпов и едким пороховым дымом. С пазыши, на которую выскакал генерал, французские стрелки выскочили соседями. Паскевич обернулся и закричал:

— Эй, Травин, подайте мне сюда два орудия!

Командовавший артиллерийской ротой поручик, — к нему-то и относилось приказание, — имел гордую осанку и вид забияки. Но лотки его мундира были протерты, панталоны старательно залатаны на коленях, штаны тяжелы на шпале, шнур и этикетки¹ на кивере потрепаны и грязноваты. Офицер этот несомненно был очень беден. Но вместе с тем можно было заметить, что мундир его сшит не из солдатского, а из хорошего толстого сукна и сидел на нем складно и ловко. Вероятно, мундир и его хозяин помнили лучшие времена.

Старые шестифунтовые пушки, с дельфинами в виде каких-то птичьих голов, гремя, мчались к бугру, с которого распоряжался Паскевич.

— Ставьте на картечный выстрел... Егеря, в прикрытие к орудью! Открывайте огонь! Сейчас я прикажу полкам выходить сюда. Начинайте же!

Орудия грянули, и бугор заволело низким дымом.

— Славно! — крикнул Паскевич.

Но того, что открылось перед ним, когда дым рассеялся, он не ожидал увидеть. Одна из пушек лежала набок. Возле нее валялась гнилая лопата поручика Травина с развороченным брюхом. Сам поручик, смертельно бледный, с лицом, обрызганным лошадиной кровью, вытаскивал из-под себя зашпобленную ногу. Ему помогал такой же бледный капошпр.

Паскевич задохнулся от бешенства. На губах его мгновенно вздулись пузыри белой пены. Он так пустил своего жеребца, что он перескочил через разорвавшуюся пушку и едва не раздавил Травина.

— Нет, не вы, а я глуп, что приказал вам стрелять! Что? Вы не виноваты? Шпагу вашу сюда, поручик! Вы арестованы! Я вас сгною на палочном пикете². Где капошпр? Как звать? Угодников... З-запорю! Адъютант, запишите: это палец мерзавцу...

Между тем французские стрелки так близко подошли к бугру, на котором гневаясь генерал, что пули их непрерывно свистели кругом, и орудийная прислуга надела. По редкой французской цепи можно было бить только картечью. Паскевич пришел в себя. Бешенство так же быстро остыло в нем, как и вылило. Да виноват ли, действительно, этот офицер в том, что скатериницкая пушка лопнула?

— Травин! — закричал он. — Возьмите

¹ Этикетки.

² Палочный пикет — место, где подвергали солдат телесным наказаниям. Значительная часть офицеров считала дежурство на палочных пикетах почетом для себя.

батарей еще четыре орудия и ведите их сюда!

Поручик живо отступил из-под зарядного ящика пристражную лошаадь, вскочил на нее и умчался к батарее.

— Четыре орудия с правого фланга, за мной!

Громыхая, пушки выскакали на бугор.

— Стой! Картечный огонь!

Выстрелы заахали. Цепь приблизилась. Снова польхал ружейный огонь. А позади уже трещали барабаны, и два нехотых полка первой линии колоннами к атаке, сложив ружья на руку, мерным шагом подвигались вперед, прямо на французов. Паскевич улыбнулся, показывая острые зубы.

— Славно! Поручик Травни, ко мне! Спасибо! Адьютант, возвратите поручику шпагу!

Травни принял шпагу с поклоном.

— Позвольте напомнить, ваше превосходительство, о капитане Угодникове...

— Что? Какой Угодников? О чем вы?

Травни с поклоном вернул свою шпагу адъютанту.

— Коли так,— остаюсь под арестом. Но на палочном выжете не буду.

— Не лезьте на рожон,— шепнул ему адъютант,— разумеется, я вычеркну эти сто галон Угодникову. Что за фанаберия?

— Примите шпагу, господин офицер,— гордо проговорил Травни,— я не возьму ее, покамест... генерал окончательно не оламячусь!

От батальона Лемуана оставалось не больше звукоз человек. Майор с отчаянием искал глазами Пьон де Комба. Этот капитан— доверенное лицо маршала. Он завел сюда батальон Лемуана,— он же должен был и вывести его из этого ада. Но Пьон де Комба не было нигде. Он исчез. А убийственная русская картечь не переставала визжать, и солдаты валялись пелыми зводами.

— Кой дьявол! — рявкнул, наконец, майор.— Ко мне, друзья! Поидом назад.

Но отступать было нельзя. Картечный огонь полух. По лесу громовыми ударами раскатывалось могучее «ура», и стальная стена рубленых унгов упала на остатки французского батальона.

Верожейкин с изумленной физиономией уже вертелся около Лемуана. И, наконец, настала минута, когда майор сидел на своей ищей трезвую баревку. Он хотел сорвать ее с себя и не смог. Пощи его помножились. Из глаз брызнула кровь... Конь майора, в ужасе метая головой, вырвался из свалил. За ближайшими деревьями его без труда поймал капитан Пьон де Комб, наблюдательный стесюда за ходом

дела и его развязкой. Теперь ему все было ясно. Счастье сидело с ним в седле. Он дал коню шпоры и помчался из леса. Капитан спешил к маршалу Даву с доносением об авангардном сражении на правом фланге, несчастном, но блестящем, о геройской гибели батальона и его командира... Капитан был единственный, чудом уцелевший участник этой славной бойни. И он почти не сомневался, что беленький крестик Почетного легиона сегодня же повиснет на его высокой груди.

Паскевич задал пленному майору несколько вопросов. Но Лемуан отвечал на них только отчаянными восклицаниями:

— Ah, mon dieu! Ah, Jésus, Marie! Tout est maintenant au diable!¹

Генералу некогда было долго возиться со стариком.

— Il veut paraitre fou,— подозрительно сказал он,— c'est de canaille!² Отправить пройдоху к командиру корпуса,— генерал Раевский разберется с ним лучше, чем я...

И Верожейкин пустился с Лемуаном в путь.

— Что, брат,— говорил он ему по дороге,— какова Россия? И что за леший принес тебя сюда!

— Ah, mon dieu! — восклицал майор,— la guerre est perdue, lorsque nos braves troupes seront conduites par des vauriens tels que ce Pionne de Combe!³

Верожейкин эти слова не понимал из того, о чем кричал майор. Но, по странной случайности, мысль его в эту минуту тоже обратилась к пресловутому капитану.

— Тебе, старикку, не стыдно и в плен идти,— толковал он,— а вот того молодца выпустили,— до слез обидно. Разиня растяне в рот заехал. Ну, да и я не с улитки урядник... Хрест святой,— того акэцера заарканю. Хоть не жить!

И он, сняв шпагу, перекрестился.

Между тем перекаты ружейной пальбы все еще навесилили лес. Казалось, будто множество дровосеков разбрелось по нему и с прыткой ловкостью работало топорами. Однако огонь заметно передвигался к опушке. К этому

¹ Боже! Иисус, Мария! Теперь все — к черту! (франц.).

² Он хочет казаться сумасшедшим,— вот канальство! (франц.).

³ Боже! Война погибла, если такие погоды, как Пьон де Комб, будут водить наши храбрые волеки! (франц.).

времени Паскевич уже выводил свои войска из лесу к мельнице. Но кругом этого ветряного сооружения сверкали штыками также густые колонны французских полков, что генерал зажмурил глаза. «Как же говорили, что в Могилеве всего шесть тысяч? Да их тут, против меня, не менее!» Всего лишь около пятидесяти саженей отделяли Паскевича от французов. Место, на которое он вышел из леса, было неудобно для свертывания войска в колонну. Поэтому он начал строить их в линию и выслал вперед стрелков. Егеря тотчас превосходно заработали. Каждый фланкер выискивал кучку или кустик, подползал, приловчился и ни одного выстрела не выпускал даром. Паскевич с гордостью смотрел на своих солдат. «А ружья! Как сбережены! Как несут далеко и верно!» Однако он уже видел, что отбить французов от мельницы ему не под силу. «Сделаю все. А там...» Он схватил за рукав адъютанта.

— Скажите к генералу Раевскому, доложите, что против меня не две, а двадцать тысяч, и требуйте хотя батальона три в секурс... Живо!

Он обернул коня.

— Травин!

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Э-э... Почему вы без шпаги? Я же возвратил вам ее...

— Канонир Угодников, ваше превосходительство...

Паскевич в ярости сорвал с руки шерчатку и швырнул ее наземь.

— Чорт вас возьми, поручик, и с канониром вашим... Шу-ка, прикажите ему павести на ту кучку, что верхом у левой поставы. Там генерал... Не Воман ли? Живо!

Травин кинулся к орудию. Высекший солдат в шевронах и с огромными бакеями (это был Угодников) засуетился. Через минуту ядро с ревом понеслось к мельнице. Кучка всадников прыгнула в стороны: трое лежали на земле, и ядро кружило между ними.

— Славно! — крикнул Паскевич. — Славно! Сбить теперь еще вол тех, и крест егорьевский канонир Угодникову. Поручик Травин! В карман мелапхолию! Надевай шпагу! Жарь картузами! Господа полковые командиры, — к атаке!

Глава XII

Раевский не верил своим глуховатым ушам.

— Сколько? — переспросил он.

— Шестидесят тысяч, — ответил Лемуан.

— Как? Разве не авангард лишь генерала Бордесула?

— Шестидесят тысяч, генерал. Весь корпус маршала Даву.

— Отправить господина майора в главную квартиру, — приказал Николай Николаевич, — и передать главнокомандующему от меня вот эту записку...

Он набросал на клочке бумаги несколько слов. С этой минуты он понял, что Могилев не возьмет, так как десять тысяч человек ничего не смогут сделать с шестидесятью тысячами. Получив его записку и опросив пленного майора, в том же должен будет убедиться и Баграцион. Но бой полыхал, и сдержать его размах было не легче, чем добиться успеха. Строго говоря, французская позиция на горе у Салтановки была неприступна. Окружавший деревню лес не позволял подступить к ней иначе, как по большой дороге. Вдоль этой дороги была устроена сильная французская батарея. Перед самой деревней — овраг с мостом и плотиной. Оба перехода были сломаны и завалены коьем. Уже несколько раз полки двенадцатой дивизии ходили в атаку через овражные топи. Но... возвращались назад. Несмотря на то, что картечный и ружейный огонь косил солдат, они не помышляли об отступлении. Однако в порыв к атаке уже иссяк в них. Они твердо стояли на месте. Подбитые пушки немедленно заменялись новыми, раненые и убитые люди — здоровыми. Ядра рвали землю, обдавая грязью целые шеренги, и слова взлетели ввысь через головы. Каких только скачков и прыжков они не выделяли тут! Кони щетинились, хрюкали и нюхали воздух. Казаки, будто они спрашивали друг друга: «А не знаешь ли, земляк, что за дьявольщина здесь затевается?» Зато всадники сплели избочась и в ус не дули. У кого повалило коня, тот спокойно снимал седло, саквы и отходил назад. За коня казна платила, за седло — нет. Генералы Раевский и Васильчиков уже часа два стояли под огнем, на берегу оврага, против плотины.

— Орудийные выстрелы слева... Вы слышите, Николай Николаич?

Раевский прилежлив пригоршню к левому уху.

— Да... Это Паскевич выходит из престою и развертывается. Теперь нам опять надо поднимать своих.

— Едва ли пойдут, — со вздохом отзывался Васильчиков.

— Что?

Ядро взбило у ног Раевского землю. Он равнодушно взглядел на него, как на совершенно посторонний предмет, и продолжал говорить:

— Обратите внимание на французские

стрелков. Какая ловкость! Перестреливаясь, они в постоянном движении. Они ни на минуту не подставляют себя, как цель. Впрочем, для наших это не годится. Так вы говорите, что не пойдут?

Он оглянулся, отыскивая кого-то глазами. Кого? Позади толпились адъютанты, и среди них — оба сына генерала. Александр упрямил подпрапорщика Смоленского пехотного полка, огромного детину с детским лицом, который высоко поднимал над головой старое белое знамя своего полка:

— Слушайте, вы ранены... Вам трудно... Дайте мне знамя, я понесу его!

— Оставьте меня! — грубо отвечал подпрапорщик, — я сам умею умирать!

И он тут же подтвердил свое гордое слово, — ахнул и опрокинулся навзничь. Пуля ударила его в перепосье. Александр Раевский подхватил знамя и поднял его так же высоко, как держал убитый.

— Знаешь имя подпрапорщика? — спросил он ближайшего солдата-смоленца.

— Зиминский, ваше благородие! Хорош был, царство ему небесное! Молодец еще, а весь в отга. Я с батькой ихним под Дербент хаживал...

Но солдат не досказал своей новости, — брякнулся плаземь.

— Дети! — крикнул Николай Николаевич, — ко мне!

Александр передал кому-то знамя и бросился на зов. Рядом с ним — младший брат его Николай, бледный и решительный. Барабаны били поход. Офицеры равняли ряды, Васильчиков вскочил на коня и отъехал к своим гусарам. Страшное спокойствие охватило войска перед атакой. Николай Николаевич знал, что это такое. Иногда это имеет значение грозной тишины, воцарающейся обычно в природе перед порывом сокрушительной бури. Иногда, наоборот, это — начало того тяжелого оцепенения, из которого уже не может вырваться упавший человеческий дух. Что оно означало сейчас? Николай Николаевич махнул платком. Команды полковых командиров повторялись в батальонах, перекинулись в роты.

— Справа... к атаке... марш!

Но войска стояли неподвижно. Ага! Неужели Васильчиков прав? Раевский взял сыповой за руки и пошел с ними к плотине.

— Штаб, за мной!

Он уже отошел от первой линии пестелько, что со всех пунктов расположения русских войск была отчетливо видна эта картина бесстрашного мужества. Он шагал к плотине и, изредка обертываясь, повторял:

— Ребята! Вот я, ваш генерал, и слыновья моя со мной! Вперед, же! Вперед!

Волна восторга и ужаса прокатилась по полкам. Все, что стояло вдоль оврага, вплоть до самого леса, вздрогнуло и рванулось за Раевскими. А они уже были на плотине, между трупами, колесами разбитых пушек и остатками полуразброшенного завала. Они бегали вперед, и потому не стреляли. Тысячи людей бежали с прямолутными штыками. Адекий отпор встретил эту несбыковенную атаку. Все валилось и все несло вперед...

Но лобовая атака и на этот раз была отбита. Войска отошли от плотины, облепленной кровавой кашей тел. Лишь по сторонам еще кипели схватки.

— Справа по три марш! — скомандовал своим гусарам Васильчиков, и они помчались за ним.

Скакать через густой кустарник было невозможно. Между ним и лесом тянулася широкая просека, покрытая недокорчеванными пнями. Гусары шли по этой просеке развернутым строем. Огненный дождь поливал их. Ядра крутились под ногами генеральского копы. Васильчиков несся галодем, не обнажая сабли, и, оглядываясь, кричал:

— Легче! Легче! Равняйтесь, гусары!

Это было прекраснее любого петербургского парада. Но через четверть часа ахтырцы той же просекой скакали назад...

Белое знамя Смоленского полка плясало, прыгая из рук в руки. Унтер-офицер Сватиков, старый и большой солдат, начавший службу при Потемкине, не спускал со знамени глаз. От быстрого бега в груди Сватикова запылали дух. В боку резало и кололо. словно острым щепнем был наполнен бок. Ноги и руки тряслись от непосильного напряжения. В голове вращались какие-то фугасы. Однако он следил за знаменем. Вот оно рухнуло вниз, жалостно затрепетав полотнищем. Толпа французских солдат навалилася на него, а на нее — толпа русских. Рыжий ефрейтор, спял конопатым, как подсолнух, лицом, вынес его из свалки. Еще минута, и линейный французский солдат уже бегом уволакивает его к своим. За ним гонятся смоленцы и среди них — Сватиков. И слова вокруг знамени — яростная драка. Черное древно сломаю. Что-то выталкивает Сватикова из людской гущи. Задыхаясь, он хватает полотнище. Страшный удар в челюсть обра-

сывает его с пог. Кровь заливает рот и глотку. Солоно, горячо... Он выплевывает красную жижу, — в ней сверкает белое... Зубы? Святиков обертывает знаменем голову и бежит в лес...

* * *

Было около четырех часов дня. Б Раевскому прискакал адъютант Паскевича и доложил, что двадцать шестая дивизия отступает, явля неприятеля на штыках.

— Скажите генералу, — приказал адъютанту Раевский, — что мои атаки тоже отбиты. И сам я жду позволения об отходе. Скажите: Могилев потерял, но завоеван день...

Адъютант не понял и, боясь ослушаться, растерянно заморгал глазами.

— Да, — подтвердил Раевский, — целый день завоеван. Так и скажите...

Багратион сидел со штабом на дороге под березами, когда, отведя 7-й корпус в Дашковку, вернулся из-под Салтановки Раевский. Главнокомандующий и Николай Николаевич обнялись. Толпа генералов и офицеров обружилась их тесным кольцом.

— Первое липевое дело кампании года тысяча восемьсот двенадцатого, — говорил Багратион, — в лоб вель бились, душа Николай Николаич! И показали себя французам. Уж как чесались у меня руки! Но сдержался... Слава — герою!

— В день пынешний, — сказал Раевский, — все были герои!

Однако можно было заметить, что он грустен и, повидимому, огорчен неудачей. Багратион взял его за руку.

— Мы ошиблись... В Могилеве — сам Даву. Того мало, — в секуре к нему идет маршал Мертве. Силы превосходные. Пропал Могилев... Но я не уныл. Отступю!

Он отвел Раевского в сторону.

— Не скрою, душа, и по честности скажу, что пыл мой к генеральному сражению пыне спал. Против рожна нельзя прати. Армия — вещь святая и риску подлежать не может...

Раевский слушал с удивлением. Куда же девалось то, в чем обвиняли Багратиона педоброжелатели, — его безрассудная и самонадеянная напористость?

— Не узнаешь старика? Дурно знаешь. Век жизни — век учись. И Суворов в Италии учился. А наука — горька... Дело под Салтановкой на сто лет прогремело. Им папа армия спасена. Падо еще схитрить малость, чтобы лысый чорт Даву из дураков не вылез. И хитрость такую измыслил я. Ты — герой. Хочу твою апробацию иметь. Сужу я теперь так...

Он подпер подбородок рукой и, подумав, продолжал с той чеканной вразумительностью, которая так часто поражала Раевского.

— Пробритесь у Могилева нам не под силу. Деню до меня, что министр уже под Витебском. Чтёб соединиться, итти нам надобно через Пропойск, Чериков и Бричево. Как пройти? Ежели весь завтрашний день господни Даву проспит в Могилеве, — пройдем. В ночь, мимо, на Метиславль, к Смоленску... Как заставить Даву сидеть в Могилеве? Просте. Надобно, чтобы ждал он генерального нападения пашних сил. Еле уцелев нынче, снова на позицию не выхолзет...

Багратион повертел рукой сперва в воздухе, потом — у своей головы.

— Большие люди и ошибки большие делают. Маршал сейчас так соображает: дразья с авангардом багратионовским; завтра сам Багратион в атаку итнется... Ага! Выспал разветку, — пет ли чего? Есть! Корпус твой как в Дашковке стоял, так там и остался. А положе граф Воронцов Михайла с гренадерской дивизией к тебе подошел. Разведка доносит: идут, собираются... Мало? Багратион с армией выступает, становится на ночлег биваком у Салтановки. Передовые посты до Могилева выдвигаются. Разведка опять доносит. Держись, Давушка! Он и будет держаться... Ха-ха-ха!

Раевский улыбнулся.

— Может и удача быть... Детей так обманывают...

— Не детей лишь! Сложные машины, душа, всегда вид простоты имеют... Да что там? Я еще атамана с двенадцатью архангельскими его полкам к Могилеву отправлю. Пускай мечется под самыми окопами. Фу, какая поднимется в городе суматошка! И, покамест атамана, ночью Днепр перейдя, с противоположной стороны фальшивую атаку на Могилев будет делать, мы мимо проследуем. Вель мосты-то у Нового Быхова уже наведены... Путь-то открыт...

Досада и грусть давно соскочили с Раевского, — скатились, как камни, и ушли в землю, на которой он стоял. Действительно, задуманный Багратионом маневр был так искусно сложен во всех частностях, что обещал несомненный успех.

— Очень хорошо, князь, — сказал Николай Николаевич, — недаром завоевал я нынче день. И недаром учился вы в Италии у Суворова. Всего же главнее, что и теперь учитесь. Очень хорошо! Давеча из Салтановки прислал я к вам пленного майора французского. Втеснить ему в голову надобно, что мы завтра Могилев брать будем, и с секретом таким отступити во-своесп. От него в за-

буждений своем может Даву экзотически утвердиться...

Багратион не достучал.

— Эй! — кричал он, — Эй, Алеша! Помни нам сюда калитку французскую, что нынче Паскевичу в плен: сдалась...

* * *

Ворожейкин даже и не заметил, как это случилось. Но теперь, когда ему снова, уже в третий раз, приходилось конвоировать Лемуана, он не чувствовал к нему решительно никакого вражды. Наоборот, старый майор казался Ворожейкину, во-первых, давним, довольно приятным знакомцем, а, во-вторых, чем-то вроде собственности, взятой с бою, как приз. Поэтому урядник искренне жалея о необходимости вывести пленника за линию передовых секретов и отпустить на все четыре стороны.

Разорванные тучи быстро неслось по небу. Луна, выглядывая на миг, тотчас же опять пряталась за ними, точно грусти, что некому полюбоваться ею.

— Эх, старичек! — говорил казак Лемуану. — И куда тебе идти? Зачем? Нешто у нас худо? Войне конец будет, — взял бы я тебя с собою на Дон. Жизнь-то! Услал божий, а не жгзнь! Верно, Станичинки? — спрашивал он товарищей.

— Да, уж жизнь! — отвечали те в лад. — Уж и жизнь!

— Лучше не надо! И коли станет кто тебе бранить нашу жизнь, — в глаза плюй! Значит, — лэйдок, лодырь, пакостник!

— Que, sacré dieu, viennent ils me dire, — стонал в ответ Лемуан, — quand j'ai besoin de manger!¹

— Во-во! Войну бы смачнуть. Гостей — за ворота, а уж там страшай, брат, того, кто не смыслят ничего! Молодчику же, что нынче у нас из-под руки вырвался, так и скажи: быть ему на аркане. Хоть и не жадует он, ведать, ни пуль ни ядер, а от Ворожейкина не схорониться ему никак! Так и скажи!

Линия передовых секретов осталась далеко позади. В темноте тускло маячила оранжевая россыпь городских огней и глухо слышался собачий лай.

— Прибыли! — сказал Ворожейкин. — Ну, как хошь, дед! Коли так, ступай себе со христом!

Казачье кольцо разомкнулось, и майор Лемуан очутился один среди черного поля. Кузьма отвернулся и дал коню нагайку, —

так, без всякой надобности. Это — знак, что не ладно у казака на душе. Чаще всего хлопает нагайкой казак, когда уезжает из дома и прощается с близкими. Неужели разлука с Лемуаном и вырвям павела на Ворожейкина такую толку?

* * *

В ночь на 12 июля к маршалу Даву подошли подкрепления, — французская пехота из корпуса Мортье и польский «дегдон Вислы». Принц Эгмюльский был очень доволен, так как почти не сомневался в том, что завтра Багратион со всей своей армией нападет на Могилев. Только этим предстоящим большим нападением и можно объяснить сегодняшний бой у Салтановки, от которого у Даву осталось какое-то странно-тревожное чувство. Он не пустил русских вперед. Но непомерное упорство их натиска, дьявольская стремительность атак, стойкость под огнем и жестокая сила ответных канонад крепко ему не нравились. Если так дрался авангард в частном деле, каково же будет общее дело за Могилев? Уже с вечера Даву начал собирать в городе все свои силы. Салеры работали на стенах и за стенами, роя окопы и насыпая бастионы для батарей. Никогда не случалось адъютантам маршала выслушивать такие грубые окрики, как в эту ночь. Принц Эгмюльский подпрыгивал на своем кресле, как крышка на кинящем кофейнике, и рассылал приказания, как град. Он был в самом разгаре этой бурной деятельности, когда ему доложили о прибытии майора Лемуана.

Даву выскочил из кабинета навстречу неудачному батальонеру и палелся на него, как смерч. Все, что произошло за сегодняшний день с этим стариком, начиная с позорного отступления его стрелков из-под огня и кончая гибелью батальона в лесу и сдачей в плен самого командира, было гнусно. Но еще гнусней казался его возвращение из плена. Как? Почему? Подозрительное сердце Даву разрывалось от негодования...

— Старая крыса! — едва завилев Лемуана, в бешенстве кричал он. — Я думал, что вы просто глупы, как конский потник... Но нет! Тут что-то похуже!..

Однако, когда Лемуан голосом, дрожащим от обиды, кое-как рассказал о своих приключениях, особенно папирая на то, что видел собственными глазами, как русские войска выступали к городу, и слышал приказания Багратиона и Раевского насчет завтрашней атаки, принц Эгмюльский притих и задумался. Если даже и предположить, что Лемуан

¹ Господи, о чем они мне толкуют, когда я хочу есть! (франц.).

представился в шпикона, то рассказ его все же раздельно соответствовал тому, чего следовало ожидать по общему ходу дел. И Даву уже почти спокойно приказал:

— Взять этого офицера под арест!

Пьер де Комб вышел из кабинета Даву с таким видом, что в дежурной комнате сразу сделалось светлей. На груди капитана поблескивал свежей белой эмалью крестик Почетного Легиона. День Пьер де Комба завершился так, как того желала постоянно благосклонная к своему любимцу судьба. Пьер выслушивая сейчас донесение прискакавшего из почной разведки капитана, грозный маршал не кричал и не бесновался, как утром, — нет! Впрочем, и Пьер де Комб явился к нему с такими сведениями, перед ценностью которых не могло бы устоять никакое предубеждение...

Около капитана толпились адъютанты и еще какие-то офицеры. Хором и по одиночке они поздравляли его с почетнейшей наградой. Да, за этот белый крестик многие из них охотно заплатили бы кровью и кусками оторванных рук и ног! Однако среди поздравителей нашелся один, который язвительно спросил капитана:

— Вероятно, вы привезли дурные вести, что вас так хогоно приняли?

Видно, этот желчный человек прекрасно знал обычаи главных квартал и самого маршала. Пьер де Комб не удостоил вопрошателя ни ответом, ни взглядом. Но для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его действительных заслугах, с торжественностью сказал:

— Прекрасные вести, господа! Казачий генерал со своим войском только что переправился через Днепр и идет к городу. Мое будущее открытие не хуже утешного. Завтра нас ждет славное дело. И каждый офицер нашей армии сможет еще раз показать свою верность императору, как умест...

Как он говорил это, белый крестик ослепительно сверкал на его груди.

В день 13 июля армия Багратиона простояла на месте. Русский главнокомандующий рассчитывал этой странностью своих действий окончательно запутать и сбить противника с толку. Так и случилось. Казаки Платова с утра до вечера гарцовали перед

городом, а Даву скакал по укреплениям, минуты на минуту ожидая штурма. День прошел для обеих сторон в этих полумирно занятых.

Однако в русской армии все было готово к выступлению. Солдаты не лежали и даже не сидели в тесных кружках, как обыкновенно бывает на биваках. Они стояли вольно, с ружьями у ног, с посогрейками в зубах, с ранцами и сухарными сумками за плечами. Лица их были не веселы, но и не печальны, — такие лица всегда бывают у русских людей, когда они собираются в путь. Сумерки перешли в глухую, темную ночь.

Перед рассветом грянул сигнал:

— Вставай!

Жуя сухари вечерней раздачи, пехота стреллась не спеша. Зато кавалеристы стремгью бежали к лошадям, поправляли седла, подтягивали подпруги, застегивали мундштуки, снимали торбы, привешивали по местам, сзади седел, санные выюки.

— Эх, козь-то выступчатый, — больше хорош! — раздавались то там, то здесь обычные солдатские восклицания.

Армия двинулась в поход. Так как она стояла на чистых и твердых выгонах, а погода вчера была сухая, от места стоянки не осталось никаких следов. Утром войска переправилась у Нового Быхова через Днепр и вышла на Мстиславскую дорогу, которая шла прямо к Смоленску. Солнце медленно поднималось вверх в розовом тумане и вдруг ослепительно засияло, опрокинув на землю сразу весь свой запас света и тепла. Уже наступило время жатвы. По на полях было мало народа. Крестьяне толпами встречали войска у деревенских околиц. Бабы с младенцами на руках сердобольно глядели, как шли мимо них открытые пылью и потом солдаты. Помещики тянулись за армией в дорезгах, колясках и бричках. Белоруссия оставалась ягодами, и по всему было видно, что близка уже покойно русская, смоленская земля.

Багратион ехал со свитой по обочине дороги, заставляя коня прыгать через ягвинны и кусты. Лицо у него было спокойное, но задумчивое. Вдруг он окликнул Олферьева. Кошкет подкакал. Петр Иванович взял его фуку, вытанутую у виска, и опустил вниз.

— В голову мне, душа, пришло... Вельи Наполеон ошибается, да тут же ошибку направляет; а Даву в эти дни так обманулся, что ошибки своей ему теперь в век не поправит!

Глава XIII

Предместье, в котором остановился на четверть главнокомандующий второй армией, утонуло в пушистой зелени муравчатых лозад

¹ Французы называли Платова не атаманом, а гетманом.

и рои из развесистых ветел. Одевая к выезду из дома свой любимый мундир гвардейского егерского полка, Багратион смотрел в окно и наслаждался прекрасной картиной древнего русского города. Толстые стены голубовских укреплений, ажурные колокольни соборов, белые домики, рассыпанные между загородами фруктовых садов,— все это сверкало под жаркими лучами солнца, играло в блеске ясного летнего утра. Князь Петр Иванович на миг зажмурил глаза, прислушиваясь к тому, что делалось в сердце. Чужой город Смоленск! Вот Россия, за которую сладко жизнь отдать, кровь источить по капле, хоть сейчас сложить голову на последний покой! Нет, уж отсюда Багратион не уйдет без боя! Настал великий день. Все решилось. Папалон обойден. Хитрый план его рухнул. Обе русские армии — под Смоленском. Где же, как не здесь, на старинном пороге родины, встретить огнем и мечем французских разбойников?

Багратион торопливо затянул на себе шарф и надел шляпу. Он был уже совсем готов ехать. И вдруг перестал спешить. Лицо его охрипло. Он медленно сложил руки на груди и несколько минут стоял неподвижно...

— Ваме сиятельство, — осторожно проговорил, наконец, Олферьев, — кабы не опоздать нам?

Губернаторский дом имел всего один этаж, но был довольно обширен. Боковые флигели его выступали вперед, прикрывая с двух сторон площадку перед подъездом. На эту площадку выскакала из ближайшей улицы коляска Багратиона. За ней неслась пестрая завалькада свиты, — несколько генералов, множество штабных офицеров, адъютанты и конвой. Дробно звепели конские копыта, развезались белые и черные султаны, затейливо виллись по ветру серебряные шнуры аксельбантов. Зачем такая пыльность? Нельзя сказать, чтобы князь Петр Иванович хотел ее. Но он и не противился ей. Она была ему сегодня нужна.

Происходила необыкновенная вещь. Старинный в русской армии генерал, на груди которого плелася лазурная лента святого Андрея¹, первый являлся с визитом к младшему себя. Действительно, Барклай де-Толли был по службе моложе не только Багратиона, но и Нахтова, и еще двенадцати генерал-лейтенантов, состоявших у него теперь под командой. Но Багратион ехал первым. Как поймет это армия? Правда, Барклай был военным министром и в этом качестве мог

приказывать Багратиону. Но ведь куда же не денешь и того, что пять лет назад он рядовым генерал-майором, вытягивался перед князем Петром Ивановичем и почтительно принимал его повеления. Следовало ли князю Петру считать обязательными для себя тережные приказы прежнего своего подчиненного? Положение обоих главнокомандующих было запутанное и фальшивое. Если Барклай не понимал этого, пышность багратионова визита должна была ему разъяснить и напомнить кое-что. Князь Петр выскочил из коляски, взбежал на подъезд и сделал быстрое движение рукой, приглашавшее главных лиц свиты не отставать.

Между тем из дверей залы уже выходил на внутреннюю лестницу высокий, худой, плешивый генерал со строгой и умпой физиономией и пемигавшими серыми глазами. Он был в мундире, ленте, орденах, держал в руках шляпу и слегка прихрамывал, отчего плюмаж на шляпе колыхался. Хитрый адъютант, заранее предусмотревший все подробности встречи, только что всунул этот торжественный головной убор в руки министра. Он же придерживал министра за фалду мундира, когда заметил его намерение спуститься вниз по лестнице. Все это было крайне неприятно Барклаю. Пеловкость и принужденность его движений бросалась в глаза. Но возникали они не от отсутствия достоинства, — наоборот, под скромной и невзрачной внешностью явственно чувалось в Барклае нечто очень твердое и как бы сродное привычке повелевать, — а оттого, что правая рука и нога его были перебиты в сражениях, и после Прейсш-Эйлау ему трудно было и на лошади садиться без посторонней помощи.

— Любезный мой князь! — сказал он с тем жестким выговором русских слов, который легко обличает людей не чуждо русских, — а я уже совсем, как видите позволите, визитировать вас собрался...

Главнокомандующие поздоровались. Багратион зорко глянул в пемигавшие глаза Барклая, но не прочитал в них ровно ничего. Да и все длинное, бледное, покрытое морщинами лицо министра было неинтересно. Он передал кому-то из ординарцев станичку с этой минуты ненужной шляпу и вложил раненую руку в перевязь из черной тафты. Комедия? Может быть. Но — игра была учтивая. Багратиону оставалось довольствоваться этим, и он постарался сделать вид, будто действительно доволен...

Что-то, но только не недостаток твердости, мешало Барклаю с первых же слов объявить, что для общего начальствования над обеими

¹ Орден Андрея Первозванного был высшим в русском империи орденом.

армиями избран императором именно он. Что-то мешало также и Багратиону спокойно выждать, пока решение императора сделается формально известным. Его самолюбие жестоко возмущалось этой недосказанностью. По то, что скрывалось за ней, было еще хуже. Больно и горько подчиняться человеку, которого по совести не можешь ставить выше себя. Князь Петр Иванович смотрел на лысый череп Барклая, на его бесцветные волосы, аккуратно зачесанные от висков на маковку, и ему казалось, что даже в этой некрасивой серости министерской головы заключен оскорбительный намек на его, Багратиона, унижение. «И такой квакер¹ будет мною командовать!» — с тяжелым отвращением думал он. Правда, было во всем этом и нечто утешительное для князя Петра. Туча грозной ответственности, висевшая над ним с самого начала войны, наконец, рассеивалась. При новом положении вещей он освобождался от мучительнейших опасений, которые должны были теперь с двойной силой угнетать Барклая. Возникла возможность решительно требовать того, что Багратион признавал пользой и необходимостью: генерального сражения за Смоленск. Поэтому-то желанное наступление на французов он и начал прямо с атаки Барклая.

— Я не в претензии на вас, Михайло Богданыч, — говорил он, — вы — министр, я — ваш субальтерн. По ретироваться далее — трудно и пагубно. Люди духу лишаются. Субординация приходит к расстройству. Что за прекрасная была у нас армия! — И вот — все истощилось. Десять дней по пескам, по жару, на форсированных маршах. Лошади пристали. Кругом — враг. Куда идем? Зачем? Согласен: до сей поры весьма были мудры ваши маневры. Очень! Но пришел день возделенный, — мы соединились, вкупе стоим, и Смоленск — за нами. Ныне другой маневр надобен, не столь, быть может, и мудрый... Попроце...

— Какой же? — тихо спросил Барклая.

— Искать противника и бить его, не допуская к Смоленску! Я не в претензии... Повелевайте! Однако же изпурыть без конца армию позволить не могу. Поручите еще кому, — а меня увольте! Уж лучше я зипун надену... В спуртуке пойду и — баста! Таков сгыз мой по чести и истине!

Барклая внимательно слушал эту горячую речь. Но лицо его продолжало оставаться не-

подвижным. И от непроницаемости своей казалось почти мертвым. В душе он относился к Багратиону несочувственно, как и ко все людям, которых считал по степени образования ниже себя, а по способностям — выше. Он мало доверял своей собственной талантливости и, с болезненной скрытностью пряча окружающим это недоверие, признавал таланты конкурентов неохотно и с трудом. Сдержанный и сдержанный, он никому не прещал откровенной самокаждности. Естественно, что порывистая и шумливая натура Багратиона была ему всегда несколько неприятна. Внешне это проявлялось в форме вежливой отчужденности. Пальцы здоровой руки Барклая отчетливо отбивали марш по зеленому сукну стола, за которым он сидел лицом к лицу с своим гостем. Голова была опущена.

— Я вас спас, Михайло Богданыч! — с назойливой резкостью звучал в его ушах голос Багратиона. — Тем спас, что пробивался к вам, когда вы от меня уходили... И впрямь, коли понадобится, спасать буду. Но с тем, однако, чтобы и вы не бездействовали. Много хода в делах не понимаю и принимать не хочу. Видно, не учен я, а, может, и глуп перед вами! На войска же русские жаль мне смотреть... У себя дома, в России, хуже пруссаков и австрийцев стали... Оттого и говорю...

В крайнем раздражении сел повторять угрозу:

— Уж лучше зипун падеть! И — баста!

Барклая пожал плечами. По свойствам своего ума он умел при всяком стечении и повороте обстоятельств угадывать результаты дела просто, без особого напряжения мысли, но верно и точно. Он никогда не воспламенялся во время споров, не развивал доказательств, а говорил только: «Из этого выйдет то-то, а из этого должно получиться то-то»... И не любил длинных слов. Но разговор с Багратионом требовал именно доказательств и ненужных слов. Что делать?

— Не постигну, любезный князь, в чем собственно, обвинять меня изволите, — медленно заговорил он, — маневры мои были не мудрей и не ученей ваших и столь же прямой необходимостью вызваны. Признать готов, что операция ваша у Могилева, когда 13 июля мимо обманутого маршала Даву проследовали вы с армией и перешли через Днестр, а он лишь четырнадцатого о том узнал и шестнадцатого только на Оршу двинулся, — славного военного такту был прием. И что без дальнейших препятствий достигли вы семнадцатого в Мстиславль, — также к полководческому знанию вашему неслыханно стонется. Но будьте справедливым, любезный

¹ Квакеры — религиозная секта в Америке. Слово «квакеризм» возведено и синонимичность нравственности и ведения — отличительные качества квакеров.

князь, — войдите и в мое положение. Еще двенадцатого Бонапарт наступал от Бешенковичей на Витебск, полагая, что я путь к вам хочу проложить через Оршу. И впрямь сбился я тогда идти на Оршу, чтобы хоть с этой стороны сблизиться с вами и закрыть перед Бонапартом Смоленск. О намерении своем я и вам сообщал...

Он незаметно взглянул на Багратиона. Глаза князя Петра пылали. Рот его был раскрыт для самых решительных возражений. Поэтому Барклай, не останавливаясь, продолжал говорить:

— Не забудьте и того, что тринадцатого Бонапарт знал уже об отступлении генерала Раевского из-под Салтановки. Оттого действия его против меня с правого фланга совершенно были развязаны. Тогда дал я авангарду его бой. Тринадцатого и четырнадцатого войска мои дрались с Мюратом у Островны, и задержали наступление его на сутки. Однако бой этот показал мне ясно, что двигаться первой армии надо со всей поспешностью не на Оршу, а на Смоленск, то есть глубже и дальше...

Багратион язвительно засмеялся.

— Зачем же, коли так, звали вы меня, ваше высокопревосходительство, для соединения в Оршу? Разве такие фокус-покусы почитаются возможными могут?

— Это не фокус-покус, ваше сиятельство, — все медленнее процеживая слова, тихо сказал Барклай, — отнюдь нет. Чтобы отвлечь от вас Даву, я готов был бой и у Витебска принять. Моя ли вина, что позиции тамонные до крайности негодны? Кроме того, пятнадцатого получилось от вас известие о... неудаче генерала Раевского под Могилевом. Прямо скажу: понял я это, как если бы кто освободил меня от необходимости драться у Витебска на дурной позиции. Уж не надобно драться мне было, ибо шли вы благополучно к Смоленску. Поэтому, обсудив на военном совете, я и двинулся тремя колоннами через Поречье и Рудню на Смоленск. Подобно как вы Даву обманули, так я — Бонапарта. После боя у Островны он никак сомневаться не мог, что под Витебском генеральное сражение предстанет, и уже к шестнадцатому войска стягивать стал. Но я исчез с внезапностью. Что было делать Бонапарту? Он корпус свой для отдыха сетапавил: принца Евгения — в Сураже и Велиже, Паспутн — в Поречье, Пейя — в Лизне, Мюрата — в Рудне, Груши — в Бабиновичах и Даву — в Дубровке. Но ведь, князь мой любезнейший, все это не для месей лишь, а и для общей нашей пользы совершилось... Но так ли?

Багратион быстро провел рукой по высо-

кому гребню крутых своих кудрей. Действительно, многое из того, что казалось ему до сих пор необъяснимым и удручающе-страшным в маневрах первой армии, вдруг приобрело теперь простой и ясный смысл. Многие... Но не все!

— Позвольте, Михайло Богданыч! А почему же не пошли вы на соединение со мной в Горки? И вам и мне восемнадцатого было бы то и ближе и удобнее прочего. Почему прямо на Смоленск двинулись, хотя можно было бы, в Горках совокупясь, общей силой загородить французам путь на Смоленск?

Новое подозрение родилось, и живая тень гнева опять набежала на бледное лицо князя Петра.

— А может быть, что в план вашего высокопревосходительства защита Смоленска и вовсе не входит? Вопрос этот основным и главнейшим из всех почитаю я...

Он спрашивал с такой жадной стремительностью и так настойчиво, что Барклай понял: сказать ему сейчас прямо все, что он думал о защите Смоленска, немисливо.

— Вопрос столь важен, — холодно проговорил он, — что решить его способно одно лишь чистое благоразумие, без страсти и волнения. Потому...

— Пет! — с грозной энергией крикнул Багратион. — Пет! На сей раз оставим благоразумие в удел робким душам. Будем чувствовать по-русски! Прямо спросил вас, — прямо и ответствуйте!

Главнокомандующие совещались долго. Из кабинета, где они заперлись, громкий голос Багратиона то и дело вырывался в соседнюю залу. И тогда собравшиеся в ней генералы обеих армий радостно переглядывались. Наконец-то! Старая слава князя Петра Ивановича заиграла в их сердцах новые надежды на успех. Его пылкая настойчивость привлекала все симпатии. Голоса Барклая не было слышно. Да никто и не ожидал его услышать, — всем было известно, как малообщителен и некраспоречив министр. Почти всякий из тех, кто находился сейчас в зале, был недоволен Барклаем. Прежде недовольство это лежало на дне душ. А теперь всколыхнулось. Даже имя главнокомандующего избегали называть, — по неприязни к тому, кто посил его. Толковали о неудачах, а не разумевался Барклай.

— Говорят... Говорят, будто немцы и голландцы возбунтовались, что англичане и испанцы где-то высадили десант... Говорят, что сам Бонапарт поскакал во Францию... Мало

ли что говорят! Но я ничему не верю, — сказал генерал Раевский начальнику артиллерии первой армии, молодому графу Кутайсову, — того не осталось во мне, чем верят люди...

Черные глаза графа блеснули чистым огнем. Красивая голова его живо повернулась к собеседнику.

— Вы правы, ваше превосходительство! Удел наш поистине жалок становится... У нас, в первой армии, лишь один человек осведомленным о действительном ходе событий счесться может...

— Ермолов?

— Да. Но не по званию начальника главного штаба, а потому, что с государем в переписке, и по тонкой проницательности ума своего...

— Любую хитрейшую бестию кругом пальца обведет, — улыбнулся Раевский, — молодец ваш Алексей Петрович! Да вот и сам он!

Из боковых дверей в залу быстро вышел широкоплечий генерал, могучего, почти геркулесовского телосложения, и поклонился. Глубокий взгляд его серых глаз мгновенно обжег присутствующих. Волосы, дыбом стоявшие на голове, еще придавали росту его величавой фигуре. Он вступил в залу и как будто наполнил ее без остатка своими размерами и своей силой. Вместо шляпы Ермолов держал подмышкой кивер, что казалось странным при генеральских эполетах, а в руках — сложенный пополам лист синей бумаги.

— Поздравляю, господа, с новостью важнейшей!

Каждый из генералов в одно и то же время почувал на себе его умный и приветливо-острый взгляд. Все разом двинулось к Ермолову и окружили его. Простое и непритязательное благородство удивительным образом сочеталось в этом человеке с заискивающей манерой обращения, мужественный топ речи — с приятно-вкрадчивым голосом. Даже самые старые генералы относились к нему, самому молодому, дружески и с уважением. А товарищи по чину и младшие любили без памяти. Ермолов уже обнялся с графом Сен-При. Крепко прижал к груди твердую ладонь атамана Платова. И облобызался с Николаем Николаевичем Раевским.

— Господни главнокомандующий только что подписал приказ по армии...

— Приказ? Какой? Не томите, Алексей Петрович!

— Извольте, господа, — сказал Ермолов и развернул лист синей бумаги, — «Приказ по первой Западной армии 21 июля 1812 года. № 68. Солдаты! Я с признательностью вижу единодушное желание ваше ударить на

врага нашего. Я сам с нетерпением стремлюсь к тому»...

— Bravo! — крикнул граф Кутайсов. Ура! Копец ретиграде! На стенах Смоленска кровью смоем ее позор!..

Его возглас потонул в буре восторженных восклицаний. Под напором радостного гула дрогнула старая зала губернаторского дома. Генералы поздравляли друг друга, как праздником. Целовались, как на пасхе. И все было понятно: не будь сейчас Багратиона и двери кабинета барклаева кабинета, не было бы этого решительного, долгожданного приказа.

— Все прощай, Михайле Богданычу, с сияющими глазами и лицом повторяя Кутайсов. — Все! А Багратиону — слава!

— Слава! — раздалось в углу.

— Слава! Слава! — пропеслось по залу.

К Кутайсову подошел полковник среднего роста, полный, румяный, как хорошо пропеченная булка. Все существо его дышало здоровьем и энергией. Несколько секунд он молчаливым любопытством наблюдал радость молодого генерала. Надменное-ласковая улыбка перебегала из края в край по его пышным розовым губам. Можно было подумать, что он удивляется детскому восторженному графа, и снисходительности сожалает его, а от избытка гордости не может скрыть сожаления. Полковник держал себя странно, — вовсе не так, как полагалось бы по положению и скромному чину. Это был Толь, генерал-квартирмейстер первой армии, любимец Барклая и главная пружина его предначертаний.

— А не кажется ли вашему сиятельству, — все еще продолжая улыбаться, пакостен, спросил он, — что, судя по приказу нынешнему, главнокомандующий твердо решил город Смоленск без боя оставить?

И Толь с удовольствием заглянул Кутайсову прямо в рот, безмолвно раскрывшийся от изумления.

Ермолов стоял возле Раевского. Как и всегда в минуты задумчивости, нахмуренное лицо его было прекрасно. Но вот усмешка скользнула по глазам и неприятно искажала его физиономию выражением искусственной веселости. Он наклонился к Раевскому и прошептал:

— А вель, пожалуй, пропал Смоленск, Николай Николаич. Коли взялся «квакер» на бумаге угождать князю Петру Ивановичу, значит на деле пропал Смоленск!..

Двери кабинета распахнулись, и оба главнокомандующие вышли в залу. У Барклая был спокойный, деловито-будничный вид, у Багратиона — довольный, даже радостный. Князь Петр на виду у всех пожимал руку Михаила Богдановича.

— А теперь, любезный князь, — сказал Барклай, — прошу пожаловать со мной вместе в лагерь первой армии...

Глаза XIV

Провиантские магазины в Смоленске были полны муки. Но печеного хлеба и сухарей не хватало. Поэтому войсковые части принялись за выпечку и сушку. А за мукой в провиантские магазины отправлены были офицеры-приемщики. В число таких приемщиков попал и квартирмейстер сводной гренадерской дивизии первой армии, прапорщик Полчанинов. Это был белокурый юноша, высокий, келовкий, с круглым свежим лицом. Губы его то и дело складывались в лежкую, детскую улыбку, а упрямые кудри падали на лоб. И в эти минуты некрасивое лицо становилось на редкость привлекательным.

Целый год, после выпуска из корпуса, Полчанинов просидел в крестьянской хате, глядя в синюю даль степей и не спеша занимаясь обучением своего капральства. Между тем собственные его знания, приобретенные в корпусе, мало-помалу испарились. Алгебра и геометрия были первыми дезертирами. За ними последовали прочие части математики. По голова Полчанинова не пустела, — она только делалась похожей на разрозненную библиотеку, ключ от которой временно затерялся. Зато сердце его переполнялось чудесными чувствами, без названия и без слов для их выражения. Неуловимые настроения эти, пыльные и возвышенные, падали на прапорщика, теснились и волновались в нем, как туман на пустынных раскатах поля. И он с нетерпением ждал войны.

Наконец, она пришла, но не принесла того, о чем мечтал молодой офицер. С самого начала военных действий сводная гренадерская дивизия находилась в постоянном отступлении и до сих пор в глаза не видела врага. Полчанинов давно уже впал бы в отчаяние, если бы, к счастью, по должности дивизионного квартирмейстера, не было у него множество хлопот. Вставал он до света, отыскивал надежных проводников и сдавал их в головной полк. Потом сам отправлялся вперед выбрать позицию для привала, осматривал ее, дожидаясь жалоперов, расставлял их, встречал дивизию, размещал полки. А когда все успокаивалось на отдыхе, опять скакал вперед для выбора bivakov под ночлег. Не часто, очень не часто удавалось ему при этом перекусить на досуге. Выбрав место для ночлега, он делал кроки¹ расположения войск и мчался в штаб армии. Там сдавал кроки генерал-квар-

тирмейстеру и получал диспозицию для дивизии. На этом, часа в два ночи, кончался его день. Но, прежде чем заснуть, он непременно писал еще страничку, а то и несколько, в своем личном походном журнале.

Интендантство находилось по ту сторону Днестра, в предместье, за Молоховскими воротами, в довольно большом деревянном доме. И дом и площадь перед ним были заняты офицерами-приемщиками. Полчанинов с величайшим трудом протиснулся в горницу, где за столом сидел со своим присутствием генерал-интендант Капкрин¹, раздавая ассигновки и наряды. Со всех сторон, справа, слева и через головы, к нему тянулись руки с требованиями.

— Солдаты помирают с голоду!

— Лошадидохнут!

Лысоватый и близорукий Капкрин сердился, вставал с кресла, грозил уйти и закрыть присутствие. Но снова садился. И каша с каждой минутой становилась все гуще. Он таскоро прочитывал требования, хватал перо и подписывал: «Отпустить половину», приговаривая:

— Идите от меня теперь прочь, батюшка!

Огромный гусарский ротмистр в длинных усах с особенной настойчивостью осаждал генерал-интенданта. Капкрин сказал ему:

— Позвольте! Да вы, батюшка, кажется, уже раз получили!

Гусар с яростью ударил кулаком по столу. Хриплый бас его загредел на всю горницу. Как видно, он был порядочно наметан в продажах такого рода, потому что Капкрин, оглушенный его ревом, а может быть, и убежденный доказательствами, махнул рукой и послушно подписал вторичную ассигновку. Но гусар не унялся. Его знания по провиантской части были удивительны. Он с точностью высчитывал, сколько теряется хлеба, когда режут корочки из сухарей, сколько пропадает от трения сухарей при перевозках.

— Поймите! — гредел он. — Всего выгорит печь сухарей прямо из теста! Бурсаками!

Потом обернулся к офицерам, среди которых был и Полчанинов, вытащил из кармана несколько пригорней вяземских пряников и швырнул на стол.

— А согласитесь, господа, что много есть на свете подлопов и мошенничков!

При этом так посмотрел кругом, что кое у кого мурашки побежали между лопатками. «Ах, молодец», — восхищенно подумал Полчанинов и спросил соседа, артиллерийского поручика в попошенном и залатанном мундире:

¹ Е. Ф. Капкрин — впоследствии знаменитый министр финансов.

¹ Топографический набросок местности.

— Не знаете, кто это?

Артиллерист усмехнулся.

— Это барон Фелич, известный лихостью своей офицер... В деле хватает шку и скачет во фланкеры. Готов разделить с приятелем последнее добро, но не прочь за картами опрошить его же карманы до дна. Человек веселый. И дерзкий... Храбр, умен... А служба у него странная.

— Чем же? — робко полюбопытствовал Полчанинов и оглянулся на Фелича, ожидая услышать нечто необыкновенное.

Наружность ротмистра соответствовала рекомендации. В угрюмых глазах его таились мутные и темные чувства. Следы страстей, когда-то обуревавших этого человека, теперь приглушенных, но отнюдь еще не погасших, лежали на его физиономии мрачной печатью.

— Чем? Видите ли, — отвечал поручик, — Фелич — неприменный участник всех распри между военными. Сперва он спорит их, потом выступает в роли примирителя, но с обязательным расчетом на то, что дело кончится поединком. А когда доходит до вызова, с удовольствием предлагает себя в секунданты. Оттого многим кажется он опасным человеком. Еще опасней его дерзкие проделки за картами. За одну из них угодил он в солдаты. На штурме Базарджика в Турции снова за службу эпизоды. Затем года три находился под следствием и, не случись войны, наверно, опять был бы куда-нибудь упрятан. Он суров, мстителен, по службе — зверь. Вместе с тем — гостеприимен, охотно сорят деньгами и готов на мелкие одолжения. Одни боятся, другие любят Фелича...

— Откуда вы его так хорошо знаете? — с завистью спросил Полчанинов.

Поручик внимательно поглядывал на юношу.

— Уж не хотите ли, чтобы я свел вас с ним? Могу. Но ведь и мы еще не знакомы. Я — Травин. Так — хотите?

— Очень! — воскликнул Полчанинов, радостно зарумяниваясь.

Травину нравился этот мальчишка. Хорошо быть наивным и свежим, как он! Бю бы поверил, что много лет назад и сам Травин был таким же. Давно это было, — пышный барский дом... привольная, широкая жизнь... тароватый отец, — чистая Москва, стихотворец, и сплетник, и светский любезник... Вот на длинном столе между громадными подсвечниками сверкают снег скатерти и лед хрустала... Миндальный пирог с сахарным амуром посередине, и бочонок с виноградом, и смеющиеся шумные гости... Сон! Ничего не осталось! Стерлись светлые буквы первых страниц прекрасной жизни. Дальше — разорение отца, аукционы, служба проломам с вечной нуждой. Наконец, — приятельство с Феличем, страш-

ный случай за картами, солдатская лямка в Турции, годами страданий добытые эпизоды и этот протертый и залатанный мундир...

— Сведите меня с ним, поручик, — просил Полчанинов, — я очень хочу!

Травин молчал и смотрел в окно. Город, река, сады пыляли мимо, утопая в красной лучине заката. От врезных времен у поручика сохранилось к солнцу чувство какого-то боготворения. И всегда на вечерней заре бывал он невозможно печален. Хорошо бы с близким другом гулять сейчас по лесу! Нет, он все-таки не Фелич! Он преодолел в себе Фелича. Зачем же наводить на эти страшные испытания легковерного мальчишка, стоявшего рядом? Травин быстро взял Полчанинова за обе руки.

— Хотите? Не надо! Не надо, чтобы у вас было что-нибудь общее с бароном Феличем. Я не сведу вас. И не советую печатать знакомства с этим человеком.

— Да почему же?

— Вы видели, как он получил сейчас деньги по ассигновке? Он обманул Казарина и положил их в карман. Фелич — бесчестный человек. Его бог — деньги, проклятые деньги, которые превращают бездельников в мудрецов, заставляют прыгать парализованных, говорить немых, преступникам дарят жизнь и убивают неповинных. Нет гадости, какой не сделал бы Фелич, чтобы добыть сотню червонцев, а завтра выбросить их за окно. Понимаете ли, куда это может завести?

Травин говорил громко, не стесняясь. Вероятно, кое-что донеслось и до Фелича. Не крайней мере, Полчанинов с замраженным сердцем поймал на себе грозный взгляд страшного гусара. Травин заметил это, улыбнулся и крикнул Феличу:

— Послушай, бедуйка, а ты, я вижу, все вспоминаешь прусских офицеров, которых пристрелил на поединках в восьмьсот седьмом году?

Барон закрутил усы и нагнул на ухо кивер.

— Что-то не пойму, о чем ты толкуешь. братец, — отвечал он с невыразимым хладнокровием, — да мало ли что случается в жизни? — Проговорив это, он отвернулся и замурыкал хриплым басом:

Ах, скучно мне
На чуждой стороне...

* * *

Солнце еще не зашло, но вечер уже ложился на землю длинными сизыми телями. Выдача нарядов и ассигновок прекратилась. Приемщики толпились на лужайке перед домом интендантства, оживленно разговаривая. У них были возбужденные, красивые лица и

блестящие глаза. Голоса звучали громко и весело. Вот оно — счастье, на которое трудно, почти невозможно было рассчитывать. Армии соединились! Конец тягостной, осточертевшей ретраде! Здесь были офицеры обеих армий. Но чувство неподеленной радости слило все возгласы в общий дружный хор. И Полчанинов вместе с другими тоже восклицал и выкрикивал что-то, с наслаждением и болью ощущая в груди горячий и тугой комок восторженных слез. Как и большинство офицеров первой армии, он не любил Барклая. Зато еще на корпусной скамейке его героем, первым и единственным, стоявшим неизмеримо выше всех плутарховых мужей древней славы, был Багратион. Вот за кого кипел бы он на смерть без минуты раздумья! Слава богу! Багратион будет шевелить, толкать, тащить за собой Барклая...

— Ведь не пойдем уж мы теперь от Смоленска? — спрашивал Полчанинов Травни. — Не пойдем? Багратион не позволит? Не так ли?

Травни пожал плечами.

— Намели такой же вопрос задал я сыну генерала Раевского, Александру...

— Что под Салтановской с отцом и братом в атаку ходил?

— Да. И тем экаменит стал по всей России. Ему легче правду знать, постоянно при мне обращаюсь...

— Что же сказали вам Раевский?

— Ничего. Дал мне лишь копию с письма одного — о Багратионе. Досталось оно ему от убитого княжеского адъютанта. Он снимает с него копии и раздает их знакомцам, полагая через то надежды в войсках поднять. Расчет, кажется, безошибочный. А впрочем... Если хотите, Полчанинов, я дам вам свою копию...

— Дайте! — взмолился пряторщик. — Голубчик мой, Травни, милый, дайте!

Между тем не одни лишь эти два офицера толковали о письме Батталя. Очевидно, Александр Раевский и впрямь усердствовал. Уже у многих в руках виднелись листы бумаги, написанные его мелким и ровным почерком. Вдруг наступила минута, когда о письме заговорили все разом. Могучий голос Фелича гремел над толпой.

— Я никогда не краду, равнодушен к славе и не горд, — следственно, лишен трех важнейших радостей в жизни. Зато благосклонная судьба вознаградила меня радостью, с которой никакая иная сравниться не может. Два раза ходил я в походы под Багратионом, ныне — в третий раз. Вот мое счастье, господа. Когда молния ударит в вершины гор, она разбивается, не нанося им вреда. Такова непоколебимость Багратиона. Орлята на хво-

сте могучего отца парят под облаками. Это — мы! Он — князь, я — барон...

Травни зло усмехнулся.

— По обыкновению своему, бедухи зарпортовался. Надобно привести его в чувство!

— Но не из гордости о том сказал я, — нет! Я знаю: c'est ne pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence! Багратион рожден в порфире победоносца! Эй, Травни! — неожиданно обернулся он к поручику. — Не смей держать руки в карманах, когда я говорю с тобой!

Травни побледнел и засунул руки еще глубже в карманы своих стареньких панталон. Потом, глядя прямо в лицо Феличу, медленно произнес:

— Для тебя безопасней, барон, когда мои руки спрятаны!

Ротмистр поперхнулся. Но через минуту уже снова гремел:

— Полтораста тысяч отборных солдат, казовые пачки... Во главе их — лев, поклявшийся умереть... Кто устоит, господа?

Полчанинов слушал все это, и земля уныла вала у него из-под ног. Лица, мундиры, Травни, Фелич — все это мреяло перед его глазами, как мираж, зрелилось, как пыльный сон. Он чувствовал всем существом: или надо сейчас сделать что-нибудь необычайное, или — пропасть, сплунуть, исчезнуть, растворяясь в жестоком счастье этой прекрасной минуты. Внезапно отстранив рукой Фелича, он выбежал вперед и прокричал звонким и чистым, как у ребенка или девушки, голосом:

О, как велик Наполеон,
Могуч и тверд и храбр во брань;
Но дрогнул, лишь уставил длани
К нему с штыком Багратион...

Всем были известны, но не всем памятливы эти старые державинские стихи. Эх-ких вихрем прощеслось по лужайке.

— Ура Багратиону! Ура! Ур-ра!

Кто-то обнимал Полчанинова. Его целовали, и он целовал. Фелич крепко держал его за рукав.

— Дитя! Ты уже знаешь, что есть воинская слава... Дай свой череп раскроить или чужой разнеси в честь родины — вот слава! Ты рожден для нее, как и я. Кстати: что вам болтал сегодня обо мне Травни? Пр-роклетье! Он мне ответит за это. А впрочем чорт с ним! Я стал мягок, как губка. И жажду одного — влаги!

— Постепенно он все прочней и прочней завладевал Полчаниновым.

¹ Одна лишь доблесть, а не происхождение, различает людей (франц.).

— Слушайте, юный дружок мой! Пей — умрешь, не пей — умрешь, так уж лучше пить!

Ей-ей, не русский воин тот.
Кто пушшем сил своих не мерит!
Он и в атаках отстаёт,
Он и на штурмах камергерит...

Полчанинов, вспрыснем дружбу! Господа, приглашаю вас «протащить»! ¹... Прому! Прому! Я плачу, господа! Пожалуйте! За дружбу! За Багратнона!

Глава XV

С раннего утра 22 июля солнце ярко пылало на безоблачном небе, и смоленские улицы кипели многолюдьем. В окнах и на балконах нестрелы парадные костюмы горожан. И поэтому дома походили на огромные горшки с цветами. Два живых потока с разных сторон вливались в город, наполняя его музыкой, грохотом барабанов и свистом флейт. По случаю царского ² дня войска шли в отличенной до блеска парадной амуниции. Главнокомандующие с пышными свитами ехали навстречу друг другу на красивых, стройных конях. Но под холодной рукой сумрачного, бледного и спокойного Барклая конь медленно и строго перебирал тонкими ногами. А под Багратноном играл и плясал, выделывая фокусные мажельные вольты. Жители Смоленска ладно смотрели на главнокомандующих, на маршировавшие за ними войска и дивились.

Полки первой армии не могли скрыть утомления долгой ретирადой. В их печальных рядах даже генералы имели какой-то жалкий и растерянный вид. Ясно, — Барклаю не умел переломить этот дух упадка, вдохнуть в усталые сердца бодрость и надежду на успех... Совсем не так выглядели войска Багратнона. Здесь на всех лицах была напцсана гордость дальним и трудным походом. «Мы сделали много. Сможем и еще больше сделать!» Казалось, что вторая армия не отступала от Немана до Днепра, а непрерывно шла вперед, тесня и сбивая бежавшего прочь из России врага. Жители Смоленска дивились...

Войска выстроились вдоль главных улиц. Мушкетеры сверкали, как весенний цвет на деревьях. Пушки жарко горели. Барабаны забили «поход». Знамена зашелестели тяжелыми складками старого шелка. Грянула музыка, и оглушительное «ура!» взлетело над городом. Статный ездок в генеральском мушкетере неся плавным галопом на гнедой английской лошади. Чепрак под его седлом был заант зо-

¹ Выпить.

² Это был день имении императрицы Марии Федоровны, матери Александра I.

лотом. Множество алмазных звезд и крестов спяли на широкой груди. Высокий белый султан волновался над шляпой, с поля прикрывавшей черные кудри.

— Здравствуйте, други! Визку, самого черта с позиции спихнуть — безделка для вас!

— Радъ стараться, отец наш! — громом катилось по рядам.

— Эка красота господня! Да рази совла хает с нами Бонапартий? Цикולי!

Эти слова произнес крестьянин из деревни Росасны, стоявший в толпе пароха о бок с толстой купчихой, похожей на большой мучной лабаз. Одет был этот крестьянин в серое полукафтанье и белые порты. Его сосед в земляк, постарше, в армяке дикого сукна и черных кашмировых штанах, горячо поддакнул:

— Где там! Что уж!

И для пушей убедительности звонко прицокнул языком.

— Может, числом-то Бонапартий и поуцрямей панпх оказывает, а только хоробростью, верно, сдает, — сказал третий росаснинский крестьянин, в ямской поярковой шляпе с клеветной кисточкой позади, — душа влягает. Когда летось кум-ат, Сватиков, Агей Захарыч, домой на побывку приходит он объяснял: «Русский воин тем много забьет, что больше к отечеству своему пристрастен. И живъи ему самая в полушку, коли Расея от того забьзается». А кум-ат близ двадцати годов солдатствует, зря нѣ сбрешет...

И трое односельцев из Росасны, — они вчера приехали в город по подводным дорожкам да и застряли здесь, — согласно закивали головами.

— Смир-рно! Под знамя! На кр-рау!

Команда эта разнеслась по войскам, постоенная десятком, а может быть, и сотни раз во всех концах строя. Стальной блеск пштыков взметнулся кверху и застыл в воздухе, как молния, внезапно остановленная на полете. Разноцветные полотнища знамен там и сям заколыхались над пштыками. Росаснинцы стояли певдалеке от того места, где белое знамя Смоленского пехотного полка, — того самого, который так славно бился с французами две недели назад у Салтановской пштыны, — тихо плескалось на высоком древе. Его крепко держал старый, болезненного вида солдат с перевязанной челостью.

— Ребятунки! — воскликнул росаснинец в белых портах, — да ведь сам оп это, Сватиков, Агей Захарыч, лежок на помине... Ей-пра!

— С места не сойти, — радостно подтвердила ямская шляпа, — Никола-угодник! Как же его свело — скрючило!

После Салтаповского боя, когда рядовой Сватиков спас полковое знамя ценой разбитой челюсти, он уже и не выпускал его из рук. И хоть не был подпоручником, но, как георгиевский кавалер, отличный по верности своей солдатскому долгу, особым приказом генерала Раевского назначен был за подпоручника в знаменный взвод. И, действительно, это он стоял сейчас перед глазами изумленных земляков, строго нахмутив седые брови и прямо устремив неподвижный взгляд...

* * *

Парад кончился. Войска стояли вольно. Главнокомандующие сошли с коней и, окруженные свитами, медленно обходили сломавшиеся солдатские ряды. С деревянных тротуарных мостков, со дворов и палисадников белоголовые старики и женщины с малолетними детьми на руках рвались к Багратиону и кричали:

— Ваше сиятельство! Спаси Смоленск! Не отдавай!

И Багратион, поднимая руку, словно для присяги, ласково отвечал им:

— Не отдам, други! Честь моя,—не отдам!

Наслаждаясь близостью своего любимца, солдаты теснились к князю со всех сторон. Сперва Олферьев отодвигал их, а потом перестал.

— Алеша! — сказал ему Багратион. — Близки-ка, душа, маркитантов. Для пули нужен верный глаз. Штык требует силы. А солдатскому желудку без каши да хлеба долго быть нельзя...

— Ура, отец наш! — закричали войска.

Добрая дюжина шустрых военных торговцев вынырнула словно из-под земли со своими телесками. Князь Петр Павлович вынул из большого сафьянного кошелька, который Олферьев держал наготове, пригоршню звонких серебряных рублей и вынул маркитантам. Затем показал солдатам на телески, заваленные булками, кределями, румяными кашачами, сайками, пряниками и прочим полюбимым товаром.

— Ваше! Ешьте на здоровье, други!

Солдаты кинулись на угощенье. Рубли летели, поблескивая.

— Ура! Здрав будь, отец!

Барклай смотрел на эту сцену и с величайшим трудом давил в себе неудовольствие. Глупцы! Брапят его за гордость и черную злобность, — пусть! Может быть, и плохо, что он не умеет, подобно Багратиону, воздействовать своей личностью на других в желательном для себя смысле. Но зато ведь и на него самого повлиять со стороны невозможно. Скоро, очень скоро Багратион в

этом убедится. Пет, ни фиглярить, ни расточительствовать он не способен! Он не богат, как и Багратион. А бедные люди обязаны быть бережливыми и не бросать дорогих денег на ветер в погоне за дешевой парадностью своих имен. Разве Барклай не забывается о солдатах? Разве они не сыты? Или — в лохмотьях? Ничуть не бывало! Но он делает это совсем иначе, чем Багратион. Он правильнее делает это.

Михаил Богданович плотно сжал губы и, прихрамывая, зашагал к первой бригаде сводной гренадерской дивизии. Он уже добрался до карабинерной¹ роты ближайшего полка, когда ухо его отчетливо уловило, едкое солдатское слово, неосторожно вырвавшееся у какого-то гренадера.

— «Болтай да и только» ползет!..

Он знал, что его так называют в войсках. Но как бороться с этим и следует ли бороться, — не знал. И потому, проходя мимо дерзкого, отвернулся, чтобы не видеть его лица. А между тем правофланговый карабинер Трегуляев заслуживал внимания. Он считался в своем полку самым удалым, неправым и видным солдатом. Был высок ростом, силен и ловок. В огромных усах и бакенгах его крепко пробивалась седина. Но на смуглом лице и в блестящих черных глазах постоянно сияла такая решительная веселость, будто Трегуляев хотел сказать: «Эх, нечего терять солдату! Что было, того не воротить, а что будет — бог вест!» Богда утром полк вступал в город, веселый великан этот шел впереди с гремучими ложками, красиво убранными в красные и зеленые лакутья солдатского сукла, и рассыпался бесом в песнях и прибаутках так раздольно, что, казалось, вот-вот пройдет по голове. Пожалуй, во всей первой армии не отыскалось бы теперь другого солдата с таким несгибаемым духом бейкого балагурства. Главнокомандующий прошел, а Трегуляев продолжал насмешничать.

— Смольяно — польская кость, да гляди, как русским мясом обросли. — говорил он. — только у нашего Власа — ни костей, ни мяса!

Намек отпоялся к огромному, пёскладному и худому рекруту-белоруссу. Бругом засмеялись, но рекрут не отозвался на шутку, — даже не посмотрел на шутника.

— Эге! — балагурил Трегуляев. — Не отчаивайся, братец Старыпчук! Так то не раз бывало: сеял леп у семи Олси, да как Стали брат — гренадер и родился. Еще какой! Старыпчук пробормотал что-то невнятное.

¹ Стрелковые (егерские) роты в гренадерских полках назывались карабинерными.

— Полно мычать, что бирюлина корова! Чего запечалился? Аль барапа в зыбке закачал?

И Трегуляев с неожиданной после издевок лаской потренил угрюмого верзилу по плечу.

— Спой, Максимыч!— попросил кто-то.

— Спеть? Отчего же, коли сила-возможность есть!

Он сейчас же стал в позу, подпер двумя пальцами острый кадык, и песня будто сама вырвалась из него наружу. Голос у Трегуляева был сильный и такой бархатный, что с первой же ноты хватал за душу. Да и мелодия его песни, простая, по-русски глубокая, и слова, звонкие, как колокольчики,— все это складывалось так чисто и красиво, что в карабинерной роте сразу затихли разговоры.

На утренней на заре,
На солнечном восходе
Распрощались два дружка
В пустом огороде.
Распрощались два дружка
На вечные веки...

Гренадеры заслушались, и, наверно, не один из них думал: «Ну, и насадили всласть, леший его возьми!»...

Разошлись навсегда
За моря и реки...

Голос Трегуляева разливался все вольней и вольней. И вдруг оборвался. Оба главнокомандующие со своими блестящими свитами стояли перед певцом.

— Славно, душа!— сказал Багратион.— Давно не слыхивал я, чтобы так ладно пел солдат. Держи червонец!

Заферьев протянул жарко горевший золотой кружочек. Но еще жарче были слезы, вышедшие на глаза Трегуляева.

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство! Не по заслуге награждаете!

— Э, душа! В солдатской калитке¹ да в казачьем гаманце мусор этот никогда не лежничай!

Барклай стоял, отвернувшись. Сколько лет жил он бок о бок с солдатом! Редкий русский генерал так бережно и заботливо относился к солдату, так сочувственно и вдумчиво викивал в его бесхитростные пужды, ценил и любил его, как Барклай. Доказательств тому было множество, и их знала армия. Одно только всегда было непонятно Михаилу Богдановичу, непонятно и лишено прелести: солдатская песня. Он не запрещал петь в войсках. Раз поют — значит,

им это пужно. Но зато ни разу не поддак очарованию песни, не отозвался на нее сердечной струной...

— Не так ли, Михайло Богданыч?— спросил Багратион.

И не дождался ответа. Зоркий взгляд его остановился на фельдфебеле карабинерной роты. Обшитый золотыми шевронами и обвешанный медалями, старик-Голнаф застыл, вытянувшись с рукой у кивера. На круглой физиономии его, такого густо-малынового цвета, как будто он только что спорожнил баклажку, из-под густых, бровей ярко сверкали совиные глаза. Хм!

— А не ты ли, душа, под Аустерлицем из французского плена роту увел? Зовут же тебя... Дай бог память...

С верхней губы фельдфебеля посыпался табак. Круглые глаза его страшно запрыгали. Грозный бас вырвался из могучей груди:

— Брезгун, ваше сиятельство!

— Точно! Здравствуй, старый товарищ! Славнейшего в армии русской ветерана рекомендую, Михайло Богданыч!

Барклай кивнул головой. Он тоже помнил этого солдата. Брезгун гремил Очаков с Петемкиным, ходил с Румицовым на Кагул, брал Измаил с Суворовым, сражался при Треббни и Нови, маршировал через Альпы, и немало богатырской крови его пролилось на австрийскую и прусскую землю под Аустерлицем и Прейсш-Эйлау. Помнил его Барклай. Но виду не подавал и ничего не сказал. В словах ли дело? Только еще раз кивнул головой и медленно заковылял прочь...

Глава XVI

Уже смеркалось, а оркестры все еще гремели, и хоры песенников заливались по всему лагерю. Солдатам было отпущено по две чарки вина. Поэтому веселья было хоть отбавляй. В палатке фельдфебеля Брезгуна горел огонь. Сам он сидел посередине на чурбане, а кругом разместились гости Трегуляева, которых он подчевал сегодня на счет поставленного ребром дарового княжеского червонца. Брезгун важно и чинно открыл праздник: снял с лысой головы высоченный кивер, вынул из него маленький медный чайничек, налил в него воды и поставил на таганец. Потом добыл из кивера же стакан, мешочек с сахаром и другой — с чаем. Когда чай настоялся, наполнил стакан и перекрестился. А затем принялся пить, словно дома, торжественно выпуская синие кольца дыма из коротенького чубучка походвей трубки.

— Запасливый-то лучше богатого, — усмехнулся он, с любознательством приглядыва-

¹ Кошель.

ваясь к расставленным на ящике крупеникам, студиям, говяжьему боку и прочим произведениям походной маркитантскойстряпни.

— Иван Иваныч! — просил Трегуляев. — Сделайте милость! Отпейте беленького! Без вас и вчинать не охота!

— Не про меня, братец, писано! Я об ней уж сколько годов и думать не помню. Пушилку — дело другое. Бабьих слезок!

Несмотря на эти жесткие слова, он с явным удовольствием наблюдал, как гости в унтер-офицерских нашивках, закрыв глаза, уже опрокидывали манерку за манеркой в свои широкие глотки. Впрочем, скоро выяснилось, что и «бабьи слезки» мало чем уступали крепчайшему маркитантскому чистопу.

— Возьми, братец, стакан, положи сахарцу, плюнь из чайника капельки две, да белой добавь до края, — благодушно учил Трегуляев фельдфебель, — вот и будет мой пушик...

Трегуляев подносил стакан за стаканом со всем уважением к чиновному достоинству Ивана Иваныча. Да и себя не забывал. Язык его развязывался с каждой минутой.

— Единожды было — солдат в ад попал, — рассказывал он. — Как быть? Осмотрелся служивый. А был непремах. Набил в стегу кольес, развесил амуницию, закурил трубочку и спит. Черти со всех боков лезут. А он, знай, поплевывает да покрикивает: «Близко не подходи! Али не видишь, — казенное добро висит!...»

— Ах, жук его заешь! — восхищались слушатели. — Казенное добро!.. Висит!..

— Висит!.. Спужались было черти, а подуматься им охота смертная. Как быть? Офицер подлез к барабану да и вдарил «поход». Солдату то и надо было. Услышал «поход», мешком добро забрал да из ада с левой ноги церемониальным шагом марш — прочь!..

— Ах, муха его забодай! Ха-ха-ха! Самою, слышь, чорта перебил!

Трегуляев засунул в рот огромный кусок шпрога с луком.

— Ведь солдату — что? Надо понять! У солдата голова, — что под дождичком трава. Сама растет. Лег — свернулся, встал — встряхнулся. И все — в лад! Так и живем, засуча рукава, — сыты крупницей, пьяны волиней, шилом бреемся, дымом греемся. Лихо терпеть, а стерпится, так и слюбится...

Приговоркам Трегуляева не было конца. Но по числу осушенных им манерок приближался уже он постепенно к тому критическому состоянию духа, когда все, что ни

есть на душе, как-то само собой начинает ползти с языка.

— Единожды было — хватил и я шильцем патоки, — ой, не сладко!

И пошто было огоряд городить,
И пошто было канусу садить!..

— Ты, Максимыч, расскажи, за что в арестантские-то попал? — спросил его кто-то.

Трегуляев расправил неверной рукой бакелы и пошатнулся.

— За самое, что ни есть, пустое попал, — отвечал он, — мужик темячку себе зашиб, а при нем целковый сыскался...

— Обо что ж он темем-то?

— Будто об мой безмен¹...

— За что ж ты его?

— А зачем кричал? Я остерегал: целковый, мол, сюда, подавай, да не кричи, — плохо будет. Так пет тебе, — не послушал. Ну, п...

Эта история всем была давно известна, хотя рассказывал ее Трегуляев редко и лишь при самых чрезвычайных обстоятельствах, в роде тех, что были сегодня. Из-за нее-то именно не был он до сей поры и унтер-офицером.

— А бригадным у нас тогда «Болтай да и только» состоял. И закатал он меня в арестантские роты. По подозрению, значат...

Круглые глаза Брезгуна сердито выпучились.

— Эй! В присутствии моем — ни-ни! Что вздумал! «Болтай да и только»... А от царя главное командование имеет! Коли он не главнокомандующий, так и я не фельдфебель. А уж ежели я не фельдфебель, так и царь — не царь, и бога нет. Вишь ты, куда загнул! Аль не при тебе давеча князь Петр Иваныч со мной? Первый я в армии российской фельдфебель! Не допущу!

Иван Иваныч расхорохорился, разбушеваясь и даже хватил было багровой своей палатки по ящику с яствами.

— Не нам их судить. Нас судить дети — внуки будут. Пет человека без вины. А по времени подошло, когда каждый оправдаться может, кровью черноту смыв. За жертву кровную, от верности и любви принесенную, родина прощает. Разумейте, языцы!

Он грузно повернулся в темный уголок палатки, где в угрюмой неподвижности робко замер на корточках долговязый Старыччук, и несколько минут молча смотрел на него. Потом поманил пальцем.

— Вылезай на свет, молодец! Слышал слова мои? Полно, братец, стыдиться. Под-

¹ Кулак.

неся ему, Трегуляев! Боль всегда врача ищет. Товарищество — лекарь самый полезный. Госпожица баронета Вилье¹ за пояс заткнет. Эх, молода, молода, — в Саксонии не была! На печи лежа рожь молотить, — не бывает так то! Француз пришел, и податься тебе боле некуда, — грудью на него подавай. Тем и вину, свою заслужишь. Избудешь вину, а там и пойдет у тебя, гренадер Старыччук, все по инсаному, как по тесаному. Вот-с!

Старыччук слушал речь фельдфебеля стоя, со стаканом в дрожавшей руке. При чрезвычайно высоком росте рекрута приходилось ему круто сгибаться под низким верхом палатки. Но он и не замечал этого неудобства. Ах, как мало бывает надо для того, чтобы человек, находящийся в беде, почувствовал себя счастливым! Старыччук опрокинул стакан в рот. Кровь брызнула ему в лицо. На бледно-желтых, щеках заплыл румянец. И, вместе с этой горячей кровью, доброе слово Брезгуна вошло в его сердце, как неожиданная радость, обещавшая в будущем свет и тепло. Он крепко, по-мужичьи, крякнул, вытер губы и поклонился, улыбаясь. Все смотрели на него.

— Эх ты, Влас, — воскликнул Трегуляев, — один таков у нас! Рожай сокол, а умом ветерев. Плюнуть брось! Солдатская тоска в чем? Хлеба ни куска — вот солдатская тоска. А ты и сыт. И друзья у тебя пахотятся. Друзья прямые, что братья родные. Уж известно, что для друга и хвост пабок. Только не люби, Влас, друга-потаковщика, — люби встрепника. Плюнуть же — зачем?

Плакала, рыдала,
Слозы утирала
Русою косою...

Эко дело! Да и все-то дело твое в полчаса состоит...

Трегуляев говорил это, а сам думал: «Матерно молоко на губах не обсохло... Какого-то ему под палками быть? Нани гренадеры промаху не дают, — отстегают, что и до новых венников не забудешь»... И рука его совала Старыччуку пышный кус свежего نانушичка. Так уж, видно, устроен русский человек: насмешка и шутка с языка летят, а доброе чувство из нутра выбивается... Однако Трегуляев был неправ, когда утверждал, что все дело Старыччука «в полчаса состоит». Заключалось оно вот в чем.

Еще по весне взяли Власа из глухой полесской деревни, где он родился и вырос, и увезли в город. Здесь, при разборе рекрут, в суматохе, среди непоптанной торопливости

пачальников, решавших его судьбу, услышал он с ужасом жестокий приговор:

— Славный будет гренадер!

Но успеха Старыччук оглянуться, как очутился в певедомом, странном мире. Он вдруг перестал быть отдельным, самостоятельным от других людей, человеком. Его поглотило огромное тысячеголовое существо, усатое, грубое, одетое в железо и затянутое в ремни. Другими словами, он поступил в полк. Это волшебное превращение произошло почти мгновенно. Но коснулось оно только наружности рекрута, ничуть не затронув его души.

Под конец великого поста привезли Старыччука в роту. Время было свободное, и фронт не успел занять своей мудростью все его мысли и способности. Сердце и память Старыччука были не в полку и не в роте — они оставались в родной деревне. Бедняга часами сидел на месте, глядя перед собой. Непзвестно, о чем он думал. Солнце ходило по небу... Ветер голялся над полем... Иродолговатое, изжелта-наливное лицо Старыччука не выражало никаких мыслей. Голубые глаза казались пустыми, точно были сделаны из стекла. Может быть, он даже и не видел того, на что смотрел, — ни солнца, ни ржаных полей. Может быть, вовсе даже и не сам он сидел, глядя перед собой, а только туго затянутое в шинель громадное тело его, — а самого Старыччука тут вовсе и не было. Фельдфебель Брезгун знал, что это такое. Рекрут был тяжело болен тоской по родным местам и любимым людям. Такнет и бегут из полков домой лесными дорогами и окольными стежками.

— Славный будет гренадер! — сказали про Старыччука при разборе рекрут.

И Брезгун крепко присматривал за ним, желая спасти от неизбежного побега, поимки и шпицрутенов.

Много дней Старыччук не отрывал глаз от полей, обрызганных блеском весеннего солнца. За полями — лес. А там, в дуплах высоких деревьев, — дикие пчелы. Открой рот и лови крупные, сладкие, янтарные капли, словно медведь-медолиз. Пчелы любят затишье и привольные разлеты. А где тише и привольнее, как не в тамошних местах? Оттого и окружены там лесные деревни не только садами, но еще и обязательно псеками. Точно серебряная, поблескивает река между кленами, ясенем и ельмою. Хорошо шагать да шагать вдоль этой речки, выбираясь из темных лесных чащоб. Потом — войти в светлую, чисто обеленную хату и присесть около чернбровой Дони, сговоренной невестушки. Эх, хорошо!

¹ Знаменитый военный хирург того времени.

Зорек и опытен был Брезгун, а не уследил. На страстной неделе Старыччук исчез из полка.

Вероятно, другой па его месте и добрел бы до дома. Надо было для этого иной раз ловко схорониться под кустом, или запасть в траве, или залечь невидимкой под грудой валежника, в развале бурелома. Но Старыччук не умел этого. Уж слишком был он велик ростом, широк в плечах и неповоротлив, чтобы при надобности белой вспрыгнуть на дерево или змеей заподти под колоду. Не для него, долговязого, было такое дело! Долго бродил он, голодный и робкий, далеко обходя деревни и обегая встречных людей. Летом его поймали и доставили в полк.

Начальство присудило бегуна к наказанию: двести ударов плещутенами должны были до мяса и костей распороть его спину. Назначен был уже и день, когда надлежало ему пройтись вдоль по зеленой улице. Но случилось так, что в этот самый день армия двинулась в поход. Наказание отложили. Да так и затянулась эта несчастная история до сегодняшнего дня. Между тем за последнее время новые чудесные превращения совершились в Старыччуке. И не по наружности только. Словно кто вынул из него прежнюю тоску по дому, родной хате, отцу и матери, чернобровой Доне. Вынул и подменил яростной злобой и жестокой ненавистью к тем, кто заслужил все этой собой, — к французам. Рядом с этим загучим чувством жило еще и другое — горькое сознание запоздалой ненужности предстоящего наказания, позора и боли, которыми оно грозило ему. Уж теперь Старыччук не убежал бы! Вместе со своим полком теперь он стоял бы на месте до последнего вздоха, лишь бы выручить далекий дом и отца из-под власти, счастья Донию от глумления иноземных врагов.

Старыччук превратился в славного grenадера. И хотя сам не понимал, что с ним случилось, а еще менее мог бы рассказать об этом, но опытный и зоркий Брезгун опять-таки знал, что это такое. Он не шутя считал теперь Старыччука надежнейшим солдатом своей роты. Ошибки в том не было. Незвестно, что именно вывело бывшего бегуна из его обычного состояния упылой и молчаливой задумчивости, — выпитое вино, речь старого фельдфебеля, насмешки Трегулева или все это вместе, но только он неожиданно выпрямился и шагнул вперед.

— Аг, хвала папу богу, коли пан фить-фебель еще даст шаговку, подпьюкую!¹...

Он хотел было добавить: «Мне бы их под руку, нежитей-хранцев! Я бы им бид сотцо с горою накуражи!»¹ Но от волнения слова эти застряли у него где-то внутри. Зато огромный свинцовый кулачище с такой бешеной силой разрезал воздух, что палатка качнулась на сторону и погас огонь в Фонаре...

Глава XVII

Сначала голос Полчаншова дрожал и зомаялся. А потом зазвучал громко и звонко:

«Серебряная лошадка моя, — читал он, — стоит всего сто рублей, но вынослива и умна необычайно. Заботиться о том, чтобы она была сыта, у меня нет на то времени. И что же? Я делаю просто. Слезая с нее и пускаю на волю. Тогда она или щиплет траву, или забирается в какой-нибудь сарай с сеном, или, наконец, пристаёт к кавалерии, где солдаты, по привычному им жиролюбью, отсылают ей овса. Но, при всех этих проделках, никогда не упускает она из виду меня, своего хозяина. И стоит кому помыслить, чтобы увести ее, как она принимается отчаянно ржать и бить копытами, давая мне знать об опасности. Надо бы сесть на нее — она, бросив корм, подбегает и останавливается, как вкопанная. Спрыгну с седла, уйду за калитку или в избу — ложится у входа, как верная собака, да еще так осторожно ляжет, чтобы и седло не помялось, и стремя не угодило под бок. Выйду — она уже вскочила и отряхивается. Неутомимость любезной лошадки моей известна всей дивизии. Да и в главной армейской квартире — тоже. Grenадеры издали узнают меня по копы, и лица их оживляются: встреча со мной означает скорый привал. А сегодня Сестрица доставила мне несколько мпугт невыразимого счастья. Я скакал по лагерю с поручиком начальника дивизии, когда нос к носу налетел на князя Багратциона. Дух занялся во мне от радости при виде чудного моего героя. Не помню, как отдал я ему честь, но явственно помню знак его, ко мне обращенный. Князь приказывал остановиться и подлечь. Я исполнил, сам себя не помня.

— Конек твой не красен, — сказал он, улыбаясь так ласково, как лишь один и умеет, — но добр очень.

— Так точно, — отвечал я перессе, что па язык пришло, — так точно, ваше сиятельство!

— Вижу, — ты день и ночь па нем, душа... Но песу и узнаю тебя...

¹ Если господни фельдфебель еще даст манерку с вином, — скажу спасибо... (белорусск.).

¹ Я бы им сто бед с лишним грнчал! (белорусск.).

Боже! Багратион заметил и узнает меня... За что же, за что такое счастье?!»...

Полчанинов замолчал. Руки его целовкою мятли тетрадку дневника. Командир гренадерской бригады, полковник князь Григорий Матвеевич Каптакузен, быстро поднялся из-за стола, на котором вкусно дышала румяная кулебяка, приятно отдавала холодком льдистая ботвинья и заманчиво белел поросенок в сметане. Князь с жаром обнял прапорщика. Случалось уже не раз, что Полчанинов читал ему страницы из своего походного журнала, и полковник, слушая, умилялся до слез, имевших обыкновение ни с того, ни с сего вскипать на его черных, как сажа, глазах. Случалось, что и душили он при этом Полчанинова в объятиях. Но такие сцены всегда происходили один на один. А сегодня... В шатре Каптакузена, кроме него самого и Полчанинова, было много гостей, приглашенных князем на ужин. И какие гости! Вот генерал Ермолов, в сюртуке параспашку. Под сюртуком — пипензер, а из-под него виднеется расшитая цветными шелками русская рубаха. Как хорош был бы этот богатырь, кабы сбросил с себя и сюртук, и пипензер, да остался в русском наряде! Вот граф Бутайсов, — молодой красавец, каких можно встретить только на портретах Вандыша, с волнистою гривой темных волос над белым, открытым лбом. А вот и главный гость, давний друг и покровитель полковника Каптакузена, — Багратион. Ах, зачем затеял все это князь Григорий Матвеевич! И вызвал к себе Полчанинова, и велел читать вслух журнал...

За маленьким столиком, поближе ко входу, сидели адъютанты. Кос-кого из них Полчанинов знал в лицо и по имени, но не был знаком ни с одним. Бедному армейскому прилежнику не под парю эти блестящие гвардейцы, — ни любимый багратионов адъютант Олферьев, ни корнет конной гвардии князь Голицын, нагловатый малый, бесшабашный игрок и кутила, никогда, по слухам, не вылезавший из тысячных долгов и известный под прозвищем «принца Макаревича». Были и еще офицеры, по все, как на подбор, аристократы и богачи. С ними Полчанинов и заговорить не решился бы, а сейчас они поглядывали на него с завистью. Почему это? Ах, как странно! Полковник Каптакузен расправил огромные бакенбарды à la Брюссарте, такие черные, что цвет их переходил в синеву, и еще раз обнял Полчанинова.

— Какое, ваше сиятельство? — спросил он Багратиона. — Со временем, пожалуй, в Гомеры переиленные выйдет! А?

Вероятно, во всей русской армии не было человека добрее и простодушнее князя Григория Матвеевича. Лицо его, сохранившее еще благородную резкость южных черт, начинало уже слегка заплывать коричневатый жирком и постоянно улыбалось с радужной приветливостью. Он был из тех командиров весельчаков, которые умели одновременно и биться с каким-нибудь субалтерном в бане на барабане и диктовать адъютанту очередной приказ по бригаде. Зато и любил! его подчиненные! И не столько сам он, сколько они гордились тем, что прямыми предками его были византийские императоры и молдавские господа.

— Спасибо тебе, почтеннейший! — говорил Каптакузен Полчанинову. — Спасибо! Утешия! А мне честь, что в дивизии нашей сыскал я редкого этакого грамотея...

— Я не грамотей, — сказал Багратион. — Для меня писать — все равно, что в кандалах плясать. Но грамотный люблю. Пршное — за нами, а будущее им суждено. И за Россию рад бываю, когда нахожу таких. Довольно с нас чужих грамотеев. А особенно — немецких. Надобно своих иметь. Как немца ни корми, как его ни пересаживай, слово капуста, а он все в Берлин глядит...

— Ох, уж эти мне тевтоны! — улыбулся Ермолов. — В бане я с одним мылся. Ванщик над ним венником машет, а тевто вопит, что ему и от русских венников прохлады нет. А когда на него середь зими в городке одна собака папала, схватился за камень. Да на грех камень не поддавался, — примерз. «Ах, — вопит, — проклятая страна, где камни примерзают к земле, а собаки бегают на свободе!» Вот уж, и верно, что русскому здорово, то немцу — смерть!

— Не любят они ни России, ни русских! — с сердцем вымолвил Багратион. — Не годятся они нам ни в дядьки, ни в племянники. Коли нет у народа своих вождей, — нет у него и своей истории. В лучине забвенья тонут народные доблести. Дух замирает в тоске. И славным сородичам подражать — исчезает охота. История нет, коли нет для нее народных вершителей. А чтоб они были, надобно учиться. Оттого и люблю я грамотеев...

Он повел кругом блестящими глазами.

— Кто мой адъютанты? Кого при себе держу? Муратов, царство ему небесное, порядочный был русских стихов сочинитель. Олферьев, — об тебе, Алеша, речь! — что шпага, что перо в руке, — хорош без различья! И все — русские!

— Чтобы народ и армия любили чужое имя, — горячо проговорил Бутайсов, — надобно, по крайней мере, носителя имени тогда быть счастливым в своих действиях. Дер-

зость, смелость, удача — пародные божества. Перед алтарем их и я склопаю колени!

Ермолов взял его за руку.

— Знаешь ли, граф? Когда начинаешь ты политиковать, гляжу я на тебя и хочется мне крикнуть: «Ах, да и красив же ты, мил друг! Что за глаза! Что за нос!»...

Багратион засмеялся. Кутайсов, по простоте и горячности, не почувствовал дружеской шпильки. А Пючанинов подумал: «Ермолов! Как удивительна смесь добродушия и лукавства, разлитая во всем существе твоём! Как неотразимо привлекательна она и опасна!» Между тем Алексей Петрович уже пахнувши своей широкой лоб и с задумчивой искренности повторял:

— Дерзость, смелость — прекрасно. Был у нас Суворов, есть князь Багратион. По не след, граф, и того забывать, что скифы — Дария, а парфяне — римлян разили отступленьями.

Багратион живо повернулся на ящике, покрытом ковром.

— Кому доказываешь, тезка? Глуп, кто против ретрада всюду. В восемьсот шестом году Кутузов отступлением спас нас. Но грехи цена полководцу, который отступает, лишь бы не наступать. О том и говорим!

— Начальник гренадерской дивизии нашей такой именно, — сказал Каптакузен, — принц Карл¹ в бою — без упрека, а перед боем готов на край света бежать... Будут еще с ним хлопоты!

— Не дивись, князь, — с живостью отзывался Багратион, — все немцы одинаковы. За то и казнил их Суворов! А принц твой...

Пючанинов догадался: о нем забыл, потому и разговор сделался откровенным сверх меры. Он зажал свой походный дневник под локтем и поклонился. Но на выходе из шатра вздрогнул, остановленный князем Петром Ивановичем:

— Эй, душа, стой! Обожди!

Багратион встал, подошел к Пючанинову и ласково положил руку на его скромный эпюлет с одинокой звездочкой и полковым номером.

— От тебя, душа, разговор наш пошел, — надобно, чтоб к тебе и вернулся. Иначе ни мое слово. Будешь полковником — славно. Генералом — еще славней. Но, ежели дашь произвесть себя в немцы, — пропал ты для России. И дружба моя с тобой — врозь. Не дядя? Или с богом, душа!

¹ И начальником своей гренадерской дивизии Первой армии был родной сын императора Александра, принц Карл Мекленбургский.

* * *

— Фельдфебеля Брезгуна к бригадному! Не к полковому командиру, а к самому бригадному... На этом виззанном окрике польского прервалось мудрое председательствование Ивана Ивановича на трегуляеском торжестве. И вот, тщательно обдержившись, оправившись и сколь возможно туго затянув на могучей груди белые амуничные ремни, Брезгун торопко переступил через кантакузеновского шатра. От множества гревших в нем огней шатер этот светился, как розовый китайский фонарь. Но Брезгун никак не думал столкнуться за его добротной полотняной полойкой лицом к лицу с таким генеральским сборищем. Сердце фельдфебеля забилося, как поросенок в мелке. Винный пар выбился холодным потом из толстой шеп. Малиновая физиономия носилела, будто под напором Копдратия, который уже два павещал старика. Бакенбарды бригадного развевались перед самым носом Ивана Ивановича. Но голос его почему-то доносился издали. Он говорил Багратиону:

— А вот мы сейчас и узнаем, ваше сиятельство, что это за солдат... Сейчас и узнаем... Здравствуй, Брезгун!

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — Да не реви так, уродина! Я же не глух! Э-э-э... Что это? Кажись, ты приложился?

— Ничтожную самую малость, ваше сиятельство!

— Увидим! Какой это бегун у тебя в роте завелся?

— Рекрут Старыпчук, ваше сиятельство!

— Рекрут... Значит, впервой бежал?

— Так точно!

— До сей поры не наказан?

— Никак нет...

— А каков он? Каким солдатом быть обещает?

— Самый славный будет, ваше сиятельство, гренадер-с!

— А не врешь сызну?

Совинные глаза Брезгуна часто-часто заморгали. Рот задержался. Слабый хрип вырвался из груди.

— Брезгун врать не может, — улыбавясь, сказал Багратион, — тверез ли, пьян ли, все равно, — ему, я чай, смерть легче, чем соврать! Не обижай, князь Григорий Матвеевич, старика, — я его злигу.

Каптакузен облизнул ярким, мокрым губы и смачно чмокнул фельдфебеля в щеку.

— Мы с ним обидеть друг друга не можем! Верно ли, Брезгун?

Никак не можем!— радостно прогремел Иван Иванович.— А коли обидим, так тут же и прочь се снимем, обиду-то! Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!

— Итак,— продолжал Каптакузен,— начальник дивизии усмотрел неурядок в том, что с самого начала похода откладывалось у нас наказание гренадера Старычюка. И по закону прав принц, а я не прав оказываюсь. Но чудится мне, что, окромя закона, человечность еще есть...

— И разум,— вставил Ермолов.

— Именно, ваше превосходительство. Они-то и воспрещают мне засекаать солдата, когда вся судьба отечества зависит от целостности и крепости многогрудной солдатской спины...

— И от пыла сердец солдатских,— крикнул Кутайсов.

— Именно, ваше сиятельство. Однако принц Карл, коему да все то паплевать, требует. И пахожусь я в крайнем самом затруднении...

Каптакузен был не на шутку взволнован. Он стоял посередине шатра и, с величайшей горючностью размахивая руками, спрашивал Багратиона:

— Как же прикажете мне поступить, ваше сиятельство?

Князь Истр Иванович отозвался не сразу. Вопрое был ясен,—ю только со стороны существа дела. А со стороны «политической», в которой был замешан начальник дивизии, немцы и принц и родственник императора, все было неясно.

— Не могу приказывать,— проговорил он, качаясь,— не в моей ты, Григорий Матвееч, команде. А как бы я сделал,— не скрою...

Он еще помолчал, раздумчиво протягивая свой бокал к Ермолову, Кутайсову и хозяину. медленно чокался и еще медленнее отпивая вино крохотными глотками. Потом быстро поставил бокал на стол, взъерошил волосы и схватил Ермолова за ладонь сюртука.

— Любезный тезка! Вы — патер Грубер. Столо быть, душ человеческих знахарь. Вас слышу, верно ли сужу. Сечь бы теперь рекрут не стал я,— не ко времени. Но и стрелу за вино сго не снял бы. Что нам от

него надобно? Чтобы хорошим солдатом стал. Но с одного лишь страху хорошии солдатами не делаются. Я бы так решил: наказание впозь отложить, внушив при том виноватому, что и вовсе от него избавлен будет коли хорошим солдатом подлинно себя покажет...

— В первом же бою,— добавил Ермолов,— браво, ваше сиятельство!

— Пусть крест егорьевский заслужит,— воскликнул Кутайсов,— тогда и наказание — прочь!

— Так и я мыслю, господа. А казачеро у нас не секут...

— Броне тех случаев, когда и их секут,— язвительно заметил Ермолов.

Минута тишины нависла над столом. Молчание нарушил Багратион.

— И в приказе по бригаде о таком решении,— сказал он,— я бы на месте твоем князь Григорий Матвееч, объявил, дабы все подчиненные твои видели, каков у них рачительный и вперед грядущий командир.

— Спасибо великое, ваше сиятельство,— отвечал Каптакузен,— все так и сделаю. Да сейчас же, не откладывая, и приказ отдаю. Одно лишь...

— Принца бонтесь?— спросил Ермолов.

— Угадали, Алексей Петрович! Несколько опасаясь... По дотошности своей — и принц, а часовщик. Но сердцу же — кулак дохлая.

— Напрасно бонтесь,— с внезапной строгостью проговорил Ермолов,— от того командуют нами немцы, что мы их трусим, вместо того, чтобы в бараний рог гнуть! Иди отсюда,— крикнул он Брезгуну,— марш! Доложите, князь, принцу, что приказ такой отдали вы по совету нашему общему. Это — раз. А второе — я принца вашего через Михайлу Богданыча завтра же в полные смиренне приведу. Уж поверьте, что приведу!

— Будто Баркалай не из того же теста выпечен?— усмехнулся Багратион.

— Дрожжи не те, ваше сиятельство!— сказал Ермолов и, вставая, занял собой добрую половину шатра.

(Продолжение следует)

Московская мать

Мать в письме прочитала:
 «Сын ваш, Иван,— ранен.
 Пуля врага прошила
 могучую грудь бойца.
 Был ваш сынок, мамаша,
 смелым на поле брани.
 Дрался, мамаша, за родину
 сын ваш Иван — до конца».

Охнула мать, письмишко
 к старой кофтенке прижала,
 рукой небольшой, морщинистой,
 за спинку стула взялась.

Платок почему-то поправила
 и тихо, без слез, без жалоб,
 по хмурой, осенней улице,
 старая, поплелась.

Куда ей от горя деться?
 Куда ей от памяти деться?
 Улица тихая, темная,
 нет ни людей, ни отпей.

Но всю ее освещает
 далекое Ванино детство,
 что мчалось по этой улице,
 звенело и пою на ней.

Вот здесь он учился,— и вспомнила,
 как она его одевала,
 рубашки ему выкраивала
 из стареньких платяц своих,
 как чай ему наливала,
 как дверь за ним закрывала
 и как ей хотелось, чтоб Ваня
 был мальчик не хуже других.

Вот она дома. Дома.
 Ой, как тихо в квартире.
 Спой, что-нибудь, радио,
 пусть умрет тишина,
 а то ведь матери кажется,
 будто бы в целом мире
 осталась одна квартира,
 а в этой квартире — она.

Вот он стоит, столлик,
 столлик мирного времени,
 скатерть его накрыла
 белым своим крылом.
 Когда-то сюда слетались
 птенцы могучего племени,
 когда-то внуки шумели
 за светлым ее столом.

Вот уж она не думала,
 что будет такую старость:
 Осень шумит за окошком,
 и лет на деревьях листвы.
 Дочь далеко на Востоке.
 Одна она здесь осталась.
 Не захотела уехать
 из жизни своей, из Москвы.

А ветер шумит за окошком,
 и дождик в Москве начинается,
 и гнутся в лесах Подмоскovie
 ветви берез и осин.

Мать встает и к окошку
 лицом она прижимается,
 и шепчет — куда-то далеко,
 в туманную осень:

— Сын!

Сын, ты лежал в долине,
 и с небес опускался вечер,
 и кровь твоя, мне родная,
 тргла по земле сырой.

Сын, тебя родила я,—
 чем я тебе отвечу?

Сын, я тебя вскормила,
 но как я сравню с тобой?
 Я уже старая, мальчик,
 и меня не берут на работы,
 но я пошла добровольно
 помогать укрепленья рыть,
 чтобы твой труд тяжелый,
 горести и заботы
 по-матерински, мальчик,

все с тобой разделить.
Воздушные налеты
стелились угрюмым дымом.
Я во дворе дежурила;
звенела, гудела мгла
Нет, сынок, не квартиру,
а город, твой город любимый,
для твоего возвращенья,
для радости я берегла.
Я картошку сажала,
грядки я поливала,
сплы-то, знаешь, мало,
придешь — и не чувствуешь пог.
И ты надо мной не смейся,
по это я воевала,
это я воевала
рядом с тобой, сынок.
Капля твоей крови
в сердце мое рвется,
а сколько ты капель пролил,
кто сможет их сосчитать?
Дождик стучит по крышам,
береза от ветра гнется,
с далеким сыном беседует
простая московская мать.
Будьте благословенны,
хлебнувшие горя и муки
старые матери наши!
Мы слышим ваш голос родной.
Над черной долиной сражений
вы простирате руки,
сынов своих благословляя
на справедливый бой...
А утром той матери старой
выпсали бумаги.

Вошла она в дальний поезд,
села она у окна.
И за огнем замелькали
речки, кусты, овраги,—
мытая нашему сердцу
русская сторона.
У светлых ворот госпитали
сестра ее встречала.
Щоцловала сына
осторожно и тихо мать.
Села тихонько рядом
и целый день промолчала,
старалась не шевелиться,
раненому не мешать.
Несколько раз поправила
съехавшее одеяло.
Застегнула рубашку
на впалой сыновьей груди.
У сына горели раны,
оц говорил мало,
лишь повторял он изредка:
— Посиди еще, посиди.
Ему мерещилось детство,
теплый и смутный вечер,
тихая песня матери,
обрывки далеких дней,
весна, Москва и деревья...
А жизнь в нем боролась со смертью
и эти воспоминанья
в борьбе помогали ей.
А мать — мать сидела молча,
чуть склонясь к изголовью,
сгоняла с лица сына
смерти тяжелый дым,
лечила своим страданьем,
лечила своей любовью,
сердцем своим московским,
материнским сердцем своим.

На земле, в небесах и на море!..

Черноморские очерки

Письмо в будущее

«Дорогой далекий товарищ!

Ты прочтешь это письмо нескоро — может быть, в 1960 году, накануне своего шестидесятилетия. Ты родился в дни войны, и твой отец не видел тебя: он погиб смертью героя под Севастополем как раз в тот день, когда ты, сегодняшней счастливый гражданин мира и хозяин цветущей земли, только что появлялся на свет. Теплые, заботливые руки няни приняли тебя, окунули в ванну, уложили на постель, и чей-то голос приветственно прозвучал над тобой:

— Хороший мальчишка!

В этот самый час под Севастополем твой отец поднял роту моряков и повел ее в контратаку на немцев. Стена бешеного шквального огня встала перед моряками, но они прорвались сквозь огонь, сквозь свинцовую и стальную завесы, ударили в штыки, опрокинули и погнали врага. «Вперед, товарищи, за нашу родину, за наших детей!» — крикнул твой отец. Вдруг голос его оборвался, он упал лицом вниз на сухую, прошлогоднюю траву, а когда его подняли, трава и земля были мокрые от его крови. Он еще нашел в себе силы спросить: «Где немцы?» — «Бегут!» — ответили ему. «Вперед! — сказал он. — Гоните их! Оставьте меня... Я приказываю — вперед!» Моряки выполнили приказ и гнали немцев добрых пять километров. Когда моряки вернулись, отец твой уже не дышал. Боевые друзья без шалток стояли над ним и плакали не стыясь. День был солнечный, но холодный, тени высоких облаков скользили по окрестным холмам, ветер шелестел травой, шевелил волосы твоего отца, звенел в стволе его автомата...

Дорогой далекий товарищ! День своего со-

вершеннолетия ты должен провести в Севастополе: отныне Севастополь — священный город для тебя. Ты полетишь на самолете, и когда внизу твоим глазам откроется синева моря и тонкая дымка над зеркальными бухтами, над холмами и белыми зданиями, — как забьется, застучит в груди твое молодое сердце, охваченное неизъяснимым волнением! Смутьявшись, ты отвернешься, потупишься, но соеди замети твое смущение, и кто-нибудь участливо спросит:

— Молодой человек, скажите, — ваш отец?..

— Да... В срок втором году, — глухо ответишь ты, и в кабине самолета вопарится торжественное траурное молчание. Самолет опустится, ты выйдешь на траву аэродрома. Севастопольцы, приклеванные па этом же самолете, ни за что не согласятся отпустить тебя в гостиницу, каждый будет тащить к себе, и в конце концов ты очутишься на Корабельной стороне гостем седюсого капитана.

Ты пойдешь в город и будешь бродить нелый день, очарованный его красотой, охваченный новыми мыслями и той благородной грустью, которая свидетельствует о высоте души человека, о чистоте его помыслов. Ты увидишь белые здания, украшенные статуями и барельефами, овеянные зеленым дымом весенней молодой листвы, прохладные сады и бульвары, где молча смотрят вдаль съезды многие века, бронзовые герсы двух оборон. Ты увидишь зыбкий теповой узор на гранитных пьедесталах, белые крылья чаек и такие же белые паруса далеких яликов, гуляющих по синему и ласковому морю... Дорогой далекий товарищ! В эти часы, когда ты, радостно изумленный и взволнованный, почувствуешь всю

полноту жизни и своего молодого счастья; когда с высот Севастополя весь мир — просторный, солнечный — будет открыт и будет звать тебя, — вспомни о том, что твой отец знал Севастополь иным... Он видел законченные руины разбитых бомбардировками зданий, свирепые пожары на Корабельной и Северной, матчи, торчащие из воды, трупы на улицах. Ты увидишь в Севастополе пад собой днем — яркое солнце, ночью — южные звезды; твой отец видел солнце и «Юнкеры», звезды и «Юнкеры». Спустишься по обомшелым ступеням в убежище, в штольни, — когда-то здесь жили и работали друзья твоего отца, здесь, в подземельях, гудели станки, вырабатывая оружие, здесь севастиопольские женщины шили, штопали, стирали белье для фронта, здесь сидели за партами детишки, появившиеся в мир раньше тебя на восемь — десять лет... Ты в Севастополе, где каждый камень легендарен, каждый дом — героическая поэма!

На одной из улиц увидишь ты невиданное здание старой архитектуры, очень скромное и малозаметное среди окружающих его дворцов. Но ты не пройдеши мимо, какое-то странное чувство остановит тебя, ты приблизишься к лизенькому входу и прочтешь на дверях вывеску: «Музей севастиопольской обороны 1941—1942 гг. Открыт в дни осады в феврале 1942 г.»

Коридор встретит тебя прохладным полумраком, шаги твои прозвучат гулко. Навстречу выйдет хранитель музея, старичок, очень аккуратный и чистенький, с подстриженной седой бородкой, словом, точно такой же, каких видел ты во всех других музеях. Но на груди старичка блеснет эмалью и металлом боевой орденом. И ты поймешь, не спрашивая, что старичок этот был соратником твоего отца в те далекие и великие годы...

Ты войдешь в светлый зал и сразу остановишься и поблещеешь — под стеклом, на красной подушке, ты увидишь пробитый пулей, в темных пятнах от крови, партийный билет твоего отца. Пуля, вырвала верхний угол, но последние цифры номера сохранились — 856. Ты прочтешь имя, отчество, фамилию своего отца и узнаешь, что в партию он вступил в августе 1941 года. И ты подумаешь, может быть: «Отец твой был всегда коммунистом; он продолжает жить и после того рокового дня, когда немецкая пуля оборвала его дыхание. Разве этот окровавленный билет, эти гордые дворцы, смех детворы за окнами — разве все это не свидетельство его бессмертия? И разве не живет твой отец в тебе и не разделяет твоего счастья?»

Он знал, что ты должен быть счастливым, и всеми силами души хотел твоего счастья. Поэтому так смело и неудержимо шел он в

бой. Перестрелки, атаки, разведки... Пройди по залам музея, и ты поймешь, через какие испытания отцы проносили свою великую любовь к вам, детям. С портретов взглянут на тебя умные глаза Героя Советского Союза летчика Губрия, насмешливое и по-русски лукавое лицо Героя Советского Союза генерал-майора Хренова и многих других героев, о которых тебе приходилось столько читать. На табличках, привешенных к трофейным немецким пулеметам, винтовкам и минометам, ты прочтешь имена тех, кто принес в Севастополь из вражеского стада это оружие, — имена краснофлотца Кобнова, командира отделения Кодратенко, младшего лейтенанта Петрова. Ты должен знать, что немцы не подносили оружие нашим бойцам на серебряном блюде. Нет! Эти пулеметы, минометы, автоматы извергали навстречу советским богатырям огонь, смерть, но твой отец, так же как и многие другие, заставлял их замолчать — для того, чтобы ты был счастлив!

С чувством тяжелого недоумения и глухого гнева ты остановишься перед восковыми фигурами двух немецких солдат. Да, именно такими они были — с автоматами в руках, с награбленными чулками и полотёнцами, висящими из карманов. Не веришь? Тебе кажется, что подобных людей не могло быть на земле, что земля под ними должна была расступиться от негодования! Подойди к витрине и взгляни на фотографии из Керчи, из Феодосии. Фотоаппарат беспощаден и правдив. Не отвращайся, смотри на трупы расстрелянных детей, поруганных и замученных женщин; прочти немецкие приказы, неизменно заканчивающиеся одним и тем же словом — «растрел». Вот какими они были, враги твоего отца! Теперь ты понимаешь, от какой страшной опасности он уберек тебя ценой своей жизни!

Прочти письма, найденные у немецких убитых солдат. Ведь ты хорошо знаешь немецкий язык. Гете, Гейне — твои любимые поэты. Но этих дорогих тебе имен ты в письмах не встретишь — в те годы эти великие имена были забыты в Германии. Гете и Гейне писали о живой и вечно юной жизни, в Германии же тех лет люди говорили и писали только о смерти. Свирепость и безнадежная обреченность, подлость и глухое отчаяние — больше ничего ты не найдешь в солдатских письмах. Он воевал под Севастополем, ефрейтор Вилли Дренкхнау, и, быть может, это его пуля впиалась в грудь твоего отца, а из далекого Гамбурга ему в это время писали:

«... Здесь многое произошло. Фрау Сименс кончила жизнь самоубийством, отравившись газом. Господин Риман 29 октября покончил жизнь самоубийством, брат фрау Минке и его

жена и сестра жены погибли пятнадцатого при бомбардировке. Петер 9 октября погиб на Восточном фронте...»

Ефрейтор Вилли Дренкнау тоже погиб на Восточном фронте, и Хорст Кройцгер тоже погиб, так и не увидевшись со своей невестой Элли, и еще многие миллионы погибли на Восточном фронте, прежде чем лопнул на теле мира этот страшный, зловонный и ядовитый нарыв, именовавшийся гитлеризмом. Ты увидишь кресты и медали: этими крестами и медалями награждали не за подвиги — за преступления. Ты увидишь пустые бутылки — в этих бутылках на фронт немцам посылали водку, чтобы солдаты не успевали протрезвиться. Ты увидишь фотографии, найденные у немцев. Какие странные лица! Вглядись внимательнее. Ведь они пьяны, все пьяны, ни одного трезвого! Они пьяны втройне — водкой, грабежом, кровью! Смотри, какие пейзажи выбирали они для своих фотоотлюэз¹ — пьянца, виселица, расстрел, развалины сербских, греческих, бельгийских деревень.

Ты почувствуешь, как закипает в твоём сердце ненависть, сочетающаяся с презрением. Успокойся. Это было и никогда больше не повторится: мир выздоровел. Страшный нарыв на его теле твой отец лечил железом и огнем. Ему помогали боевые друзья, одни — оружием, другие — работой. В те годы, о которых я пишу тебе, Севастополь был городом-фронтом, и каждый человек в Севастополе, что бы он ни делал и чем бы ни занимался, — воевал, или за нас, или против нас! Каждый человек определял твою судьбу — быть тебе несчастным или счастливым, свободным или рабом. Каждый человек был или твоим другом, или врагом. Во имя твоего счастья друзья были беспощадны к врагам. И вот враги давно летели в могилы, и никто не вспоминает их презренных имен, а имена твоих друзей живут и, овеянные легендой, звучат с каждым днем все громче и торжественнее. Среди твоих друзей были воины — о них ты знаешь, а были и простые, скромные люди заводов, артелей, коммунальных квартир. И в третьем зале музея ты с благоговением прочтешь на мраморной доске имя скромной работницы Апасии Чаус, которая, потеряв во время бомбардировки руку, вернулась вскоре из госпиталя на завод и, работая одной рукой, выпол-

няла в дни обороты свою норму на триста пятьдесят процентов. Она была твоим другом — запомни! Повесть ее — она будет рада. Ты прочтешь имя Лидии Алексеевны Раковой, домохозяйки, которая в дни обороны организовала в убежище женскую пошивочную бригаду и одела в теплую одежду сотни бойцов. Ты увидишь теплые носки, которые спасали в морозные ночи твоего отца, и узнаешь, что в убежище № 30 работал когда-то коллектив севастопольских женщин: Александрова, Крылова, Мензикова скубили шерсть, Гончаренко, Иванова и Козлова — пряли, Гусева, Островеркова, Орлова, Кудрявцева вязали носки. Ты узнаешь, что женщины Севастополя пошли на фронт свыше двадцати тысяч вещей, отремонтировали свыше ста тысяч, выстирали свыше двухсот пятидесяти тысяч белья. Видишь, твои друзья не жалели трудов, заботясь о твоём счастье. Тысяча триста тонн металла, собранного севастопольцами, были претворены на подземных заводах в минометы, гранаты, окопные печи, котелки, походные кухни; сто пятьдесят тысяч бутылок — в зажигательные прошивотапковые снаряды. Какой же ты счастливее! Сколько же было у тебя друзей в Севастополе — тысячи, десятки тысяч, весь город!

Дорогой далекий товарищ! Не для того я советую тебе посетить в день твоего совершеннолетия город Севастополь, чтобы ты почувствовал запах крови и смерти. Нет! Ты найдешь в Севастополе совсем другое. В этом городе, где каждый камень говорит о беспрельном мужестве и бесконечной отваге отцов-победителей, боровшихся с невиданной доблестью за свое счастье и за счастье своих детей, — в этом городе подумай о том, как драгоценна жизнь и как ответственно ты обязан прожить ее! Подумай о том, что ты — счастливый наследник — вступишь в мир, за свет и радость которого отцы платили своей горячей кровью. Ты примишь из их рук знамя родины, знамя света, радости, счастья, и ты будешь — я верю — достойным знаменосцем великого века! Прими же крепкое рукопожатие от меня, — неизвестного, но близкого тебе человека, который в дни войны был твоим другом и остался им посейчас!»

Севастополь.

Март, 1942

Большой экзамен

Мы познакомились с Костей Ряшницевым случайно — приехали покурить в одну ямку. В этот день после жарких боёв на нашем участке было сравнительно тихо. Немцы не предпринимали атак. Выпловки и пулеметы молчали. В воздухе было спокойно. Только вдали, в стороне, то и дело взметывались к небу чёрные каскады земли и дым застидал горизонт. Это немецкая артиллерия обстреливала кусты, где позавчера стояла наша батарея.

Костя продолжал свой рассказ.

— ... Вот мы и едем. Фронт все ближе, а я все больше и больше волнуясь. В жизни у меня не было такого случая, на котором я мог бы до конца проверить себя, свою волю, свою выдержку. В одном вагоне со мной едут товарищи. На Флягском побывали, в Одессе сражались, в атаках были, в разведку ходили. Они все видели, все знают, все испытали. А я? Что я видел? Что испытал в жизни?

Во флот я пришел из института. Там самые сильные переживания были у меня во время экзамена. Но разве можно сравнить это с тем экзаменом, который предстоит мне на фронте? Держись, Костя Ряшницев! Еду и все время боюсь — вдруг не выдержу, вдруг на фронте сдаст воля.

В одном вагоне со мной ехал политрук. Он заметил, что я всю ночь не могу заснуть.

— Не спите, товарищ Ряшницев?

Я посмотрел на политрука. Очень хотелось поделиться с ним своими мыслями, однако, было как-то неловко завести такой разговор перед самым фронтом. Но политрук сам первый начал беседу.

— Не спите, — отвечаю. — Все думаю.

— О чем же думаете?

Я рассказываю откровенно, чистосердечно. Он мог, конечно, меня пристыдить за мою слабость, но он этого не сделал, а сказал мне:

— Я знаю, товарищ Ряшницев, вы парень честный, а честные люди отлично дорутся с враком. На фронте, конечно, страшно...

Я его перебил:

— Знаю, товарищ политрук, что придется малость хватить страху.

Политрук посмотрел на меня пристально, и лицо у него при лунном свете было такое строгое, серьезное.

— Не малость, а очень страшно будет. И будет у вас такая минута — она у всех необстрелянных новичков бывает, — когда вам покажется, что все ваши силы несякли, что смерть совсем рядом. Тогда подумайте о родных, о товарищах, о семье, о жизни! Вы любите жизнь?

Я ответил, что очень люблю жизнь. Политрук мне на это заметил, что жизнь надо не только любить, но и драться за нее до конца. Он говорил, что смерть без борьбы — это бесславная смерть, измена. Он говорил, что умереть легко и просто, но родина ждет от меня не смерти, а победы.

Мы говорили с политруком всю ночь. Он мне рассказал, что любит ловить лещей на дощные удочки, грибы собирать, ходить на охоту. Тоже очень любил жизнь этот политрук.

На рассвете мы приехали и выгрузились из вагона.нас немного побомбили немцы с воздуха, но вреда особого не причинили. Днем мы пошли на деревню А. Навсегда я запомню эту деревню. Здесь мне пришлось сдать большой экзамен.

Я был на правом фланге. Немцы встретили нас ураганным огнем. Я в первый раз в жизни был под такой канонадой, но страха не чувствовал. Все ждал, что у меня похолодеет спина или дрогнут колени. Но ничего этого не было. Я даже обрадовался. По слухам рано было радоваться. Мой большой экзамен еще и не начинался, он ждал меня впереди.

На моем пути попалась лопатка, а в ней огореды. Я спустился туда — тишина: ни пули, ни снарядов! Перестал нагибаться, иду по огородам во весь рост. Вдруг выстрел. Пуля, слышу, просветела мимо самого уха. Второй выстрел. Пуля пробила вешевой мешок, звякнула по котелку. Я сообразил: немецкий снайпер. Третьего выстрела я не стал дожидаться — так и грохнулся лицом в капусту.

Лежу я между грядками, а мешок мой торчит, как горб, над капустой. Снайпер бьет по мешку и поровит взять ниже. Я штыком обрзал ляжки, бросил мешок в сторону и трявлялся. Снайпер замолчал.

Прошло минут двадцать. Руки и ноги начали неметь. Решил приподняться, но не успел поднять голову, как пуля сбила бескозырку. Значит, снайпер все время держит меня на прицеле. Положение очень тяжелое. Товарищи ушли вперед — выручать никому. Стою чуть приподнявшись — все будет кончено: снайпер пристрелит, как пыленка. От этих мыслей заныло под ложечкой и похолодела спина. Да, это был страх.

Пролежал я еще минут сорзк и чувствую — по меру! Снайпер прижал к земле и держит, проклятый, а у меня сил больше нет, все тело вост, и в глазах мутится. Мелькнула слабая надежда — может быть, малоесть этому снайперу следить за мной и он ушел. Я надел на лопатку свою бескозырку, приподнялся над трядками. Через минуту беско-

зырка и лопатка пробиты. Пролетал еще полтора часа. Это очень тяжело...

Я опять выставил свою бескозырку, и опять ее пробила немецкая пуля. Тогда пришла та страшная минута, о которой говорил политрук. Мне подумалось, что надежды на спасение нет никакой, что бессмысленно лежать вот так дальше, что надо попытаться и принять немецкую пулю. Но я не поднялся!

Я вспомнил родную Москву, товарищей. семью. Нет, вы этого не записывайте, товарищи корреспондент, я не заплакал, а только слезы на глазах появились. Я подумал о том, что немец хочет убить меня на моей же родной земле. Он пришел сюда, как вор, и меня, хозяина, хочет убить! Как же так? Значит, он будет ходить по земле, а я не буду! Он будет смотреть на небо, купаться в море, наслаждаться жизнью, а для меня ничего этого не будет! Почему грабителю и вору должны быть даны жизнь и счастье, а мне, честному краснофлотцу, — смерть?

И мне так захотелось жить, как некогда еще! Сердце мое зажглось, и я уже больше не думал о смерти.

Я знал, что надеяться не на кого, что здесь я один на один с этим фашистским снайпером. Мы сошлись с ним в смертельном бою и так просто разойтись не сможем. Или он умрет, или я. На моей стороне — правда, пусть же умрет он! И когда я это решил, мое сердце наполнилось отвагой. Наш одиноков был неравен. Я знал, что все преимущества у немца. Но я решил бороться и победить.

Шагах в десяти от меня была узкая полоска бурьяна. Я лежал начал прокапывать лопатой ход к этому бурьяну. Землю выбрасывал из-под себя назад, как грот. Каждый метр давался мне с невероятным трудом. Но я сжал зубы и копал, копал. Наконец добрался до бурьяна и залег там. В это время над лопаткой сверху показались два краснофлотца. Санитар вел раненого товарища. Снайпер от-

крыл огонь по ним. Это отвлекло его внимание и выдало его. Я заметил место, где он сидит, хорошо укрывшись в своем гнезде.

Я пополз сквозь бурьян на сближение с немцем. Полз очень медленно и осторожно. Если на пути попадалась веточка, которая могла бы хрустнуть, откладывал ее в сторону. Наконец снайперское гнездо было в каких-нибудь двадцати метрах передо мной.

Да, я радовался в эту минуту! Я чувствовала гордость за себя, за свой флот, за свою бескозырку! Я думал: нет, фашист, советского моряка так просто не возьмешь, он умест сражаться!

Я подполз к снайперу вплотную и занес над ним штык. Он услышал сзади шум, встрепетул, хотел отскочить, но мой верный штык навсегда пригвоздил его к земле.

В изнеможении я лег на спину рядом с мертвым фашистом. Все, что я видел, казалось мне удивительным и прекрасным, как будто я вчера лишь родился. Всем своим существом я чувствовал, что живу!

Однако на фронте долго лежать не приходится. Я услышал издали «ура». То мои товарищи шли в атаку. Захватив у убитого врага оружие, я побежал к ним. Вместе с товарищами ворвался в деревню, выбивая немцев из последних домов.

После боя пошел искать политрука. Мне хотелось рассказать ему обо всем, что я пережил в первом бою, поблагодарить за почтительную беседу в вагоне, за советы. Но мне сказали: политрук героически погиб во время атаки. Ну ладно, не буду об этом говорить. В моей памяти он всегда будет жив...

... Костя Янинцев встал, посмотрел на часы, торопливо протерся и побежал на командный пункт. Я знал, что впереди у него еще не один большой боевой экзамен. И я горячо пожелал ему сдать их столь же успешно, как и тот, о котором он мне рассказал.

„Старик“

Когда перед вами на рейле, грозно устремив вдаль жерла своих орудий, стоят современные новые корабли-эсминцы и крейсера, не смотрите с пренебрежением на затерявшийся среди них старый корабль, не смейтесь над его старомодной трубой и неповоротливостью. Знайте, что и этот «старик» наравне со всеми кораблями до конца выполняет свой долг.

Я расскажу вам об одном таком «старике». Если вы найдете на всем Черноморье десяток моряков, которые смогут сказать, что в далекие дни своей молодости они видели этот

корабль новым. Он был спущен на воду в конце прошлого века. Боевое крещение корабль получил в первую мировую войну. Но ему были с «Гёбена» и «Дреслау», за ним охотились подводные лодки, но корабль уцелел. В годы гражданской войны он плавал под красным флагом, и его пушки беспощадно громили белогвардейские части на черноморских и азовских берегах.

Отступили военные угрозы, снова заголосили поля, заработали фабрики и заводы. Наш флот стал пополняться новыми, первоклассными кораблями. Министры решили тогда,

что «старика» печего больше делать в море, что пора ему птти в отставку. Поговаривали даже, что слелует сломать его на металл, но потом передумали — пусть пока плавает. Корабль дали какую-то скромную, малозначительную работу вблизи берега.

Нынешняя война возродила старый корабль. Его поставили на ремонт, проверили корпус, машины, вооружение. Оказалось, что корабль еще вполне может воевать.

После ремонта на палубу уверенно поднялись хозяева корабля: командир — старший лейтенант Василий Васильевич Белоколенко и комиссар — политрук Иван Ивaпович Лихонин. Они обошли весь корабль, заглянули во все уголки, не исключая камбуза и трюмов.

— Ну, как ваше мнение? — спросил комиссар.

— Мое мнение простое, — ответил командир. — Воевать надо!

— Точно! — подтвердил комиссар. — Корабль, конечно, староват, тридцати узлов от него требовать никак нельзя, но все остальное в порядке.

Комиссар не ошибся. Старый корабль сумел показать себя в боях. Он не имеет имени — только номер, но этот номер уже сейчас во многих черноморских портах произносятся с оттенком почтительного восхищения.

Вот история одного из рядовых, обычных рейсов «старика».

Корабль принял важный боевой груз и пошел с ним к городу, близ которого шли ожесточенные бои. Командир и комиссар предупредили команду, что достаточно одной бомбы, одного снаряда — и корабль взлетит на воздух. Люди молча выслушали это предупреждение.

Наступила ночь — южная, темная, с большими звездами над самой водой. Командир и комиссар стояли на мостике, чутко прислушиваясь к каждому шороху.

— Кажется, гудит, — негромко сказал командир, и сразу же море вдруг озарилось белым светом: вражеский самолет сбросил осветительную ракету. Но корабль остался незамеченным. Ракета погасла, и снова сомкнулась темнота.

— Уснуть бы вам не мешало, товарищ командир, — тихо сказал комиссар. — Попадётся — разбудим.

— А я только что хотел вам предложить это же самое, товарищ комиссар! — ответил Белоколенко.

Их постели в эту ночь так и остались песнятыми.

Утром небо заволкло тучами, и тогда появились два «Юнкерса». Крылатые разбойники заходили из-за туч и с яростным ревом атаковали корабль. Им навстречу палили зе-

нитки, строчили пулеметы. Корабль, ошестившись огнем, уверенно, неуклонно продолжал свой путь. «Юнкерсы», не сумев прорваться через огневую завесу, бросали бомбы наугад. Ирасходовав весь свой груз вничего не добившись, самолеты повернули к берегу. Командир спял фуражку, вытер платком вспотевший лоб и спустился к себе в каюту.

Но отдыхать ему пришлось недолго. Вахтенный заметил вдали нашу капоцерскую лодку. Она отчаянно отбивалась от паседавших на нее вражеских самолетов. Командир снова поднялся на мостик.

Трудно приходится ребятам, — сказал он, не отрываясь от бинокля. — Ах, проклятые, совсем заклевали.

Есть позыблемый морской закон: если ты видишь товарища в беде, то как бы ни был велик твой собственный риск, ты не смеешь пройти мимо, ты должен помочь. Старый корабль круто изменил курс. К огню канлодеи он присоединил меткий огонь своих зениток и пулеметов. Это решило исход боя. Фашистские самолеты повернули назад. Корабли, обмениваясь приветствиями, разошлись.

Рейс продолжался. В течение всего дня новых палетов не было. На море снова опустились сумерки. Они быстро перенесли в темноту, обещая кораблю спокойную ночь. Комиссар вышел на палубу. Вокруг царил тишина. Лихонин давно привык не верить тишине. Он направился к мостику, где стоял командир.

— Надо бы усилить наблюдение, — сказал комиссар.

— Я уже приказал, — ответил командир.

Корабль продолжал свой путь. В двадцать часов двадцать минут командир, комиссар и сигнальщик одновременно заметили с левого борта два темных стремительных силуэта. Самолеты-торпедоносцы. Они прокрадывались, прижимаясь к самой воде. Но уже прозвучала команда, и корабль встретил врага ураганным огнем.

Сбросив наугад торпеду, самолеты стали уходить. Расстояние до них было ничтожным, и когда один из самолетов развернулся, его брюхо в упор прошли трассирующие пули и снаряды. Самолет на мгновение застыл в воздухе, затем скользнул на крыло и пошел вниз. На тихой воде вспенел пенистый бурч, и снова все затихло.

— Один есть! — сказал комиссар. — Поздравляю вас, товарищ командир.

На следующий день корабль подвергся атаке еще двух «Юнкерсов». Бомбардировщики палетели с кормы. Заговорила кормовая зенитка под управлением командира орудия — секретаря комсомольской организации кораб-

ля Уманец. Зенитчики с первых же выстрелов всадили снаряд прямо под крыло «Юнкерсу». Самолет качнулся, задымил, пошел вниз и утонул. Второй «Юнкерс» предпочел уйти.

Рейс продолжался. Цель похода была совсем близка. Здесь нацель могли не только самолеты, но и подводные лодки. Одна из них не заставила себя долго ждать. Наблюдатели заметили ее перископ и почти одновременно — след двух торпед. Залп был дан с близкой дистанции, для маневра оставались считанные секунды. Корабль резко застопорил, люди замерли, затаили дыхание. Пройдут или..

Обе торпеды прошли по носу, в нескольких метрах от форштевня. Они шли очень мелко, и многие видели их стальные тела. Команда вздохнула вся сразу, единой грудью — прощело!

Маневрируя, корабль пошел дальше. Лодка преследовала его. Она выпустила еще три торпеды. Но каждый раз спокойствие и умение командира спасали корабль от гибели.

Корабль миновал все опасности и, наконец, пришел в нужный порт. Здесь ждали груз и были рады «старик».

Его поставили разгружаться в сравнительно тихом и укрытом месте. И вдруг снаряды врага стали ложиться совсем близко. Командир и комиссар переглянулись: в чем дело? К командиру подошел один из краснофлотцев и доложил, что огонь противника направляет корректировщик, засевавший в одном из ближайших зданий. Краснофлотец указал даже окно, в котором он заметил врага. Командир приказал принести ему винтовку. Два метких выстрела по окну — и корректировка прекратилась. Вражеская артиллерия перенесла свой огонь далеко в сторону.

Так закончился этот рейс — обычный рейс старого корабля. Корабль разгрузился и направился в обратный путь.

Где он сейчас, этот старый корабль? Может быть, совершает очередной рейс, подобный тому, о котором мы здесь рассказали, может быть, стоит где-нибудь под парами, готовый в любую минуту выйти в море, на встречу врагу... Где бы ты ни был, «старик», мы желаем тебе и твоей команде счастливых рейсов и новых побед!

Оружие непобедимых

Капитан Тихон Ильич Баринов вырос в пограничных отрядах. Опасная и трудная служба воспитала в нем отвагу и дерзость, осторожность и хитрость, выдержку и настойчивость. Командование без колебаний поручило Баринову высадить десантные оперативные группы во вражеском тылу.

Баринов не привык действовать опростовело, наобум. Сложной операции предшествовала тщательная почная разведка. Катер бесшумно подошел к берегу, спустил шлюпку, высадив разведчиков и, дождавшись их возвращения, так же бесшумно ушел, никем не замеченный. Разведчики доложили, что по всем признакам враг не ожидает здесь высадки нашего десанта.

Теперь можно было приступить к выполнению боевого задания. На следующую ночь катер вышел в море, имея на борту бойцов десантной группы. К берегу, занятому противником, подошли еще до рассвета. Берег был пологим, вода лежала густая тень от обрывов. Прикрываясь этой тенью, десант благополучно высадился. Баринов повел катер обратно, чтобы принять на борт вторую группу.

Начинало уже светать, когда катер с другой группой вновь подходил к берегу.

Противник открыл шквальный огонь. Зажигательные пули пробили бензобаки, мины угодили в машинное отделение. Катер загорелся.

До берега оставалось не меньше трехсот метров. Гибель всех людей, находившихся на катере, казалась неминуемой. Но капитан Баринов, несмотря на ранение, не потерял самообладания. Выдержка не покинула его в решительную минуту. Используя последние усилия моторов, он подвел катер поближе к берегу, чтобы люди могли доплыть.

Когда на пылающем катере уже невозможно было оставаться, Баринов приказал бойцам прыгать в воду. На борту остался только один комендор Колютин. Он был тяжело ранен и знал, что все равно не доплывет.

— Прощайте, товарищи! — крикнул он.

Обгоревший, в тлеющей одежде герой Колютин продолжал стрелять с топущего корабля, пока не скрылся под водой со своим оружием.

Остальные плыли к берегу. Немешкие автоматчики яростно строчили по морякам. У Баринова действовала только одна рука. Он плыл медленно, стараясь нырять, когда огонь автоматчиков становился особенно густым.

Капитан, как и большинство его бойцов, сумел добраться до берега. Храбрецы вышли на песок. Они были полураздеты, босы и почти безоружны. На всех имелись три гранаты и одна винтовка, полюбленная на берегу. А перед бойцами лицом к лицу стоял сильный, до зубов вооруженный враг. И немедленной помощи ждать было неоткуда: первая десантная группа успела продвинуться уже далеко, и связаться с ней было невозможно.

Неподалеку чернело разрушенное здание. Леденящий ветер свистел в этом строении, свободно пропикая сквозь выбитые двери и окна. Храбрецы укрылись в одном из корпусов и там, стоя босыми ногами на промерзшей земле, пронизываемые ледяным ветром, торжественно поклялись друг другу умереть, если понадобится, но живыми не сдаваться в руки врага. Эту клятву произнесли капитан Барипов, главный старшина Пунин, старшина 1-й статьи Ермаков и за ним все остальные.

Пятанулись томительные часы. Немцы обстреливали здание из минометов, но близко подходить не решались: они не знали, что моряки безоружны. Страх перед знаменитыми черномерскими бескозырками удерживал их. Только ночью автоматчики осмелились приблизиться и наугад стреляли в открытые двери.

Миновали сутки, вторые. В начале третьих что-то не выдержал и сказал дрожащим голосом:

— Пропали мы!

— Молчи! — сурово остановил его Барипов. — Держись! Моряки товарищей в беде не бросают. Помощь идет!

Он сказал это не просто для утешения. Он был глубоко убежден, что помощь действительно близка, что черноморцы выручат боевых друзей.

В беседах, которые велась вполголоса, моряки открывали друг другу всю глубину своих сердец. Все мелкое, случайное, наносное

отойшло. И в груди каждого осталось, только самое главное: родина, Россия, народ.

Поддерживая рапелную руку, на которой уже начали появляться злоеющие багровые язвоты, капитан Барипов охрипшим от простуды голосом, поминутно кашляя, рассказывал бойцам о героических делах наших предков: о Сусапине, о матросе Кошке, о тысячах безымянных героев, которые когда-то грудью отстаивали русскую землю.

Трудно пришлось морякам. Но чем труднее им было, тем непреклоннее становилась их решимость держаться до конца.

Ночью осторожно выходили наружу, чтобы снегом утолить жажду. Где-то разбегали рассыпанную кукурузу и питались ею, собирая по зернышку. За все время ни разу не развели огня. Одежда высохла на ледяном ветру.

Немцы, между тем, понемногу смелели. Автоматчики уже днем стали появляться вблизи здания. А у моряков попрежнему было на всех три гранаты и одна винтовка. Но был у них еще командир — капитан Барипов, были его негибаемая воля, его выдержка и отвага. И это оружие делало моряков непобедимыми.

Решили так: в случае штурма отстреливаться до последнего патрона, затем бросить в немцев две гранаты. Последнюю, прогнетанковую, оставили для себя — одну на всех.

Этот план был бы выполнен без колебаний. Но на исходе пятых суток моряки усныпали стрельбу и раскатистое русское «ура».

На берег высадилась новая десантная группа. Капитан Барипов оказался прав: черноморцы не оставили товарищей в беде. Немцы отступили, очистили берег.

Когда моряки вышли навстречу друзьям, то были поражены:

— Как же вы смогли продержаться? Ведь у вас не было оружия?

Нет, оружие у них было. Могучее, непобедимое оружие — непреклонность!

Честь семьи Абесадзе

В 1939 году в грузинском горном селении Бигабети, что раскинулось по берегам пенной речки Норн, произошло памятное и печальное событие — умер колхозный бригадир Григорий Николаевич Абесадзе — человек известный всей округе.

Помимо замечательной работы в колхозе, он был знаменит гигантским ростом, весом, превосходившим сто двадцать килограммов, невероятной силой, позволявшей ему легко, без патуги бросать одной рукой пятипудовые мешки на грузовик. В его бригаде был всегда

образцовый порядок, а дом дышал чистотой, приветливостью и старинной кавказской патриархальностью. Встречаясь по утрам с отцом, сыновья почтительно, в порядке старшинства, приветствовали его, желали доброго здоровья, удачи в делах. Затем так же чинно и почтительно сыновья здоровались со своей матерью Зено Китесовой.

Передо дом Абесадзе озарялся вечером веселыми огнями — шел семейный пир, потом председательствовал за столом, высоко поднимая фамильный рог, обделанный серебром, потемневшим от времени. Этот старинный рог переходил в роду Абесадзе по наследству с незапамятных времен — от отца всегда к старшему сыну.

...Похоронили Григория Николаевича, прошло положенное время траура, и Зено Китесовна вручила фамильный рог старшему сыну Китесу Григорьевичу. Он с благодарностью принял рог и поднял за здоровье любимой матери и шестнадцати своих братьев. Они, все шестнадцать, почтительно поклонились Китесу, признавая его отныне старшим в семье...

Война набрела свою тебь и на эту счастливую семью. Тот, кто посетил бы сейчас селение Китабети, нашел бы дом Абесадзе опустевшим...

Гости встретит хозяйка Зено Китесовна и примет, разумеется, радушно, приветливо, по старинному обычаю. Перед гостем появится и вино в узкогорлом чирчила, и сыр, и дымящиеся чади — кукурузные лепешки, завернутые в листья. Но фамильный старинный рог не будет поднят. Китес Григорьевич, старший сын, — далеко. Он сражается где-то под Поворосийском.

Зено Китесовна расскажет и об остальных Абесадзе. Нехотилец Владимир и кавалерист Ладю — на Ленинградском фронте. Нограничник Ваню — на Западном. Арчили, Тедо, Шакиро, Василий и еще шестеро защищают родной Кавказ. Четырнадцать молодых ушли на фронт из этого дома, остались по молодости лет только трое: шестнадцатилетний Алексей, четырнадцатилетний Шакиро и одиннадцатилетний Мато. Да и тех никак не удержишь — того и гляди улизнут на фронт. У Шакиро младшего, например, был обнаружен недавно весьма подозрительный мешок с сухарями.

Глаза Зено Китесовны затуманятся, блеснут в них слезы. И гостю покажется: материнским сердцем она слышит отдаленный гул сражений и разряжает в этом гуле, в диком смещении выстрелов, взрывов, стонов, криков и лага родные, любимые голоса. «Вперед, братья, вперед!» — это голос Китеса. «За родину!» — это голос пылкого, стреми-

тельного Ладю. «За любимую Грузию!» — вторит ему Арчили. «Ни шагу назад! За нами — дом, за нами — родная мать!» — это кричит могучий, широкогрудый богатырь Ваню, бросааясь с вышивкой наперевес в контратаку на фашистскую орду.

Зено Китесовна сдержанна и немпогословна. Как сражаются ее сыновья? Но коротким и редким письмам трудно судить, но она уверена, что сражаются они хорошо, с достоинством, честью и доблестью. Разве может быть иначе? Нет, ее сыновья не посрамят своей матери, не опозорят памяти своего отца! Уезжая на фронт, каждый из них дал слово быть доблестным воином, а в семье Абесадзе принято слово держать.

Провожая гостя, Зено Китесовна скажет со сдержанной гордостью в голосе:

— За свою материнскую честь и за честь всей нашей фамилии я; старуха, спокойна.

В числе четырнадцати братьев, поддерживающих на полях сражений честь своей фамилии, значится и Василий Григорьевич Абесадзе, единственный в семье моряк, зенитчик-артиллерист.

Я встретил его на черноморском берегу, у зепитного орудия, замаскированного травой и кустами. Вечерело, в бескрайнее море медленно опускался огромный раскаленный шар солнца, зайывая золотым огнем весь горизонт. Василий Абесадзе смущенно говорил:

— Ну что я вам расскажу? Вот если бы вы спросили Китеса, или Ваню, или Шакиро... А я пока еще ничего особенного не сделал. Мне, право, нечего вам рассказать...

— Это неверно, — вмешался подошедший к нам комиссар батареи. — Я знаю, товарищ сержант, вы разговоры не любите. Но иногда следует и поговорить. Ведь у вас, товарищ Абесадзе, есть славы боевые дела.

Василий от похвалы комиссара засмущался еще больше, покраснел и вовсе лишился языка. Тогда комиссар предложил:

— Разрешите, я за вас расскажу. А вы слушайте и поправляйте меня, если в чем-нибудь ошибусь.

Втроем мы уселись на травянистый бугорок, и комиссар начал рассказ о боевых делах Василия Абесадзе.

...Враг напирал превосходящими силами. Батарее пришлось стремительно менять позицию, уходить на противоположный берег реки. Орудия ушли, а около боезапаса остался Василий и с ним шесть моряков.

Семьсот ящиков боезапаса, тысячи снарядов! Василий сказал своим бойцам:

— Если мы сдадим эти снаряды врагу, мы совершим измену и опозорим себя навечно. Мы должны переправить на батарею все ящики до единого.

Легко сказать, но как это сделать, если под руками нет ни одной автомашинны, ни одной повозки! А обстановка с каждым часом все осложнялась, враг приближался. Трое моряков, выдвинутые вперед, уже вели перестрелку с первыми просочившимися сюда и пока еще немногочисленными группами немцев.

Василий вышел на дорогу, что пролегалла неподалеку по берегу реки. Ждать ему пришлось недолго: отмечая свой путь серым хвостом пыли, показалась автомашинна. Василий остановил ее.

— Сворачивай! — решительно сказал он шоферу. — Надо забрать боезапас.

Шофер, молодой парнишка, не из самых отважных в нашей армии, закнулся было о близости немцев, но в ответ ему броснул из-под темных, широких бровей Василия такой взгляд, что он замолчал сразу.

Эта машинна забрала часть боезапаса. Один из моряков поехал сопровождать, Василий остался с пятью бойцами.

Со следующей машинной уехал еще один моряк. У Василия осталось четыре бойца.

Каждую минуту грозило окружение. Каждую минуту могли появиться немецкие танки. Но моряки-зепитчики оставались верными своему слову и воинскому долгу. Ушли, нагруженные боезапасом, еще три машинны. У последних ящиков остался Василий и с ним один боец.

Грузовиков не появлялось больше на дороге. Видимо, все уже прошли. Казалось, остался один только выход — снаряды взрывать, а самим переправляться через реку вилавь. Но Абесадзе медлил с приказанием. Какое-то необъяснимое внутреннее чутье подсказывало ему, что еще не все потеряно.

Так оно и случилось. Дорога вдали запылила. Шел грузовик. Он шел на полной скорости, потому что немцы висели у него на хвосте.

«Проскочит! Не остановится!» — тревожно думал Василий, выбегая с поднятой рукой на середину дороги. Машинна завизжала тормозам, добрых десять метров проползла юзом и остановилась. Василий кинулся к шоферской кабине. Какая удача! За рулем сидел свой моряк!

Этого долго уговаривать не пришлось.

— Эх! — с веселым отчаянием сказал шофер и лихо сдвинул на затылок свою бескозырку. — Не оставлять же немцам наши снаряды! Была не была — садись, поехали! Но только чует мое сердце — не успеем, при-

хватят нас немцы... Прощай, мама, прощай, родная!..

Он резко свернул на проселок, ведущий к батарее.

Последний ящик погрузили буквально у немцев на глазах. «Эх! выручай, старушка!» — диким голосом завопил в кабине шофер и под градом пуль дал с места полный газ. Машинна выскочила у немцев из-под самого поса. И долго еще вслед ей трещали автоматы. Когда, наконец, они затихли, шофер сказал, вытирая потный лоб:

— Ну, здравствуй, мамаша! Рано я с тобой попрощался. Поторопился — мой грех!

И, подмигнув Василию, добавил:

— Видать, крепко она там дома молится за меня!..

— Вот моей старухе тоже много беспокойства, — ответил Василий. — нас ведь семнадцать братьев, четырнадцать воюют да трое дома.

— Семнадцать! — удивился шофер и вдру захохотал, улав грудью на баранку руля. — Это, брат, крепко, это на самую первую премню!

Словом, к месту переправы Василий и шофер приехали уже друзьями, хорошо, весело попрощались, а вот фамилии так и позабыли друг у друга спросить...

Боезапас полностью, без всяких потерь был доставлен на батарею.

Прошло несколько недель. Батарея сменяла много позиций. Ее боевой счет пополнялся еще несколькими сбитыми «Юнкерсами» и «Мессершмиттами». Однажды пришлось батарее стоять на открытом и опасном месте. Все дороги, ведущие к ней, обстреливались. Но морякам к немецкому огню не привыкать. А вот без горячих обедов очень они скучали.

За дело взялся Василий. Вдвоем с коком Гуриным они направились в тылу, за батареей, укрытое, тихое местечко, там готовили обед, а затем в походной кухне везли его бойцам.

Каждый рейс грозил гибелью. С батареей нередко видели, как дым разрывов застилал знакомый силуэт походной кухни. Не раз и Василия и кока Гурина считали уже погибшими. Но рассеивался дым, оседало облако пыли — и опять вдали появлялась «визенькая» жхпопагола лошадепка, везущая кухню. И в дни затишья и в дни самых горячих боев, когда немецкие снаряды и мины падали кругом сотнями, на батарею в назначенный час прибывала походная кухня с горячим обедом. Бойцы-моряки благодарили Гурина и Василия и вполне справедливо называли их героями.

Как-то раз, направляясь со своей кухней на батарею, Василий услышал над головой рев моторов.

Три вражеских самолета, заметив на дороге кавалерийское подразделение, вознамерились атаковать его.

Василий никогда не расставался со своим выверенным и точно пристрелянным ручным пулеметом. Изготовить пулемет к действию было делом одной секунды. Соскочив с позвонками, Василий открыл огонь длинными очередями почти в упор по низко плущему «Мессершмитту». Очередь припала самолету в лоб; самолет задымил, пошел вниз, врезался в землю и вспыхнул. Василий перенес огонь на два других «Мессера». Они улетели, не приняв боя.

Кавалеристы горячо пожимали Василию руки, восхищались его меткостью. Он отвечал:

— На то я и зенитчик. Специальность такая.

— А мы думали — вы просто повар. Как, по-вашему, по-морскому.

— А это подсобная специальность. У нас на море одно другому не мешает.

...Комиссар рассказывал, а Василий Абесадзе, неотрывно глядя в лицо ему, с живейшим и нескрываемым интересом слушал этот рассказ о самом себе.

— Ну, как? — спросил комиссар. — Правильно, хорошо я рассказал?

— Хорошо! — искренне признался Василий. — Только мало...

— А вот постарайтесь, — ответил комиссар. — Война еще не кончилась, времени у вас впереди много. Можно добавить.

Он полюбил Василия, положив руку на плечо ему.

— Будет такой день, — сказал он серьезно и проникновенно, — когда, после нашей победы, вы все четырнадцать братьев-фронтовиков вернетесь под родную кровлю. Вечером загорятся в вашем доме огни, соберутся все друзья и знакомые, чтобы поздравить вас с победой, с благополучным возвращением домой. Мать наполнит вином ваш старинный фамильный рог, о котором вы мне рассказывали, и передаст его Бугесу — старшему брату. Он высоко поднимет рог и скажет:

— Мы вернулись домой. Теперь пусть каждый из нас отчитается в своих делах перед односельчанами, перед любимой матерью, перед Грузией, перед всей нашей великой советской родиной. Пусть каждый из нас расскажет, где он был, что видел и как сражался с врагами.

И вы, все четырнадцать братьев, будете рассказывать. А потом ваша старая мать со слезами счастья, гордости обнимет и поцелует поочередно всех своих сыновей. Это Грузия, это сама родина устами вашей матери будет вас целовать... Товарищ сержант, вы должны постараться, чтобы ваш рассказ был не хуже и не короче других!

— Я постараюсь! — сказал Василий, и по его лицу, по блеску в глазах я понял, что он действительно постарается и его рассказ будет далеко не последним на семейном пиру в селении Кикабети.

Боевая формула

— Убегающего бьют! Я твердо знаю эту военную истину и никогда не бегу. Я всегда атакую — именно поэтому я до сих пор жив, да и не собираюсь погибать.

Эти замечательные слова были сказаны мне на одном из черноморских аэродромов летчиком-орденоносцем, капитаном Николаем Павловичем Тарасенко.

Я много слышал о нем. Говорили, что летчик этот не знает поражения, что у него есть свой особый секрет, обеспечивающий ему победу в любых условиях. Вот для того, чтобы расспросить капитана Тарасенко об этом секрете, я и приехал на аэродром.

Капитан встретил меня приветливо, но о своей боевой практике рассказывал скупой, с излишней сдержанностью. Я спросил его о

причинах этой сдержанности. Он ответил:

— На мой взгляд, частные примеры мало интересны. Одиночная победа может быть иногда результатом простой удачи или какого-нибудь недосмотра, допущенного противником. Надо стремиться к тому, чтобы победа была принципиально обоснованной, чтобы она являлась следствием какой-то совершенно определенной боевой концепции. Я говорю о математике боя. Вы понимаете мою мысль?

Признаюсь честно: вначале я не очень ясно понял капитана.

Он засмеялся:

— Вам странно, что военный летчик, который должен летать, стрелять и бомбить, занимается на досуге какими-то математическими философскими изысканиями. Но уж такой у

меня характер — не люблю работать «на авось». Я сейчас все объясню...

И с каждым его словом предо мною все яснее и яснее обрисовывались контуры его разума, отличающегося необычайной ясностью, четкостью и целеустремленностью. Никакой недоговоренности, никакой путаницы! Все должно быть исследовано, классифицировано и сформулировано до конца.

Капитан Тарасенко говорил так:

— Поскольку победа есть суммарный результат многих и многих отдельных воле, столько каждый отдельный боец, будь он генерал или рядовой, пехотинец, танкист или летчик, должен найти свою личную боевую формулу. В этой формуле нужно гармонически сочетать свое оружие и свой личный индивидуальный характер. Вой — творчество. Поэтому каждый боец обязан четко продумать свою боевую концепцию, иначе победа становится делом случайным.

Я все еще недостаточно ясно понимал капитана. Он задумался, потом сказал:

— Я попробую пояснить конкретнее. «МБР-2» вы знаете? Это моя машина. Я на этой машине начал воевать и до сих пор воею. Конструкция очень хорошая, но чуточку устаревшая. И вот в первую же дни войны встал передо мною вопрос: «С кем я встречусь?» С «Мессершмиттами», «Юнкерсами», «Хейнкелями». И я стал тогда думать над теоретическим обоснованием своих будущих возможных побед.

Я переспросил его:

— Над теоретическим обоснованием?

— Именно так — над теоретическим, — подтвердил он. — Дело простое: «Мессер» летает быстрее. Следовательно, если я попытаюсь уйти от «Мессера», он меня легко нагонит и собьет. В этом случае мы будем иметь разность скоростей с плюсом в пользу противника. А вот если я полечу ему навстречу, то мы будем иметь сумму скоростей, деленную пополам, то есть равные скорости. Не так ли?.. Значит, «Мессер» теряет свои скоростные преимущества! Вот поэтому я всегда иду на сближение и никогда не бегу. Это невыгодно для меня — бежать! Для меня математически выгоднее атаковать.

Капитан говорил увлеченно, и я чувствовал, что все эти мысли ему очень дороги и близки.

— Таким образом, — продолжал он, — теоретически возможно лишить «Мессер» скоростного преимущества. Но остается преимущество в вооружении. «Мессер» имеет возможность вести более сильный лобовой огонь. А я, идя противнику в лоб, не могу пустить в дело все свои огневые точки. Следовательно...

Он замолчал, глядя в глаза мне с веселым торжеством.

— Следовательно, — закончил он, — раздельно и четко произносил каждое слово, — я должен вести бой на выражах, тем более что моя машина к этому вполне приспособлена. Это второй теоретический вывод... Есть и еще несколько, но я обо всех не буду говорить. А в общем получается боевая формула, заключительная часть которой касается уже характера.

— В каком смысле? — поинтересовался я.

— В смысле правоты. Нужно один раз и навсегда понять свою правоту в этой войне, и тогда исчезает страх. Тогда инстинкт самосохранения не мешает, а содействует победе.нас двое — я и враг. Он — человек, и я — человек. Но разница есть. Я с большой буквы Человек, потому что я — коммунист и хочу счастья для всех, а он всего-навсего человекоподобное, потому что он — фашист, бандит, насильник и убийца!.. Я выше, он чует это по моему полету и уже заранее начинает трусить. А тот, кто первый струсил, тот и побежден. Теперь вам понятно, что такое личная боевая формула? Это принципиальное математическое обоснование победы.

Но когда я вновь спросил капитана рассказать о своих конкретных победах, он вдруг заскучал, и огонь в его глазах потух.

— Да разве это имеет какое-либо значение? Побед может быть меньше или больше, в зависимости от количества встреч с врагом. Важен основной теоретический принцип, а победы — они будут.

Так и пришлось мне о конкретных победах капитана Тарасенко узнавать от его друзей.

То, что я услышал, достойно удивления.

«МЕ-109». Этот немец улетел, получив от «МБР-2» изрядную порцию свища в брюхо.

«МЕ-110». Этот вряд ли дотянул до берега. После второй очереди из пулеметов «МБР-2» немец задыхался и пустился наутек, волоча за собой черный траурный шлейф.

«Юнкеры» и «Хейнкели». Их было восемь, когда они пошли в атаку на караван советских судов, а когда они улетали, их было только шесть. Караван сопровождали два самолета: один пилотировал Тарасенко, другой — Чигринский. В этом неравном бою победа была достигнута без потерь. Ни одна фашистская бомба, ни одна торпеда не попали в наши корабли. Оба советских самолета благополучно вернулись на свой аэродром.

В этом бою капитану пришлось встретиться с одним очень крепким немецким летчиком. Когда «МБР-2» пошел в атаку на «Хейнкель», немец не уклонился от лобового удара, самолеты стремительно сближались. Двести метров, сто метров, пятьдесят метров, наконец,

двадцать пять метров!.. Но Тарасенко знал о себе, что он выше немца, что он Человек: большой буквы, а немец — только человекоподобное; поэтому Тарасенко не менял курса. Немец сдал, немец отвернул и, конечно, неизбежно погиб, получив заслуженно причитающуюся ему броневую очередь. Боевая формула капитана Тарасенко снова оправдала себя!

Через несколько дней капитан Тарасенко в паре с лейтенантом Акимовым вылетел на выполнение очередного боевого задания.

Над морем стрелок-радист доложил капитану, что четыре «Мессершмитта» нагоняют «МБР-2».

«Убегающего бьют!» Наши летчики развернули свои самолеты и повели их на сближение с немцами. Так была реализована первая составная часть формулы — немцы потеряли преимущество в скорости. Затем последовал бой на высотах. Боевая формула продолжала реализовываться. В дело были введены все «улетные» установки. А в следующую минуту головной «Мессершмитт» рухнул, облитый пламенем, в море. Советские летчики яростно и неудержимо рвались в новые атаки.

Закачался, задымил и бросился к берегу, спасаясь от губительного огня, еще один «Мессершмитт». Но достигнуть не мог, упал в воду у самой береговой кромки.

Летчик второго сбитого «Мессершмитта» уцелел и попал к нам в плен.

Капитана Тарасенко, дней через пять спросили:

— Товарищ капитан, может быть, желаете посмотреть на своего немца?

Тарасенко решил посмотреть. Пленного летчика привели в кабинет. Немец держался надменно, с подчеркнутым спокойствием.

— Вы этого командира знаете? — спросил у немца переводчик, указав на Тарасенко.

— Нет, — холодно ответил немец. — И не интересуюсь.

— Вот как? — усмехнулся переводчик. — А это как раз тот самый командир, который сбил ваш самолет.

Немец побелел, изменился в лице.

— О-о-о! — наконец, протянул он. — Я вижу русского непревзойденного асса... Это вы, оказывается, дали нам такой урок...

И он рассказал, что оба сбитых немецких самолета пилотировались ассами. Погибший летчик, командир звена, имел свыше тридцати воздушных побед во Франции, в Греции, в Африке. Заметив наши машины, немцы немедленно начали радиосообщения. Они заранее делили премию, причитающуюся им за два сбитых советских самолета...

Тарасенко прервал немца вопросом:

— Неужели вы перед самым боем всерьез говорили о деньгах?

— Конечно, всерьез, — ответил немец. — Разве о деньгах можно говорить не всерьез?

Тарасенко отвернулся и сказал переводчику:

— Этот немец мне не интересен. Я вопросов больше не имею.

Немец сделал шаг вперед.

— Господин русский офицер, я хотел бы поздравить вас с победой и позжать вам руку.

Но рука его так и осталась висеть в воздухе. Тарасенко безразлично отвернулся.

— Как спортсмен — спортсмена! — продолжал офицер, густо побавровев.

— Разный бывает спорт, — холодно отозвался Тарасенко. — Я ваш спорт видел в Керчи — семь тысяч расстрелянных женщин и детей. Вы фашист, и я вам руки не подам!.. Немца увели, а капитан Тарасенко долго еще стоял у окна, о чем-то раздумывая, должно быть, уточняя и дополняя свою услышанную боевую формулу.

Безымянные подвиги

Будущий историк великой отечественной войны украсит страницы своей летописи многими и многими славными именами. Он сохранит для будущих поколений светлый образ капитана Гастелло, тмя краснофлотца Ивана Голубца, имя командира севастопольской батареи Александра и тысячи других имен, священных для народа на все века. И, повествуя о героях великой отечественной войны, историк задумается над главой, посвященной безымянным подвигам.

Перед ним будут лежать груды папок. В этих материалах он найдет подробное описание сотен героических подвигов, одного только не найдет он — имен. Имена героев потеряны, но дела их живут в памяти народной, в творчестве народном...

Мудрый историк возьмет одну из папок. Неторопливо перелистает он пожелтевшие страницы донесений, стенограмм, рапортов, и перед ним воскреснут наши дни, встанет оживой, грехочущий, легендарный город Севастополь...

Взвод моряков оборонял важный рубеж. Немцы папиралли превосходящими силами. Сначала против моряков действовала одна рота, затем на помощь ей пришла вторая. Немцы деловито и методично подготавливали атаку. Минометный и артиллерийский огонь усиливался. Моряки понимали: в рукопашной схватке, которая неминуема, вряд ли кто успеет — слишком неравны силы.

Минута затишья — того затишья, от которого сердце в груди падает, замирает... И немцы поднялись в атаку. Они шли, вопя дикими голосами, по-бычьему пригнув головы в тяжелых касках. Огонь не останавливал немцев, видимо, на этот раз они твердо решили смять горстку храбрецов, разавить их своей численностью.

И вдруг в тот самый момент, когда немцы были уже в шестидесяти-семидесяти метрах от наших окопов, отбуга-то из балки, на полном ходу, сливая воднодо грохот гусениц, рев мотора и дробь пулемета, выскочил танк. Его огонь был смертоносен, убийствен! Немцы дрогнули, шарахнулись в стороны, но танк настигал их, давил, вминал в землю своими гусеницами, расстреливал в уйор из пулемета... Уйти удалось немногим.

Все это произошло стремительно. Разогнав, рассеяв, перебив немцев, танк направился к нашим окопам.

И тут моряки с изумлением увидели, что танк — немецкий. Кресты на боргах краснофлотчиво свидетельствовали об этом.

В следующую секунду моряки трезумлились еще больше: открылся люк, и из немецкого танка вышли два краснофлотца.

Они очень торопились, и рассказ их был коротким. Пошли в разведку. Увидели немецкий танк, около которого возился экипаж, исправляя какие-то повреждения. Подползли ближе, подождали, пока немцы закончат работу. Потом дружно ударили из автоматов и уничтожили экипаж. Беспрепятственно подошли к танку. Он стоял вполне исправный, готовый к бою. Один из моряков работал до военной службы на гусеничных тракторах, — он вызвался быть водителем. Но прежде чем доставить танк в расположение наших частей, краснофлотцы решили малость позабавиться. Забрались в танк; один взялся за управление, второй принял на себя обязанности стрелка, с полчаса ездил по пустому месту, «осваивая технику», потом направился примехонько в ближайшние немецкие тылы. Там было веселее — взорвали склад боеприпасов, разгромили штаб полка, хотели задавить полковника, но не могли догнать его машину и от этой мысли отказались. Ввиду истощения боезапаса решили возвращаться к своим. На обратном пути разбились по дороге два орудия, десяток

грузовиков — словом, позабавились властью. Последние патроны — неприкосновенный запас — выпустили по немцам, что атаковал взвод моряков...

Танк находится в полной исправности. Убежительная просьба немедленно передать его по назначению. А теперь — до свидания. Задерживаться нельзя. Надо спешить в часть — командир ждет своих разведчиков с допесенцем. Всего хорошего, братинки, держитесь крепче!

И оба ушли быстрым, легким шагом, весело переговариваясь и перешевываясь.

Своих имен и фамилий они не назвали, а моряки позабыли спросить...

Мудрый историк усмехнется, живо представив себе этих ребят. Конечно, чудесные ребята и, конечно, озорники, отчаянные головы! Наверняка можно сказать, что в мирное время и командиру и комиссару было с ними немало хлопот... И вот, явившись на этот раз в свою часть, они ничего не сказали о танке, опасаясь, вероятно, как бы им и сегодня не влетело от командира за самовольную прогулку по немецким тылам.

Так и остался подвиг безымянным.

Кто они, эти два краснофлотца? Да не они ли авторы другого, еще более озорного дела, сотворенного на передовых линиях под Севастополем?

Наши и немецкие окопы разделяла полоса метров в двести шириною. Немцы обзавелись рупором. Нашелся среди них какой-то «знарок» русского языка по части всевозможных ругательств. Ежедневно по вечерам он с сильным базарским акцентом пописки в рупор наших моряков. Наши пробовали отвечать и отвечали, надо сказать, забористо, но рупора у наших не было, и ответ до немецких окопов не долетал.

Морское сердце не может стерпеть немецкого превосходства ни в чем! Немцев необходимо перекрыть. Но как их перекроешь? И вот нашлись два орла: притащили откуда-то фанеру, штыками выпилили огромных размеров кулиш, тщательно раскрасили, прибили к шесту и отложили в сторону.

Вечером немец исполнил в рупор свой обычный худительный репертуар. Наши орлы молчали, злорадно посмеивались. «Ладно, ладно, колбасник, обожди! Завтра утром мы поднесем тебе дулю!»

Ночью, когда темнота сгустилась, орлы, захватив кулиш, подползли к немецким окопам. Это была затея, дерзкая до безумия, но моряками двигало злое неуемное озорство. Они миновали проволочные заграждения, остановились метров за шестьдесят от немецких окопов. Здесь самое подходящее место — вилло будет хорошо, а гранату немец не добросит. Штыками выкопали яму, поставили шест; не

удачествовавшись этим, они укрепили шест из четырех растяжках. Они работали долго, доблестно, подвергаясь каждой минуте смертельной опасности — малейший шорох мог погубить их.

Но все обошлось благополучно.

Закончив дело, давясь от сдерживаемого смеха, моряки вернулись к себе.

В темноте шломоленные немцы перед самым рассветом увидели кукли. Их неготованно и возмущенно не было претела. Паши за двести метров слышали, как гудит, словно разрывожанное осиное гнездо, немецкая траншея. Наконец трое самых храбрых немцев вылезли на бруствер и решительно направились в бочку, намереваясь убрать кукли, столь смелованно и бесстыдно позорящий честь германской армии.

С нашей стороны утарили автоматы; один немец унал, двое кинулись назад.

Уб в немецкой траншее усиливался. Немцы претели свалить шест гранатами. Но моряки только рассчитали дистанцию — гранаты патали и рвались не долетая. Тогда немцы решили перевернуть шест автоматными очередями. До самого вечера строчили они по шесту, сожгли утку вороха. Ничего не добились — кукли и вороха красовался все та же перед самым рассветом у немцев.

Темнота стемнела, наши орлы решили:

— Ночью немцы обязательно попытаются свалить кукли. Поползем на охрану. Может быть, языка захватим.

Языка не захватили, но обонх немцев, пришедших ночью снимать кукли, уложили на месте штыками.

Настало второе утро. Кукли красовался перед немецкими окопами. И только к полудню он бля, наконец, сокрушен усиленным минометным огнем. Наши орлы, надрываясь от холода, возгласами и жестами поощряли усердие немецких минометчиков.

... Прочтет в документах едой профессор об этих делах, задумается, — и перед ним, как из тумана, со дна народных былин и сказаний, возникнет гениальный образ русского лихого озорника Васьки Буслаева... Силушки у Васюного, девать некуда, распряет сплушка его белое тело...

Вот пошумел намелни малость на торжке, а нынче, говорят, великий князь, наслышав быв об этом шуме, зело гневаться изволит. Ну, ничего: плет маява — движутся немцы на Господни Великий Новгород; там, на бранном поле, есть Васе где распривить плечи, есть куда приложить силушку, есть чем возвернуть грех перед великим князем!..

Ну, конечно, оттуда, от Васьки Буслаева, плет эта русская удавая всегала лихость! И подумает старый профессор, что ничего

нет в этом плохого и страшного: повзрослеет младший брат Васи Буслаева, перекинит его молодое сердце, мудрое государство направит его силу по создательному услуу, и он начнет трудиться, творить, превратив свои дерзость — в дерзание, а лихость — в благородную и высокую способность к смелому услуу.

Историк возьмет вторую папку и в ней найдет материалы о другом замечательном подвиге.

В одном из приморских городов, занятых немцами, был наш человек, в руках которого перекрещивался все нити, связывающие партизанские отряды с нашими штабами. Немцы выследили этого человека и взяли его. Он умер героем, не открыв немцам ни имени, ни звания своего. На советской стороне еще не знали о его гибели и направили в городок специального посланца с заданием для погибшего. Посланец, посещавший городок уже не раз, нашел квартиру погибшего разгромленной и, сразу сообразив в чем дело, направился к воротам.

Его остановил какой-то старичок, вышедший из полуподвального этажа.

— Зайдите на минутку. Дело есть до вас.

Старичок оказался сапожником. Он сел на свой низенький табурет и, глядя на посланца ясными выпетными глазами, начал разговор. Посланец, естественно, держался настороженно. Тогда старичок в упор ошеломил его вопросом:

— Сидора Полликарповича Голубева не приходилось ли вам встречать?

Посланец даже вздрогнул: «Сидор Полликарпович Голубев» — это был условный пароль. Старичок выжидательно молчал, глаза его были все такими же приветливыми и ясными.

Посланец, наконец, решился. Ответил другим условным паролем.

— Ну, вот и договорились, — спокойно сказал старичок. — Я ведь вас давно поджидая. Он (старичок назвал имя погибшего) мне вас наказывал встретить. Будем знакомы. Дядя Яша меня зовут.

И он рассказал, что погибший, предчувствуя арест, оставил смелу, посвятив дядю Яшу в курс всех своих самых секретных дел.

— Поверил он мне. Верю, говорит, дядя Яша. По глазам тебя вижу — свой человек.

Посланец тоже поверил, рискнул, передал задание дяде Яше. Задание было выполнено точно, добросовестно, быстро. Посланец вернулся к своим и доложил, что в городке Н. на место погибшего бойца стал другой — дядя Яша.

Прошел месяц, второй. Дядя Яша выполнил еще несколько заданий. Теперь ему доверяли вносить. Теперь в его руках, над столбиком, заваленным рваными туфлями, обрезками кожи, дратвой и гвоздями, сходилась в один узел все нити, тянувшиеся из партизанских отрядов и наших штабов. К дяде Яше заходили и немцы — подбить отставшую подметку, положить заплату на сапог. Он и немцев встречал приветливо, подметки прибывал добросовестно, между тем на торных дорогах продолжали взлетать в воздух автоцистерны с бензином, продолжали рушиться под откосы немецкие воинские эшелоны. И ни одно из этих дел не обошлось без участия старого сапожника дяди Яши.

Он находился на самом опасном участке фронта. Смерть грозила ему ежедневно. Но он об этом даже и не думал, и все стучал да стучал своим молотком, ловко загоняя в подошвы деревянные гвозди.

Он проделал огромную, героическую, ценную работу.

Когда городок был освобожден нашими войсками, то в первые дни в суматохе (немцы еще держались в нескольких домах) о дяде Яше не вспомнили. А когда вспомнили, то дядя Яша в городке не оказалось.

И тогда выяснилось, что на второй или третий день после изгнания немцев дядя Яша пришел к военному коменданту и сказал, что человек он старый, а в Сибири, где-то на крохотном полуострове, живет его дочь, и он, дядя Яша, намерен уехать к ней — отдохнуть немножко на старости лет... Военный комендант, досадуя на этого старика, что путается здесь в самое горячее время, нетерпеливо выписал ему разрешение на выезд, и дядя Яша, очень довольный таким оборотом дел, покинул городок.

Когда ему грозила смерть, он не думал о ней. А теперь дядя Яша не думал о том, что он — самый настоящий, подлинный герой великой отечественной войны. Для него все это было проще и будничнее: немцы захватили наши земли, немца надо выгнать, и каждый русский человек должен этому содействовать. Вот он, дядя Яша, и содействовал по мере сил. Из городка немцев вышвырнули. Очень хорошо. А теперь дядя Яша может и отдохнуть... Года-то, они ведь тяжелые, к земле клонят...

Его разыскивали, рассылали телеграфные запросы, а он в это время ехал в поезде, пил чай из жестяного чайника и, вероятно, толковал с каким-нибудь соседом о различных непорядках на железной дороге.

Таков подвиг старого сапожника дяди Яши.

Если в подвиге двух краснофлотцев, захвативших немецкий танк, отразилась веселая, удалая, озорная, кипучая сила народа, то в подвиге старого сапожника нашли себе воплощенные величайшая самоотверженность, простота и скромность, издревле присущие нашему народу!..

Историк возьмет третью напку...

В горах Кавказа немцы, продвигаясь к одному из перевалов, по пути захватили неизвестного старого пастуха-горца и привалял ему вести отряд.

Горец повел. Он повел немцев прямо на мост, по которому уже много лет никто не ходил, так как подпорки сгнили и мост вот-вот был рухнуть со дня на день.

Старый горец спокойно вступил на мост. За ним солдаты, два взвода.

Когда на этот же мост въехал замыкающий грузовик с минометами, подпорки изломались, мост рухнул. И грузовик, и солдаты, и старый горец — все полетело в бездну...

Это видели жители расположенного неподалеку аула.

Имя старого пастуха-горца так и осталось неизвестным.

Седой профессор-историк полумает: «Да полно! Разве оно и в самом деле неизвестно, это имя? Разве не оснеп подвиг старого пастуха величайшей тенью Ивана Сусаннина?»

Четвертая напка расскажет профессору о подвиге неизвестной связницы.

Это было под Воронежем. Боец тащил на плечах своего командира. Оба были ранены. Командир — тяжело, боец — легче. За ранеными гнались немцы — человек пять. Они надеялись захватить советского командира живым. Время от времени боец опускал командира на землю и огнем из автомата останавливал преследующих. Они залегали. Боец шел дальше, сгибаясь под тяжестью своей ноши. Немцы поднимались и продолжали преследование.

Силы бойца убывали. Он чувствовал, что гибель близка.

В это время откуда-то появилась девушка с брезентовой связной сумкой на боку. Пока боец огнем автомата держал немцев в почтительном отдалении, она перевязала командира. Потом перевязала бойца.

Заключив перевязку, она взяла автомат и сказала:

— Идите. Здесь наши недалеко.

— А вы? — спросил боец.

— Я останусь! — ответила она тоном, не допускающим возражения. — Я останусь здесь с автоматом. Товарищ раненый боец, берите своего командира и отправляйтесь! Я вам приказываю!

Боец новинивался. Он отошел метров сто, когда услышал за собой первую очередь. За ней последовали вторая, третья.

Девушка-связистка держала щепки, не позволяя им преследовать раненых.

Боец шел, покачиваясь от слабости, от тяжести своей ноши, и плакал, думая о девушке.

Через двадцать минут боец добрался до своих.

А девушка не вернулась. Имя ее осталось неизвестным.

Но разве она, эта девушка, по высоте и благородству духа своего не внучка Дании Сивастопольской?

О сотнях, о тысячах таких безымянных подвигов расскажут после войны пожелтевшие документы. И в каждом из этих подвигов отразится той или иной стороной выскочки, благородный, могучий дух великого народа.

И старый мудрый профессор будет прав, когда главу о безымянных подвигах начнет следующими словами:

«Много славных и героических дел в дни великой отечественной войны было совершено людьми, имена которых не дошли до нас.»

Тем не менее мы будем неправы, если сочтем эти подвиги безымянными.

Они совершены Его Величеством Царством...».

КОСТАС КОРСАКАС

Земле литовской

Плодородной цветущей страной ты была,
Ты, как мать, дорога нам во веки.
Полю хлеб твой, сады без числа,
Молока разливавшие реки.

Поутру небеса голубели, как леп,
Хлебом пахли дымки над деревней.
Был насильник богатством твоим распален,
Красотою и славою древней.

Ты была для него, как бесценный алмаз,
Вор бесстыдный прельстился тобой.
И пришел, и тебя он похитил у нас,
И предал грабежу и разбою.

Он зубами вгрызается в тело твоё,
С летних пастбищ угнал он отары,
Он разграбил и поле, и сад, и жилище,
Разорил погреба и амбары.

Ты, родная, его не лтай, не пои,
Включись на злодея бедою.

Пусть полягут и высохнут пивы твои,
Зарастут лопухом, лебедою.

Пусть он камни найдет вместо свежих ключей,
От коров молока не пахнется,
В горах не увидит спокойных пещер
И от пули в лесу не спасется.

Не давай ему крова ни в стужу, ни в зной,
Задуми его спом на постели,
Утони в половодья широком весной,
Затащи в снеговые метели.

Пусть бежит, не успев ни присесть, ни вздохнуть,

Пусть издохнет он смертью голодной.
Только савагом вору проклятому будь,
Будь злодею могилой холодной.

Перевел с литовского В. ЛЕВИК

М. ГАЛАКТИОНОВ

Сталинград 1942 года

В войнах современного типа, в которых сражения развертываются на участках протяжением в сотни километров, кампании, длящиеся месяцами, часто связываются с наименованием какого-либо города. Таковы Париж 1914 года, Верден 1916 года, Амьен 1918 года — в первой мировой войне. Кампания 1941 года на советско-немецком фронте связана с Москвой. В 1942 году такое выдающееся значение получил Сталинград. Еще не настало время писать историю этих месяцев, когда война, свирепствующая на нашей земле, приблизилась вплотную к берегам великой русской реки, и здесь произошли битвы, о которых будет помнить века. Ныне можно наметить лишь абрисы этой истории. Для нас, современников великих событий, все же является непереходимой потребностью и важным практическим делом — говорить о Сталинграде, высказать то, что нам удастся схватить в стремительном и драматическом беге военных действий.

* * *

Среди многих важных и сложных проблем, поставленных перед оперативным искусством новейшим развитием способов ведения войны, видное место занимает задача, которую можно сформулировать как создание прочной и обеспеченной оси маневра. Поясним сначала, в чем дело.

Мы наблюдали, конечно, перестроение взвода или роты, которое называется захождением правым (или левым) плечом. При этом перестроении часть, развернутая в линию, поворачивается вокруг лево (право) флангового бойца, который остается на месте, как бы образуя ось этого малого маневра.

Представим себе теперь, что дело идет о крупных войсковых соединениях, целых корпусах и армиях, которые совершают схожий маневр, требующий изменения первоначального направления на иное. И в этом случае маневр требует, так сказать, точки опоры, причем последнее понятие является здесь образным выражением, так как дело идет не о точке, а о плацдарме, на который опирается маневренная масса, производя свое перестроение.

В 1914 году пять германских армий совершали прандиозный маневр захождения правым плечом через Бельгию. Будучи по-

вернутыми вначале фронтом на запад, они, в ходе маневра, изменили это направление на юго-западное и потом на южное, устремляясь к Парижу. Осью маневра, или точкой опоры, волею которой поворачивалось правое крыло германского войска, был район крепостей Мец-Трионвиль. Здесь видно, что плацдарм, служащий опорой маневра, должен быть прочно обеспечен. В самом деле, допустим, что противник направляет свой контрудар в этот критический пункт пространства, на котором развертывается маневр. Ясное дело, что это может повлечь катастрофические последствия. В 1914 году замысел французского главнокомандования, решившего контратаковать наступающих немцев восточнее Мааса, заключал в себе идею свернуть германский маневр устром по его основе. Однако французские войска напорлись на крупные немецкие силы и потерпели неудачу.

Но германское главнокомандование не сумело тогда использовать полученного стратегического преимущества и выпустило из рук твердое руководство пятью армиями, совершавшими маневр захождения. Это привело к новой ситуации, благоприятной уже для союзников. Интересно отметить, что в Марнской битве, закончившейся поражением немецких войск, пять германских армий наступали между Парижем и Верденом, причем оба эти пункта остались в руках французов. Наступавшая масса германских войск не имела таким образом опоры на обоих своих флангах, что лишало ее устойчивости. Именно фланговый удар французских войск из районов Парижа и успешная оборона ими Вердена сыграли особо важную роль в Марнском сражении.

В современной войне весьма поучительны для данной темы события 1940 года на западноевропейском театре. Как известно, немедленно по получении данных о вторжении немцев в Голландию и Бельгию, союзники решили вступить на территорию этих государств. Они совершали захождение левым плечом, причем левофланговая 7-я французская армия предназначалась к выходу в Голландию. Ось маневра была в районе Седана, куда примыкал своим левым флангом фронт, опиравшийся на линию Мажино. Именно сюда, где происходил изгиб фронта союзников, немцы направляли свой главный удар. Оказалось, что здесь не было ни прочных

укреплений, ни достаточных войск. Прорыв в районе Седана лишил опоры маневренную массу союзников, которая была отрезана и обречена на поражение.

Нам теперь предстоит ознакомиться с более сложными сторонами поставленной проблемы. До сих пор мы имели дело с действиями в чисто маневренных условиях, на открытом пространстве. Иначе ставится вопрос при наличии установившихся фронтов, закрывающих пути маневру. В этом случае первоначально стоит задача — путем прорыва создать свободное поле для маневра. Проследим, как развивается маневр при таких условиях.

В мае 1940 года немецкие подвижные силы, танки и мотопехота, предшествуемые и сопровождаемые авиацией, прорвав фронт в районе Седана, устремились на запад, к Амьену и Аббевиллю, куда они и вышли через несколько дней. В прорыв вступили три германские армии, которые заполнили края прорыва, образовав коридор, отделивший северную группировку союзников в Бельгии от прочих сил на юге и юго-востоке. После того немцы наступали сначала на север, а затем в июне — на юг.

Совершенно очевидно, что вопрос об обеспечении маневра в глубине прорыва ставится по-иному. Прорвав фронт, атакующая масса движется в глубь расположения противника, но в дальнейшем, как правило, она должна изменить направление, заходя в тыл и окружая неприятельские части. Можно сказать, что при этом осью маневра является район первоначального прорыва. И в самом деле его удержание атакующим, обеспечение от фланговых контратак противника, его расширение служит залогом успеха всей операции прорыва. Но все вопросы крайне осложняются и понятие об оси маневра выглядит здесь по-другому.

Немцы в 1940 году обеспечили свободное развитие маневра с переменным направлением тем, что прочно обеспечили за собой плацдарм по обе стороны линии Люксембург—Седан—Амьен—Аббевиль. Построив новые фронты по северному и южному краю этого плацдарма, они обеспечили себя от контратак и закрепили расчленение сил союзников. Это оказалось возможным благодаря вводу в прорыв крупных войсковых масс. Но есть еще одно обстоятельство, обусловившее прочность удержания плацдарма. Линию Седан—Амьен—Аббевиль можно назвать осью прорыва. Один конец ее упирался в район Седана. Возникал вопрос, куда должен упереться другой конец оси прорыва. Очевидно, этой точке упора должна быть также обеспечена прочность. Если противник будет сбивать вторую точку упора, вся ось будет колебаться, и у маневра, возникающего в глубине прорыва, не будет твердой опоры. В мае 1940 года задача была облегчена выходом к морю. Прорыв был произведен таким образом на всю глубину театра военных действий, которая была не велика — около 400 километров.

Данный вопрос тесно связан с проблемой завершения прорыва фронта. В прошлой войне ни один прорыв не был завершён: прорвавшиеся войска встречали в глубине

новый фронт, образованный резервами. Так обстояло дело в мартовском наступлении немцев 1918 года, происходившем также в районе Амьена. Немцы не взяли тогда Амьена, крупного железнодорожного центра, с захватом которого были бы перерезаны коммуникации, связывавшие англичан и французов. В той обстановке Амьен мог бы послужить упором оси прорыва. Без этого немцы имели незавершенный прорыв и не могли развернуть с успехом маневра с поворотом на север против англичан или на юг против французов.

Можно сказать, что ось прорыва совпадает с направлением главного удара. Это вполне естественно, так как основная задача войск в операции прорыва — завершить его; лишь после того могут быть развернуты операции, использующие прорыв. То, что сказано об оси прорыва, в конце концов сводится к весьма простой вещи: при прорыве надо, во-первых, прочно удерживать устье его или район, где он первоначально был произведен; во-вторых, в глубине прорыва завоевать стратегически опорный пункт, или плацдарм, прочное удержание которого обеспечивало бы дальнейшие операции. Само собой разумеется, что края образовавшегося коридора должны также прочно удерживаться.

В наступлении лета 1941 года немцы, как известно, ставили себе задачей овладеть в кратчайшие сроки, несколько недель, Ленинградом, Москвой и Ростовом. Три эти пункта должны были послужить стратегическими опорными точками для последующих операций в глубине России. Немцам представлялось дело так, что с захватом Ленинграда, Москвы и Ростова фронт Красной Армии был бы разорван на части, пути сообщения вдоль фронта прерваны, и осталось бы лишь довершить одержанную победу. Но планы немецких стратегов провалились. Они не овладели ни Ленинградом, ни Москвой, ни Ростовом. Фронт Красной Армии сохранил прочные устои, а германские маневры оказались лишенными опоры, они были опровергнуты блестящими контратаками Верховного командования Красной Армии. Кампания 1941 года завершилась тяжелым поражением немцев.

* * *

Это введение необходимо для понимания роли Сталинграда в операциях 1942 года. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немцы сосредоточили крупные свои резервы и силы своих союзников на юго-западном направлении нашего фронта. После прорыва фронта они устремились на восток к Дону и Волге и на юго-восток — на Северный Кавказ. Гитлеровский стратегический план состоял в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и овладеть нашей столицей. Вспомогательной целью было овладение нефтеносными районами Кавказа и, главное, отвлечение наших ресурсов с центральной части фронта. Но для осуществления этих целей наступающие немецко-фашистские войска должны были изменить направление своего движения с восточного на северное и южное. Возник

прос о стратегических опорных пунктах маневра в глубине прорыва.

Судя по всему, в качестве таких пунктов немцы предусматривали Ростов, Воронеж и Сталинград. Ростов им удалось захватить, но уже под Воронежем в июне 1942 года их планы стали терпеть неудачу. Воронеж Красная Армия отстояла и этим подсекала обеспеченность немецких операций. В глубине же прорыва немцы рассчитывали получить точку опоры на сталинградском плацдарме.

Взгляд на карту показывает основательность такого решения. Захватив Сталинград, немцы могли бы считать прорыв завершённым; правда, после того операции по использованию прорыва еще только начинались бы — и это свидетельствует, что гитлеровский стратегический план вел в безбрежность и фантастичен в своей основе. Но с овладением Сталинградом завершалась бы, по крайней мере, первая стадия операций. Имея сталинградский плацдарм, немцы были бы прикрыты Волгой с востока, к югу идут каменные стены, где операциям войск затруднены; немцы рассчитывали овладеть также нижним течением Волги, взять Астрахань, выйти к Каспийскому морю. Таким образом, в случае овладения сталинградским плацдармом, немцы рассчитывали разорвать наш фронт, раздвинуть южные плаши армии на Северном Кавказе от плавных паших сил в центре и получить свободу маневрирования как в северном, так и в южном направлениях. Сталинград являлся таким образом, стратегическим ключом в летней кампании 1942 года.

Немцы направили для овладения Сталинградом главную группировку своих сил. Они рассчитывали быть в Сталинграде уже 25 июля. Они наступали на Сталинград с юго-запада и с северо-запада через излучину Дона. Упорное сопротивление наших войск задержало немцев, и лишь в конце августа они подошли к великому волжскому городу. Теперь немцы считали свою цель уже достигнутой. Они не предвидели, что под Сталинградом возникнет величайшая в истории битва, ярость которой не угасала в течение долгих трех месяцев, когда взоры всего мира были прикованы к этой узкой полосе советской земли, где решалась судьба кампании 1942 года, и, может быть, судьба всей войны.

После того как первые атаки гитлеровцев были отбиты, против доблестных зашитанков Сталинграда была пущена на полный ход вся мощь германской военной машины. Сталинград — сражение, где с наивысшим напряжением были применены все средства новейшей военной техники. Немецко-фашистская техника оказалась бессильной против героизма, мужества и отваги сынов советской родины. Советская техника превзошла немецкую.

В сталинградских боях немцы применяли свою обычную тактику: главной ударной силой были танки и авиация, пехота шла в атаку под их прикрытием. По мере того, как наземные атаки терпели неудачу, немецкое командование делало особое ударение на авиацию. Сталинград — крупнейшее воздушное сражение. Немецкая

авиация совершала до двух тысяч самолетовылетов в сутки. Немецкие пикирующие бомбардировщики атаковывали каждый отдельный дом. Врагу удалось лишь одно — разрушить наш прекрасный город, превратить городские здания в развалины. Но боевую задачу немецкая авиация не выполнила: она не смогла подавить сопротивление нашей пехоты. Наши бойцы и средства вооружения зарылись глубоко в землю, искусно маскировались. Против немецкой авиации вели неутомимую и упорную борьбу советские истребители и зенитные орудия. Немцы несли огромные потери в самолетах. Им пришлось дополнительно бросать в Сталинград крупные авиасоединения, снятые с других участков фронта. Наша авиация, со своей стороны, проявляла высокую активность, подвергая непрерывным бомбардировкам вражеские тылы, поддерживая наземные войска с воздуха.

Под прикрытием своей авиации, шти и одну атаку за другой немецкие танки. Обычно они наступали группами числом до ста пятидесяти танков. Провал танкового наступления немцев является наиболее примечательной особенностью сталинградского сражения. За год с лишним войны наша армия накопила огромный опыт борьбы с танками. Сталинградская оборона была насыщена противотанковыми средствами. Наша пехота, оснащенная противотанковым ружьем и 45-миллиметровой противотанковой пушкой, выявила свою способность самостоятельно бороться с танками. Первостепенную роль в ПТО сыграла советская артиллерия. Орудия всех калибров участвовали в отражении танковых атак. На подходе скопления вражеских танков поддерживались огнем дальнобойной артиллерии. На близких дистанциях по ним отрывали огонь наши 76-миллиметровые орудия. При прорыве танков даже тяжелые орудия были по ним прямой наводкой. Борьба с танками велась на основе взаимодействия всех родов войск. Наша авиация бомбила танки. Наши танки вели контратаки, нацеливаясь в особенности на неприятельскую пехоту и орудия сопровождения. Прямое значение имели противотанковые препятствия, прикрытые огнем наших орудий. Отражение атак крупных танковых масс, сосредоточенных на узком плацдарме, является выдающимся делом сталинградской обороны. Это сыграло решающую роль в исходе гигантского сражения.

Провал ставки на танки и авиацию предопределял по существу исход сражения. Тактическое превосходство нашей пехоты и артиллерии над немецкой пехотой и артиллерией неоднократно доказывалось в ходе войны. Немецкая пехота без танков теряла свою ударную силу. В уличных боях немцы широко применяли действия автоматчиков. Но за год войны во всех частях Красной Армии выросли наши советские автоматчики, которые в сталинградских боях показали свое бесстрашие и смелость, взяв верх над немцами. Немцы, вместо обычной пехоты, пытались посылать в атаку саперов. Но это мало что изменило в ходе боев. Используемые в качестве рядовых пехотинцев, немецкая

санитары немногим возвышались над их уровнем.

Только постепенно, в ожесточенных и необычайно упорных схватках, обнаружился неуспех тех сил и средств, на которые гитлеровцы привыкли возлагать все свои расчеты. Перевес Красной Армии над врагом дался не за один боевой день, он обраривался в бесчисленных крупных и мелких боях, завоевывался в отражении генеральных атак и медкой, повседневной борьбе за отдельные районы города, за улицы и за отдельные дома. Целые маляы войны велись за какой-либо отдельный опорный пункт. Атаки сменялись контратаками, чудовищи услаками, — а самое трудное, самое тяжелое, что требуется от бойца в современном бою — долгими часами, днями, неделями выдерживать боевую страду, терпеливо и настойчиво выкидывать зорко следя за врагом, вести невидную, по-взрослому будничную осадную войну. Героизм сталинградцев, выпыхивавший огненным пламенем в дни крупных сражений, превращался в повседневность, в привычное и обычное, само собой разумеющееся действие командиров и бойцов, каждую минуту глядевших в глаза смерти и опасности. Тысячи рядовых героев свершали на каждом шагу деяния, которые венчаются наградами, но в Сталинграде это считалось простым выполнением служебного долга. Если автоматчики врзались в гущу врагов, навели там панику и возмущались, повзвнив счет убитым немцам и приводя пленных, — об этом не говорили как о чем-то особенном, ибо каковы же и должны быть советские автоматчики, как не самыми смелыми из смелых.

Победа сталинградской обороны не была непрерывной цепью успехов. Она рождена в суровых испытаниях, тяжелых кризисах, горечи отступлений и радости успешных контратак. Враг имел огромное численное превосходство сил и техники. Он тешил сталинградцев к родимой реке, к Волге, воспетой народом и запечатленной в сердце каждого русского человека. Немцы методически завоевывали город. Оставались какие-то сотни метров советской земли на правом берегу реки Севернее Сталинграда враг разорвал непрерывную цепь наших укреплений. В иные моменты врагу казалось, что город уже потерян нами, и в Берлине неслись телеграммы, что со Сталинградом покончено. Но шли новые наши дивизии, переправлялись через реку под бомбами вражеских самолетов, вливали новую кровь в истощенную оборону, отрывывали захваченные врагом пункты, и жестокая битва возобновлялась с заново! берлинские газеты печатали статьи о городе, закованном в броню, которую не берут пушки. Броня действительно была — это была сталинская решимость Сталинграда не сдать, стоять насмерть, не отступать ни на шаг.

* * *

Теперь, оглядываясь назад, может показаться непопнятым тупое упорство немецких атак в Сталинграде. В действительности же беслочвекая стратегия завела

немецкие войска в тупик, из которого выхода не было.

Почему немцы, истекая кровью в бесплодных лобовых атаках, не обошли Сталинграда? Сказать легко, но как сделать это? Немцы пытались пробиться северо-западнее Сталинграда. Но здесь они напоролись на крепкий фронт и были отброшены. На этом участке наши части вели активные операции в период обороны Сталинграда и переправились на западный берег Дона, овладев районом Серафимовича. Южнее Сталинграда немцы пытались наступать в глубь калмыцких степей, овладев Эльтетой, но здесь были остановлены; да, никаких перспектив наступления здесь не давало. Сталинград оставался ключевой позицией, и Гитлер слал приказ за приказом — во что бы то ни стало взять Сталинград. В Берлине не понимали, как это хваленые немецкие генералы не могут овладеть каким-то клочком территории, пройдя до того пятьсот километров. Это изумляло и весь мир. Однако всюду начали видеть, что суть в том, что Красная Армия берет верх над лучшими немецкими войсками. Это — явное поражение фашистской Германии. Дело перерастало пределы вопроса о самом Сталинграде, перерастало тактическую и оперативную стороны произошедшей борьбы, оно становилось важнейшим стратегическим фактом. Огромные массы войск и техники, действующие в современной войне, иногда заслужают суть боя, которая остается такой же простой, как в рукопашной схватке первобытных людей: побеждает тот, кто сильнее и искуснее в борьбе. Под Сталинградом бились уже не отдельные части за какими-то номерами, — нет, это была титаническая схватка двух армий, бросивших на весь борьбы лучшее, что они могли дать. После длительной мертвой хватки, когда оба противника мерили свои силы, ясный перевес стал склоняться в сторону Красной Армии — и это при условии, что численное превосходство было у немцев. Весь мир отсюда делал совершенно правильный вывод, что Красная Армия сильнее немецкой. Это было поражение немецко-фашистских войск.

Единственным выходом из положения для немцев было — возобновлять атаки и все-таки пытаться овладеть Сталинградом. Борьба выпыхивала с новой силой. Так, главная ударная группировка немцев оказалась скованной под Сталинградом. Города она взять не могла, но и уйти не могла. Отступить — значит открыто признать свое поражение!

Между тем теперь стало оказываться, что немцам не удалось получить в Сталинграде стратегического опорного пункта для дальнейших маневров. Но обо стороны Сталинграда креп советский фронт. Целостность всего нашего фронта была сохранена. Прорыв, начатый немцами в мае-июне, оставался незавершенным. Немцы пытались продвигаться на Северном Кавказе, но постепенно были всюду остановлены нашей крепущей обороной. В трудных условиях и здесь создавался непрерывный наш фронт, преграждавший врагу продвижение вперед. Немецкие силы распозлились по гигантской дуге фронта, идущей от Воро-

нежа к Сталинграду, на Северный Кавказ до Новороссийска. При условии, что немцам не удалось овладеть Сталинградским плацдармом, их наступление на Северном Кавказе теряло всякий стратегический смысл и лишь распыляло их силы. Германское командование, погнавшись за двумя зайцами сразу, не поймало ни одного. О выполнении основного стратегического замысла — наступлении на север можно было помышлять с таким же успехом, как о путешествии на луну.

Теперь выявлялась вся рискованность положения немецких сил, вторгнувшихся на Дон и Северный Кавказ. Они были охвачены с юга, востока и северо-запада все более крепнущим фронтом войск Красной Армии. В то время как у немцев были истощены наступательные возможности, Красная Армия могла наносить удары там, где будет признано целесообразным советским командованием. Коммуникации немцев были чрезвычайно растянуты и ненадежны. Фланговые удары Красной Армии грозили отрезать зарвавшиеся группировки фашистов. В особенности рискованным оказывалось положение сталинградской группировки, продолжающей свои бесцельные атаки. Немецкие войска были измотаны непрерывными боями. Только под Сталинградом потери превысили сотни тысяч. Горы трупов фашистов были ценой, которую оплачивалось продвижение на десятки метров. Сотни вражеских самолетов и танков были уничтожены советскими войсками.

Немецкое командование продолжало упорствовать в своих планах, хотя провал их становился все очевидней с каждым днем. Оно, конечно, учитывало возможность контрударов Красной Армии, но рассчитывало на прочность укреплений, которыми прикрывались фланги фашистских группировок. Оно считало, что Красная Армия не способна к широким наступательным операциям. В случае перехода в наступление советских войск на каком-либо участке, оно предполагало остановить их контратаками и резервами из глубины. Но и на этот раз немецкое командование просчиталось в оценке мощи и наступательной силы Красной Армии.

* * *

В старой стратегии существовало понятие о так называемой операционной линии. Заимствуем ее определение из одного французского труда о «принципах стратегии»: «Операционная линия есть, в некотором роде, дорога, которой следует армия, направляясь к противнику». Мы теперь говорим о «коммуникациях», но понятие «операционной линии» не вполне совпадает с этим. Она означает линию, идущую от базы через самую армию к противнику. Сюда входит, значит, и коммуникация и направление удара. Для успеха операции требовалось обеспечение операционной линии. «Потерять ее настолько тяжелое дело, что генерал, допустивший это, являясь преступником». Эти слова принадлежат Наполеону, совершавшему замысле смелые и даже рискованные операции. В 1800 году Наполеон выступил против австрий-

цев, занявших всю Северную Италию (знаменитый итальянский поход Суворова 1799 г.). Из Дижона Наполеон направился через Сен-Бернар, обходя австрийские силы, находившиеся в районе Турина. Спустившись в долину реки Аосты, он внезапно вышел к Милану, отрезав сообщения австрийцев с Австрией. Однако австрийцы со стороны Турина угрожали перерезать в свою очередь, операционную линию Наполеона, проходящую через Сен-Бернар. Но, овладев Миланом, Наполеон получил новую прочную опору для своих операций. Он устанавливает свою операционную линию через Сен-Готар и Симплон в Швейцарию, где действовала французская армия Моро. Таким образом, чрезвычайно смелая операция была прочно обеспечена. Опираясь на Милан, Наполеон развернул свою операцию против австрийцев, завершившуюся победой при Маренго.

Немецкие операции летом 1942 года оказались необеспеченными. В «Итогах 6-недельного наступления наших войск на подступах Сталинграда» Совинформбюро говорится:

«К середине сентября месяца 1942 года немецко-фашистские войска были остановлены Красной Армией под Сталинградом.

Ход войны показал, что стратегический план немецкого командования, состоявший в том, чтобы захватить Сталинград, отрезать центральную европейскую часть Советского Союза от волжского и уральского тыла, окружить и взять Москву — был построен на песке, без учета своих реальных сил и советских резервов».

Захват Сталинграда являлся составной частью стратегического плана немецкого командования. Лишь с захватом Сталинграда немцы получили бы стратегический опорный пункт для развертывания дальнейших операций по своему фантастическому плану. Выражаясь старыми терминами, они имели бы обеспеченную операционную линию. По современной терминологии они создали бы коридор, разрывающий наш фронт на части, закрепили бы за собой плацдарм для развития операций против центральной части всего нашего фронта. Не имея сталинградского упора, коммуникации немецких войск, выдвинувшихся к Волге и на Северный Кавказ, попали в воздухе и оказались под угрозой фланговых ударов.

Необеспеченность операций немецкого командования находится в неразрывной связи с авантюристичностью, нереальностью всего стратегического плана немцев. Они недоучли своих реальных сил, недоучли мощи сопротивляющейся Красной Армии, силы советских резервов. Отпор, полученный под Сталинградом, явился полной неожиданностью для немецкого командования. Провал же плана захвата Сталинграда предвещал провал всего стратегического плана в целом.

Стратегический план окружения и разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, созданный Верховным Главнокомандованием Красной Армии явился полной противоположностью немецкому стратегическому плану. Он исходил из тща-

тального учета реальной обстановки и ставил нашим войскам четкие конкретные задачи, вытекающие из этой обстановки. Стратегический план Верховного Главнокомандования Красной Армии учитывал слаботу расположения противника, явившуюся результатом небеспеченности его операций.

Верховное Главнокомандование Красной Армии поставило перед советскими войсками, действовавшими северо-восточнее и юго-западнее Сталинграда, цель — разгромить фланговые группировки немецко-фашистских войск на подступах Сталинграда и охватывающим движением окружить сталинградскую группировку немцев. Эта задача была выполнена. 22 вражеские дивизии оказались в окружении. Таков был результат того, что немецкое командование завело в тупик свои войска под Сталинградом и поставило их перед катастрофой. На этом первом этапе наступления Красной Армии выявилась характерная особенность наших операций: сталинградская операция была тщательно подготовлена и планомерно осуществлена, в ней была предусмотрена реакция противника, который несомненно предпримет контрудары. Нашими войсками было создано плотное кольцо с глубиной 70—150 километров. Операция советских войск была прочно обеспечена.

В середине декабря Красная Армия нанесла новый удар по врагу в районе Среднего Дона. В этой операции Верховным Главнокомандованием Красной Армии была поставлена цель — после прорыва фронта обороны противника на участке Новая Калитва — Монастырщина, выйти в тылы немецко-фашистской армии, действовавшей в большой излучине Дона, и закрыть возможность вырваться вражеским войскам под Сталинградом, или оказания им помощи извне. Эта задача была превосходно выполнена нашими частями, продвигавшимися в южном направлении на 150—200 километров. Важнейшая коммуникация германских сил, находившихся в районе Сталинграда и большой излучины Дона, была теперь безнадежно потеряна. Безвыходность положения окруженной группировки немцев стала еще более очевидной.

12 декабря немцы, сосредоточив крупные силы в районе Котельниково, предприняли отчаянную попытку освободить свои войска, окруженные Красной Армией под Сталинградом. Эта попытка кончилась неудачей — и не случайно. Во-первых, потому, что частными тактическими действиями уже невозможно было исправить слабости положения немецко-фашистских войск, вытекавших из порочности гитлеровского стратегического плана, из общей небеспеченности операций, проводимых по этому плану. Во-вторых, потому, что советское командование предвидело подобные попытки со стороны врага и соответственно обеспечило свою операцию. С каждым днем положение Красной Армии на участках наступления становилось все прочнее, положение немецких войск все более ухудшалось.

В итоге шести недель наступления Красная Армия окружила 22 дивизии противника, разгромила в целом 36 дивизий,

из них 6 танковых, и нанесла тяжелые потери 7 дивизиям противника. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми 175 000 солдат и офицеров. Нами взято в плен 137 650 солдат и офицеров противника. Красной Армией захвачены громадные трофеи.

Как выяснилось в дальнейшем, под Сталинградом нами было окружено по меньшей мере 330 тысяч войск противника. Из 22 окруженных дивизий три танковых, три моторизованных, пятнадцать пехотных и одна кавалерийская дивизия. Немецко-фашистские войска, попавшие в окружение, подвергались систематическим бомбардировкам с воздуха и атакам наземных наших войск, обстреливались мощным артиллерийским огнем. Вскоре начался голод. Германское командование пыталось перебрасывать продовольствие при помощи транспортной авиации, но эта попытка провалилась. С 19 ноября по 10 января под Сталинградом было сбито свыше 600 транспортных самолетов. Окруженные части немцев несли огромные потери. По 10 января было истреблено и погибло от голода, морозов и болезней до 140 тысяч человек.

После столкновения немецким командованием предъявленного ультиматума, наши войска 10 января начали генеральное наступление с целью ликвидации окруженной группы немецко-фашистских войск. Насколько мощно была оборудована в инженерном отношении немецкая оборона, видно из того, что с 10 по 26 января нами было разрушено 2146 дзотов и блиндажей, не говоря о других укреплениях. Наши войска в кратчайший срок блестяще выполнили поставленную задачу и 2 февраля закончили ликвидацию окруженных немецко-фашистских войск. С 10 января по 2 февраля советскими войсками, по неполным данным, уничтожено более 100 000 немецких солдат и офицеров, захвачено в плен 91 000 солдат и офицеров. Взято в плен 2 500 офицеров и 24 генерала, в числе их командующий группой немецких войск под Сталинградом, состоящей из 6-й армии и 4-й танковой армии, — генерал фельдмаршал Паулюс. Нами взяты громадные трофеи, среди них самолеты 750, танков 1 550, орудий — 6 700 и много других.

Невозможно подыскать в истории войн подобного примера окружения и уничтожения такого большого количества регулярных войск, насыщенных до предела современной военной техникой. Сталинградская операция окружения и разгрома немецко-фашистских войск изучает смелость и глубину стратегического замысла, планомерностью, четкостью и организованностью его выполнения.

Сталинградская операция явилась началом грандиозного наступления Красной Армии, которое проводится войсками на Западном, Южном, Донском, Северо-Кавказском, Воронежском, Калининском, Волховском и Ленинградском фронтах. В результате двухмесячного наступления Красная армия прорвала на широком фронте оборону немецко-фашистских войск, разбила сто две дивизии противника, захватила более 200 тысяч пленных, 13 000 орудий и много другой техники. Наши войска про-

двинулись вперед до 400 километров. Красной армией одержана серьезная победа.

* * *

Эпическая борьба Красной Армии привлекала к себе внимание всего мира. С полным основанием зарубежная печать считала, что Сталинградское сражение уже запечатлено на неумирающих страницах истории. Сталинград — окончательный удар по надеждам фашистской Германии выиграть войну. Защитники Сталинграда дали взлом англо-советско-американской коалиции, подготовили силы для ударов по врагу, успешно перешли через самый критический барьер на пути к победе. Вслед за успешной обороной Сталинграда последовала превосходно организованная операция наших союзников в Северной Африке. Эти два события тесно связаны друг с другом. Английская газета «Рейнольдс Ньюс» 1 декабря писала следующее: «Успешная оборона Сталинграда и англо-американское наступление в Северной Африке ознаменовали, по словам Черчилля, конец начала. Русское контрнastупление со всеми его огромными возможностями знаменует начало конца».

Война еще продолжается и много битв еще предстоит выдержать свободлюбивым народам, прежде чем ненавидимый враг — гитлеровская Германия будет окончательно сокрушена. Но среди этих грядущих битв — Сталинградское сражение останется единственным и непревзойденным. Эта великая битва на берегу Волги непререкаемо предвещает судьбу фашистской Германии — ее поражение. На войне решают, конечно, материальные потери — в людях и в технике, и потери Германии под Сталинградом громадны и невозместимы. Но значению потерь во много раз умножается моральным эффектом поражения Германии

найдет еще на некоторое время солдат, танки, самолеты, чтобы продолжать — уже безнадежную — войну. Но никогда гитлеровской клике не изгладить страшного морального удара, нанесенного ей Сталинградом. Под Сталинградом потерпела поражение германская военная машина, провалялось высшее германское командование, возглавляемое Гитлером. Сталинград оставит неизгладимый след в немецкой армии, подрывав в ней окончательно уверенность в себе, веру в Гитлера и надежду на победу. А это трупный яд, действие которого будет возрастать с каждым днем.

Для народов же, ждущих часа избавления от фашистской тираннии, Сталинград является лучезарным символом грядущей победы. Сталинград будит мужество у отчаявшихся и вливает светлую надежду в сердца истомленных. Из Сталинграда пронеслось вешнее слово народам, временно побежденным гитлеровскими ордами: тот кто решил умереть за родину, не сдастся, не отступит, — всегда побеждает. Защитники Сталинграда не сдались и не отступили. В тяжкие часы испытаний их поддержало мужественное и простое слово: всегда вооруженных сил СССР, сталинский приказ: отстоять Сталинград. Приказ народного комиссара обороны был свято выполнен каждым бойцом и командиром.

Пройдут годы. Из пепла и развалин снова восстанет наш любимый, родной колхозский город, старый Царицын, принявший имя товарища Сталина. Прекрасные памятники соорудит наш народ на могилах павших за родину в Сталинграде и под Сталинградом — незабвенных героев. Счастливые дети будут играть у их гробниц. И когда они спросят, кто похоронен здесь, мать просто ответит им: «Здесь спят великим сном те, кто спас нашу родину и все человечество от гитлеровской тьмы». И дети поймут этот ответ.

Судьбы Италии

Лет тридцать тому назад мы бродили с товарищем по Италии. Мы исходили Лигурийское побережье от Генуи до Ниццы, прошли вдоль всю Тосканскую равнину и пересекли по проселочным дорогам и узким тропам западные склоны Апеннин. И повсюду, куда мы ни попадали, в маленьких солнечных норах и в горных пастушеских деревушках, нас ждал самый радушный, самый приветливый прием. Но иногда встреча была холоднее, в разговоре чувствовалась скрытая враждебность. Тогда мы знали, что нас случайно встретили за немцев. И действительно вскоре, как бы мимоходом, следовал неизменный вопрос: «Voi siete Tedeschi?» (Вы немцы?). Недоразумение разъяснялось, и наши собеседники удвоенной предупредительностью старались загладить свое первоначальное недружелюбие.

Туризм был одной из важнейших статей итальянского национального дохода. Иностранцы путешественники принимали посещению с распростертыми объятиями. Исключением составляли немцы, которые могли рассчитывать лишь на вежливую холодность. Никакие материальные выгоды им не могли заставить итальянцев забыть, что немцы их истинные враги. «Tedesco» было почти бранным словом по всей Италии.

Италия состояла тогда уже три десятилетия в военном союзе с Германией и Австрией. Но политические комбинации правящей итальянской верхушки не были в состоянии вытравить из сердца народа ту вековую ненависть, которую он испытывал к своим угнетателям и поработителям — немцам. Мемское владичество на столетия задержало нормальное развитие итальянской истории. Оно стоило стране невероятных страданий, позорнейшего национального унижения, крови лучших ее сынов. В Италии начала XX века были живы еще предания о героической борьбе с немецкими захватчиками, о романтической эпохе вент-карбонариев, о поэте-борце Уго Фосколо и о пламенном патриоте-революционере Гарибальди. Народ не забывал, что итальянская независимость родилась под бурные крики восставших миланцев: «Долой немцев!»

Чтобы заставить Италию вступить в Тройственный союз, Бисмарк спровоцировал Францию на захват Туниса. Чтобы побудить итальянцев возобновлять этот договор, протаворечащий их кровным национальным интересам, германская дипломатия старалась обострить их отношения с Англией, толкая их на колониальные авантюры, закончившиеся позорным поражением при Адуе.

Но союз с Германией и Австрией никогда не пользовался популярностью среди итальянцев.

Италия освободилась от австрийского ига, она вошла в круг великих держав, но вековое немецкое владичество оставило на ее теле глубокие раны. Ее северо-восточные области — Южный Тироль, Трент, Триест, составлявшие ее естественные границы, попрежнему находились в австрийских руках. «Italia irredenta» перестала быть официальным лозунгом, но она сохранилась в сердцах народа. Помимо этого возникли новые обстоятельства, лишь способствовавшие росту итало-немецкого антагонизма.

Италия резко отстала от других великих держав в индустриальном отношении. И этим спешивла восполняться Германия, уже и тогда бредившая о мировой гегемонии. Италия была бедна. Германия только что получила с Франции огромную пятимиллиардную контрибуцию. При всем лихорадочном развитии германского капитализма эта сумма не могла быть поглощена внутри страны. Значительная часть ее была использована для инвестиций в Италию с целью захвата основных итальянских экономических позиций.

Именно на эти деньги был основан знаменитый миланский банк «Банка Коммерциала Италияна», и на капиталы, потекшие этим каналом, был создан «ломбардский Рур» — огромный промышленный треугольник: Милан — Турин — Генуя с его гигантскими гидроэлектрическими установками, сталелитейными заводами, судостроительной, военной и химической промышленностью, текстильными комбинатами. Дешевизна рабочих рук привлекла сюда мощный поток национальных и иностранных капиталов и открыла перед итальянскими фабрикантами мировые рынки. Италия стала индустриальной страной, но с этого момента ее экономические интересы начали еще более резко, чем раньше, расходиться с интересами Германии, конкурирующей с нею и на внутренних и на внешних рынках.

Италия не имела на своей территории ни сырья, ни топлива, ни горючего. Уголь, железо, цветные металлы, хлопок, нефть, мука для макарон составлялись ей из-за границы, главным образом морским путем, ввиду дешевизны морского фрахта. Только дружественные отношения с «владычицей морей» — Англией могли обеспечить ей свободу морских перевозок, на которых держалась ее развивающаяся промышленность. И только сближение с Францией и Россией открывало ей рынки для сбыта своей продукции. Германская экспансия на Балканы и на Ближний Восток — пресловутый «Дранг нах Остен» — являлась новым ударом по итальянским экономическим (не говоря уже о политических) интересам.

С 1902 года, когда Италия начала сбли-

жаться с Францией, Тройственный союз существовал лишь на бумаге. На Алхесирасской конференции Италия уже открыто поддерживала Францию. Тогдашний канцлер фон Булов, стараясь умалить значение образовавшейся в Тройственном союзе трещины и успокоить встревоженное поражением германской дипломатии немецкое общественное мнение, бросил в рейхстаге свою крылатую фразу: «Тот не мужчина, у кого лицо наливается кровью при виде жены, флиртующей с посторонним». Но это была лишь «хорошая мина при плохой игре». Ничто уже не могло удержать Италию в Тройственном союзе. И в решительный для Германии момент она перешла на сторону ее врагов.

Если итальянский народ видел во вступлении в войну на стороне союзников осуществление исторической задачи: окончательное восстановление Италии и возвращение ей отторгнутых и стонущих под немецким игом национальных областей, — то для правящей итальянской верхушки этот акт был лишь выгодной коммерческой сделкой.

Заключение ее она обставила самым чинным, замыг торгашеским образом. Около года правительственная верхушка «набивала цену, жадно взвешивая немецкие и союзные предложения. Все более убеждаясь, что победа будет на стороне Антанты, она страшилась, как бы не упустить выгодный момент и не продешевить свои заложившие услуги. Она требовала не только итальянских земель, находившихся в руках Австрии, но и обширной колониальной добычи: юго-западной турецкой Анатолии, Додеканеза, территориальных «компенсаций» в Эритрее, Сомали, южной Ливии. Мало того, она добивалась настоящей страховки против возможных военных неудач. «Италия настаивает», — записал в своем дневнике Пуанкаре, — чтобы военная конвенция немедленно определила тот минимум вооруженных сил, который Россия должна будет направить против Австрии, чтобы помешать этой державе сконцентрировать свои усилия против итальянской армии». Начав военные действия против австрийцев, итальянское правительство продолжало вести весьма подозрительную игру, отказываясь в течение продолжительного времени объявить войну Германии, несмотря на все настояния союзников.

Война не принесла итальянской армии славы. Она вписала в уже и без того длинный список итальянских поражений еще одно громкое имя — «Капоретто». Это не мешало, однако, итальянским повинникам восхвалять итальянские военные «подвиги» и «непресвоенный гений» удаляющих с поля сражения генералов.

В «Ивовом манекене» Анатоля Франса есть остроумная тирада командора Аспертини о том, что «главное искусство побежденных состоит в прославлении своих поражений», в доказательство чего он приводит обильные примеры из римской истории.

«— И это искусство не позабыто, — отвечает ему иронически профессор Берже-

ре, — Италия сумела его применить в наши дни, после Новары, после Лисы, после Адуи».

Но особенно рьяно применяла Италия это искусство после Капоретто. На мирную конференцию итальянская делегация явилась с такими обширными требованиями, как будто именно итальянское оружие решило исход войны.

Как известно, за последние три четверти века почти все территориальные приобретения достались Италии не в результате побед, а несмотря на поражения. По этому поводу одним дипломатом на Вейлицком конгрессе, куда не вошедшая Италия явилась с новыми территориальными притязаниями, была брошена острая фраза: «Разве Италия потерпела какое-либо поражение, что она требует территории?»

С этой точки зрения поражение при Капоретто явно давало Италии право быть особенно требовательной в Версале. Однако ей пришлось вернуться оттуда разочарованной. Не только Клемансо и Ллойд-Джордж, но и президент США Вильсон воспротивились ее далеко идущим претензиям. И когда итальянские делегаты стали добиваться югославских территорий, аргументируя это наличием там большого количества итальянцев, Вильсон ядовито заявил, что в таком случае они должны требовать и Нью-Йорк, так как ни в одном городе мира нет такой крупной итальянской колонии, как там. Итальянцы получили лишь некоторые обломки Австрии.

Правящая клика, финансово-промышленная олигархия, была вне себя от ярости. И в накипи итальянского шовинизма появились авантюристы: д'Аннунцио, Маринетти, Муссолини, готовые любым путем вскрыть для итальянской плутократии дополнительную добычу, даже если бы для этого пришлось начинать новую большую войну.

Война подорвала итальянскую экономику. В стране царил жесточайший кризис и безработица. Надо было срочно переводить чрезмерно разросшуюся военную промышленность на мирные рельсы. Но это требовало крупных капиталов и грозило значительно сократить прибыли нажившихся на войне промышленников.

Последние предпочитали снижать заработную плату и расстреливать рабочих. В стране началось революционное брожение. В Милане и других крупных индустриальных центрах Ломбардии рабочие саставали, захватывали заводы. Перепуганные хозяева «ломбардского Рура» требовали от Рима крутых мер, но правительство на них не решалось, боясь общего взрыва. Тогда магнаты сталелитейной и гидроцентральной решили установить своепокорное их воле, правительство. Подходящей кандидатурой оказался продажный журналист Бенито Муссолини.

Еще в тот момент, когда Италия была нейтральной, Муссолини продал свое перефранцузским агентам, щедро сыпавшим золотыми франками. Пропаганда за вступление Италии в войну на стороне союз-

Италия приносила Муссолини двойную выгоду: она наполняла его карманы и создавала ему популярность в стране, где к немцам питали вековую ненависть.

После разгрома Германии касса секретных фондов парижского министерства иностранных дел прекратила свои выдачи Муссолини. Франции не нужна была больше франкофильская пропаганда в Италии. Слезные письма будущего дуче с предлобами любых услуг оставались без ответа. Но война научила Муссолини искусство продавать тем, кто может платить. Лгать в Италии могли всеисильные властелины «ломбардского Пура», и он предложил им свои услуги.

В Германии бандита-Гитлера привели к власти деньги Тиссенов, Круппов, Пеннегов. Крикливый проходилец Муссолини стал итальянским диктатором на золото Теплица, Вольпи, Пирелли. Его банды начали с избития миланских и туринских рабочих, а через несколько месяцев, по телеграфному требованию всеисильного «Промышленного объединения» в Милане, перепуганный король вынужден был согласиться на министерство во главе с Муссолини.

Фашистский режим в Италии начался с погромов, убийств, грабежей, ссылки тысячи людей на скалистые, непригодные для человеческого существования Липарийские острова. Его первая внешняя авантюра — захват о. Корфу — кончилась для него неудачей, ибо великие державы заставили Муссолини выпустить из рук эту добычу. Зато новые правители лихо радочно занялись личным обогащением. И когда социалистический депутат Маттеоти собирался обнародовать огромный собранный им документальный материал о чудовищной коррупции руководителей нового режима, он был зверски убит.

Хозяева Муссолини властно требовали от него завоевательной колониальной политики. Но обстоятельства складывались не в пользу итальянского империализма. Муссолини не осмеливался бросить открытый вызов ни Франции с ее мощной армией, ни Англии с ее флотом и господством на море, которое необходимо было Италии для снабжения и внешней торговли. Но помимо всего прочего Германия быстро восстанавливала свои силы и тайно вооружалась. Италии не следовало забывать, что на войне она нажилась за счет германской союзницы — Австрии и что германский империализм твердо считал себя наследником всех территорий двуединой монархии. По мере усиления Германии итальянские и германские интересы стали все острее сталкиваться в юго-восточной Европе: в Дунайском бассейне (Австрия, Венгрия, Югославия) и на Балканах.

Когда Германия последовала по стопам Италии и ввела у себя режим, который так усиленно пропагандировали итальянские фашисты как «будущий строй всех государств», то это не только не порадовало, но серьезно встревожило дуче, предполагавшего, чтобы Германия оставалась Веймарской республикой.

Итало-германские отношения явно ухудшились после прихода Гитлера к власти. Ни для кого не было тайной, что завоевательная программа, которую намеревался осуществлять гитлеризм, была разбита на ряд этапов, и ближайшим из них был предусмотренный аншлюс — присоединение Австрии. Помимо того, что это присоединение означало появление германских дивизий непосредственно на итальянской границе и делало Германию претендентом на все владения бывшей Австро-Венгрии, в том числе и на приобретенные Италией области. Италия имела в Австрии важнейшие экономические интересы, над которыми пришлось бы поставить крест в случае аншлюсса. Итальянский фашизм оцепенел против «родственного» ему германского «национал-социализма», ибо империалистические интересы «Банка Коммерчяла Италиана» столкнулись с империалистическими интересами «Vereingigte Stahlwerke A. G.» — знаменитого немецкого стального треста.

Первая мировая война способствовала гигантскому росту ломбардского индустриального бассейна, руководящую роль в котором играли предприятия, связанные с военной промышленностью. Здесь царил электрический династии Пирелли, Контти, Вольпи (тресты «Эдиссон», «Адриатика», «Сип»), автомобильные и военно-промышленные короли: Абелли (туринский «Фиат») и Перроне (сталелитейни, оружейные заводы и судостроительные верфи «Ансальдо»), химические магнаты Донегани (комбинат «Монтекапини»), текстильные бароны Креспи и др. Генеральным штабом этой олигархии, в административных советах которой числятся самые старинные аристократические имена Италии: Медичи, Орсини, принц Борromeо, принц Бурбон дель Монте и другие, является «Банка Коммерчяла Италиана». Во главе этого банка с десятиллиардным капиталом и шестью десятками эггалийских рудных залежей Теплиц и его сын Лудовико — интимный друг Муссолини.

Мы указывали выше, что «ломбардский Пур» не имеет ни сырья, ни угля. Его утольный голод был в некоторой мере ослаблен созданием колоссальной мощности гидро-электроустановок, черпающих свою энергию в водных потоках, свергающихся с Альп и Аппоннин. Но железо надо попрежнему приобретать за границей, либо обеспечить Италию собственные железорудные залежи. Эти залежи были под рукой в горной австрийской провинции Штирии. И за эту штирийскую руду началась еще в двадцатых годах борьба между Теплицем, с одной стороны, Тиссеном и другими магнатами германского Пура, лишившимися лотарингской руды, — с другой. Борьба эта, кончившаяся в общей сложности в благоприятную для Теплица сторону, внезапно приобрела опасный для Италии характер с того момента, как власть в Германии была захвачена тиссеновским наймитом Гитлером.

В июле 1934 года, всего через несколько месяцев после венецианского свидания обоих диктаторов, во время которого Гитлер обещался не покушаться на независимость Австрии, гитлеровцы открыто организовали в Вене путч, стоивший жизни австрийскому канцлеру Дольфусу.

Венский путч был ликвидирован в течение нескольких часов, но гораздо более серьезные события происходили в Штирии, где центром восстания было «Альпийское горнорудное общество» — владелец штирийской руды, значительная часть служащих которого была насажена или набербована гитлеровцами. Путчисты были там хозяевами района в течение нескольких дней, и сосредоточенные в Мюнхене штурмовики ожидали лишь приказа, чтобы перейти австрийскую границу и поспешить им на помощь. Но Гитлер вынужден был отказаться от своего плана: Муссолини бросил свои дивизии на Бреннер, угрожая в свою очередь перейти австрийскую границу. Противники обменивались недвусмысленными угрозами, и «Иль Мессаджеро», орган военно-промышленного концерна «Ансальдо», писал тогда: «Слишком уже часто германское правительство не сдерживало своих обещаний. Мы не станем на платформу морального равноправия с людьми, которые так привычно пренебрегают законами морали. Каждое правительство имеет сегодня право на полную свободу действий в отношении Германии». Понятно, что гитлеровская пресса в свою очередь не оставалась в долгу, тем более что Тешлиц поспешил прибрать к рукам «Альпийскую горнорудную компанию» — яблоко раздора между фашистскими странами. В апреле 1935 года Италия уже решительно прыгнула к тому, что называлось тогда Стрезским фронтом, — по имени конференции, на которой бывшие союзники, в том числе и Италия, приняли декларацию против самочинного расторжения Германией военных ограничений Версальского договора, а также против агрессивных планов Германии в юго-восточной Европе.

Но за несколько месяцев до этого произошло событие, явившееся источником самых серьезных мировых потрясений. Мы говорим о римских соглашениях Лавала — Муссолини, предопределивших абиссинскую авантюру Италии.

Французские профашистские политики утверждали впоследствии, что лавалевские соглашения на захват Италией Абиссинии являлись ценою за Стрезу. Но более вероятно, что этот шаг был коварно продиктован старому платному германскому агенту Лавалу немецкой дипломатией, которая предвидела, что итальянский захват Абиссинии перевернет вверх дном все международные отношения в Европе. Ее надежды оправдались: Муссолини, чьи мечты о величии, казалось, находили теперь свое осуществление в создании «империи», очертя голову бросился в авантюру, нарушавшую интересы Англии, потрясавшую устой международного порядка, связанного с объединением держав в

Лигу наций, и возмущившую общественное мнение всего мира.

Организованные против Италии санкции при всей их малой эффективности, нанесли Италии такой удар, что моментом для Муссолини стоял вопрос — «быть или не быть». Но в этот момент борьбы между европейскими державами воспользовался Гитлер. 7 марта 1936 года он односторонне расторг Локарнский договор и ввел свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону. В самой Европе был создан столб спасения, что заботы об участии Абиссинии, о последствиях утверждения Италии в Восточной Африке и нарушении принципов Лиги наций отошли на задний план. Муссолини был спасен. Его гордости не было конца. Европа, издаваясь, называла его «цезарем карнавала». Теперь он шеголял будто бы в подлинной цезарской тоге. Он возвращал Рим «антикварием», «щегольства небогатого Рима», к великим временам римской истории. Он видел уже в грезах всю Африку, обращенную в итальянскую колонию; Средиземное море, ставшее «Mare nostrum». Обожаящий внешний блеск, ограниченный и недалекосмысленный, он не замечал, что, приобретая Абиссинию, Италия лишалась своих позиций в юго-восточной Европе, что он сам помог разорвать цепи, которыми был закован самый страшный враг Италии, что в будущей гитлеровской Европе Италия может играть лишь роль германского пособника и рессала.

Порвавшая с бывшими союзниками, Италия должна была теперь покорно повиноваться указке Гитлера. Муссолини мог сказать словами Данте, обращенными к Виргилию при спуске в ад: «Tu duca, tu signore e tu maestro» (Ты мой учитель, вождь и господин). В июле 1936 года был заключен итало-германский пакт о дружбе — предпосылка к созданию в октябре того же года «оси Рим — Берлин». Тогда же Гитлер толкнул своего нового союзника на интервенцию в Испании, которая должна была принести Германии огромные экономические выгоды (захват испанских рудников), а также обеспечивала подготовку европейской войны тем, что создавала враждебное Франции государство Франко на ее прибрежных границах.

Муссолини еще naïвно надеялся, что Гитлер не останется нечувствительным к итальянским услугам. Он заявлял после создания «оси»: «Я убежден, что это соглашение укрепит положение Австрии и послужит впредь гарантией ее независимости». Но Берлин притворялся, что не слышит, и это гробовое молчание начинало серьезно тревожить незадачливую дучу.

11 марта 1938 года гитлеровские войска переходят австрийскую границу. На этот раз это — аншлюс; Муссолини не осмеливается уже браться, как четыре года тому назад, оружием на Бреннере. Гитлер снисходительно посылает ему телеграмму: «Я не забуду вам этого, Муссолини». Понятно, что это — платоническое обещание, которое дают угодившему лакею, когда не хотят раскошелиться на чаевые. Обещание это не могло компенсировать Италии по-

рю пштырийской руды и утрату влияния важнейшей части Дунайского бассейна.

Напрасно Муссолини заявляет, что «англо-сое» оставляет открытым ряд вопросов», напрасно итальянская дипломатия без всякого успеха пытается создать итало-польско-венгерский блок, напрасно зять Муссолини, министр иностранных дел Чиано, едет в Белград с целью спасти итальянские экономические и политические позиции в Югославии.

Италия уже не в состоянии разорвать мировые цепи, которые она сама на себя надела. И в связи с поездкой Чиано видный глашатай итальянского фашизма Гайда вынужден сознаться, что «в экономической области для Италии в Югославии сохранились лишь крохи». Единственной обглоданной костью, которую Гитлер бросает Муссолини после германского захвата Чехословакии, является согласие на аннексию Албании. Дуже не удовлетворен. Но он вынужден молчать.

Гитлер заканчивает последние приготовления к европейской войне. Благодаря захвату Австрии он создал такую угрозу на северной итальянской границе, что ему не приходится опасаться измены со стороны Муссолини. Но в предстоящем натиске на Францию Италия сможет пригодиться, подобно Франко, то есть сквав на альпийских границах значительное число французских дивизий. Гитлер снова ухватывается за своего партнера по «оси», той самой «оси», которую европейские карикатуристы изображали как железный стержень, один конец которого находится в руках Гитлера, а другой — воткнут в импозантный зад итальянского дуче. На этот раз гитлеровская дипломатия прельщает Муссолини перспективой поживиться за счет Франции. И вот уже по всей Италии прокатываются бурные манифестации с криками: «Ницца, Савойя, Тунис, Корсика!» Гитлер доволен. Французский генеральный штаб пересматривает свою дислокацию. Новые корпуса усиливают охрану Альп. Кроме того, теперь уже Муссолини не сможет в последний момент перевернуться к союзникам.

Война начинается. Италия хранит «нейтралитет», под маской которого она обеспечивает Германии брешь в союзной блокаде. Муссолини бряцает оружием, кричит о силе итальянских штыков, но не решается выступить. В глубине души он знает, что несколько французских корпусов «способны разбить в пух и прах его плохо вооруженную и руководимую неспособными генералами армию.

Только тогда, когда французский фронт был прорван и в окончательном поражении Франции не оставалось сомнений, Муссолини объявил ей войну. Однако уже первая попытка наступления через альпийскую границу кончилась для итальянцев плачевно: они были отброшены с большими потерями. Но Франция капитулировала, и Гитлер милостиво согласился, что перемирие войдет в силу только после заключения Францией перемирия и с его итальянским союзником.

Муссолини ожидал, что в момент перемирия Гитлер поддержит его требования, на которые он сам год тому назад его провоцировал. Однако лучше пришлось жестоко разочароваться. И, подчиняясь своему союзынику, он должен был во время перемирия набрать в рот воды и не проронить ни слова о «самых священных национальных требованиях Италии». Гитлеру нужна была петэно-лавалевская Франция, у которой еще был сильный флот и тажнейшие морские базы на островах и на западном побережье Африки. Она должна была ему пригодиться и в качестве орудия дальнейшей борьбы. И этим орудием он вовсе не собирался поступиться ради Муссолини.

Италии оставалось искать компенсаций в другом месте. В сентябре 1940 года ее армии начали наступление на Египет и Судан. В конце октября она вторглась в Францию. Но дальнейшие события развернулись далеко не так, как этого ожидал Муссолини. Итальянская армия потерпела ряд крупных поражений в маленькой Греции: была почти вытеснена из Албании. Налет английских торпедоносцев на Таранто вывел из строя половину итальянских линкоров. А в декабре 1940 года итальянско-ливийская армия потерпела сокрушительное поражение под Сиди-Баррани и Соллумом.

К весне 1941 года Италия утратила не только Абиссинию, но и обе свои старые восточно-африканские колонии: Эфиопию и Сомали. Во всех этих боях итальянцы потеряли сотни тысяч пленных, тысячи танков, самолетов, орудий. Положение создавалось безнадежное. В Италии началось брожение. Недовольство затронуло даже верхи армий. Когда Муссолини сместил начальника генерального штаба командующего балканской армией Бадوليو, которому Италия была обязана абиссинской победой, известный фашистский лидер Фариначи писал в «Реджиме фашиста» от 12 декабря 1940 года, намекая на опасного генерала:

«Кто-то, у кого имеются все основания держать язык за зубами, заявляет в эволюциях, на охоте, среди своих приближенных, что он не хотел войны против Греции и что, начав ее скрепя сердце, он требовал переброски туда «большого количества дивизий». Да будет всем известно, что этот «кто-то» обязался безоговорочно довести до конца кампанию с теми силами, какие уже находились в Албании. Все остальное не соответствует истине. Ребачеством является также желание взвалить все на политическое руководство, когда известно, что подготовка и ведение военных операций относятся исключительно к компетенции генерального штаба. Правительство не поспешило на средства для армии. Оно истратило на нее 170 млрд. лир, и поэтому имело право надеяться, что армия окажется в полной боевой готовности в минуту тяжелых испытаний».

Вскоре после отставки Бадوليو был снят со своего поста и командующий ливийской армией Грациани, которого фашисты прославляли после абиссинской кампании как «национального героя».

После войны, Муссолини горделиво заявлял: «Мы беремся за оружие, чтобы разрешить проблему наших континентальных и морских путей». (Понимай: захватить Суэц и Гибралтар.) А его зять Чиапо сообщил, что «такая возможность может представиться Италии один раз в 5 000 лет». Теперь дуче, оправдываясь перед своими критиками, говорил: «Я был взят за горло историей».

Трения между фашистской верхушкой и руководством армии, просочившиеся даже в печать, и общий рост недовольства в стране, о котором свидетельствовали глухие угрозы фашистской прессы, становились реальной угрозой режиму. Теперь спасать надо было не только остатки либеральной армии, но и самого Муссолини.

Роль ангела-спасителя принял на себя в последний момент Гитлер. Его коварный план удался. Дав хорошенько поколотить своего союзника, он мог теперь не церемониться с ним более и низвести его на степень простого вассала. К Италии он отнесся с искривляемым презрением. Недаром в «Моей борьбе» он писал: «Итальянский народ так же мало способен стать воинственной нацией, как итальянский фашизм не понимает, какова ставка в той колоссальной борьбе, в которую он собирается ввязаться. Мы, без сомнений, можем заключить временный союз с Италией, но, по сути дела, мы, национал-социалисты, и только мы, являемся единственным народом, который избран провидением, народом, который даст свое имя будущему веку. Германия пала бы слишком рано, если бы в решительный момент она положила на содействие такой страны, как Италия».

Итало-германский союз действительно был тем, что Клемансо метко назвал «союзом всадника с лошадью».

Принимая спасение из рук Гитлера, Италия отдавалась всецело в его власть. Немцы вторглись в Грецию и Югославию, избавив, таким образом, итальянскую армию от окончательного позорного разгрома; они перебросили в Ливию корпус Роммеля, заставив для этого итальянцев, чтобы отвлечь английский флот, пожертвовать целой эскадрой у мыса Матапан; наконец они ввели свои войска и в самую Италию, под предлогом организации тыла и коммуникаций африканской армии, а также создания сицилийской воздушной группы. Было образовано смешанное германо-итальянское военное командование, в котором итальянским генералам была отведена подчиненная роль. Муссолини приходилось лишь терпеть и кланяться своему спасителю.

Понятно, что при дележке балканской добычи Гитлер бросил своему союзнику лишь жалкую подачку. Если он и объявил Грецию и Хорватию сферами итальянского влияния, то по существу оставил за собой фактический контроль как над той, так и над другой. В Хорватии, выделенной на состав Югославии, марионетное правительство возглавляет старый итальянский агент-террорист Анте Павелич.

Укрытый и спасенный Муссолини от гильотины, к которой он был приговорен Французским судом за организацию убийства короля Александра и Барту. Но Павелич долгое время был и гитлеровским агентом, а его усташский орган выходил в Берлине в типографии гитлеровцев. Кроме того, в правительство Павелича введены и другие германские наемники, не имеющие уже никакой связи с Муссолини. Подобная же картина имеет место и в Греции.

«Размозжевание» Балкан было произведено явно не так, как этого желал Муссолини. В Сербии Гитлер поставил уже свое собственное марионетное правительство Иедица. При непрочности итальянского господства над Хорватией этот маневр является постоянной угрозой итальянцам в Югославии. Раздел Македонии произведен «арбитражем» Гитлера в пользу Болгарии и в ущерб Албании, то есть фактически Италии.

Чтобы иметь возможность подольше водить за нос Муссолини, вопрос о Салониках оставлен пока открытым. Наконец Далмация, на передачу которой полностью Италии — как «бывшего венецианского владения» — настаивал Муссолини, поделена между Италией и Хорватией, причем первая получила ее северную часть.

Не лучше обстоит положение и с островами Эгейского моря. Важнейшие из них — Лемнос (близкий к Дарданеллам), Хиос и Лесбос — заняты немцами и лишь Самос и Никария предоставлены итальянцам. Если учесть, что Крит и большинство Ионических островов также находятся в руках немцев, что в Сицилии немцами авантюра преобладает над итальянской, что в Ливии итальянские войска сражаются под командованием немецких генералов и что сейчас Гитлер настаивает на установлении в Триесте германского гарнизона, — «*Mare nostrum*» начинает выглядеть явно немецким.

От времени до времени Муссолини пытался робко протестовать против подобного порядка вещей и снова заявлять о праве Италии на военную добычу.

Несколько месяцев тому назад итальянская печать заговорила о том, что Италии не только должна быть возвращена утраченная африканская империя, но и предоставлены «компенсации» за счет «наследия Оттоманской империи в Африке». Прямо были названы области озера Чад и территории, которые позволили бы Италии связать Ливию с Атлантическим побережьем. Но подразумевались также Египет и Судан. Однако эти требования не встретили никакой поддержки в Германии. Гитлер не собирался делить Африку с Муссолини.

Еще год тому назад гитлеровский офицер «Фелькишер Beobachter» писал по поводу требований Муссолини, что «в итальянских выступлениях отсутствует связь между разделом сфер интересов и долей участия в военных действиях». С тех пор Муссолини посылкой своих лучших дивизий на советско-германский фронт пытался заслужить милость Гитлера. Но по мере

того как военная импотенция Италии принимала все более безнадежный характер, а гитлеровцы прибирали все больше к рукам свою «союзницу», они окончательно перестали с ней церемониться и давали ей ясно понять, что шакал может претендовать лишь на обглоданные кости.

Но дело шло уже не только о разделе военной добычи и отказе Италии от требований, ради которых она ввязалась в принесшую ей лишь неисчислимы бедствия и позорные поражения войну. Вопрос, который встает перед итальянским народом, — это полная утрата Италией своей независимости и ее порабощение германским «союзником». Муссолини обещал сделать Италию великой империей. Он превращает ее в немецкую колонию.

Когда немцы проникли в Италию под предлогом спасения положения в Ливии, они прежде всего занялись ее ограблением. Это было выполнено по тому же воровскому методу, который они применили в оккупированных Бельгии, Голландии, Франции и т. д., то есть, пользуясь установленным ими произвольно высоким курсом обесцененной бумажной марки. Они вывозили в таких огромных количествах все, что попадалось им под руку, в том числе предметы роскоши, антикварные ценности, произведения искусства, драгоценности, что в несколько месяцев буквально опустошили страну. Только в сентябре 1941 года, под давлением всеобщего возмущения, итальянское правительство осмелилось издать декрет, ограничивающий этот вывоз. Но было уже поздно: итальянские магазины и склады были пусты.

За этим мелким воровством последовал крупный грабег. Пользуясь итальянскими фискальными затруднениями и применяя все тот же фантастический курс марки, немцы стали скупать акции крупнейших итальянских предприятий. Без всякой борьбы конкистадоры Рура и Лейны завоевали с помощью Муссолини некогда гордое королевство Теллина, могучую цитадель ломбардского капитала. Мало-помалу «Ансальдо», «Ильва», «Фиат», «Мойтекатене», «Эдисон» и другие знаменитые итальянские предприятия и объединения становятся простыми филиалами концернов Геринга, Круппа, Сименса, «Фарбен-индустрии».

Вместе с тем Гитлер все более властно требует отправки в Германию новых сотен тысяч итальянских рабочих. Квалификационная рабочая сила была главной основой роста и развития «ломбардского Рура». Теперь значительная ее часть находится в Германии, где итальянцев используют в качестве подручных, чернорабочих, сельскохозяйственных батраков. В настоящее время количество итальянских рабов на гитлеровской территории уже превысило миллион человек.

Разрушаются все основы итальянской экономики. Это является практическим осуществлением провозглашенного недавно германским министром хозяйства Фунгом плана подчинить всю Европу, в том

числе и Италию, «потребностям военного хозяйства» Германии.

Италия разорена. Ее государственный долг превышает 400 млрд. лир. Завоевание и «освоение» ныне безнадежно, потерянной Абиссинии обобщою эй в 120 млрд. лир. Ее военные расходы достигают свыше 10 млрд. лир в месяц, при ежегодном национальном доходе предвоенного времени в 120 млрд. лир.

Вывозя из Италии в огромных количествах продовольствие, немцы буквально обрекли ее на голод. Норма выдачи хлеба на взрослого человека в Италии составляет всего 150 граммов в день. В мирное время макароны являлись основой питания итальянцев, причем потребление на каждого человека составляло 12 килограммов в месяц. Сейчас норма выдачи макарон не превышает 500 граммов в месяц, и то со значительными перебоями.

Даже «Критика Фашиста» осмелилась недвусмысленно заявить, что «немцы имеют совершенно ошибочное представление о продовольственных нуждах итальянского народа», на что последовала властная отповедь немецкой прессы с циничными рассуждениями, что «итальянский народ привык к лишениям» и что «жизненный уровень в отношении питания крайне низок у широких масс итальянского населения» («Национал Цейтунг» от 21/XI 1942 г.). Иными словами, итальянцам предлагается голодать без жалоб и не претендовать на равенство пайков с «народом господ».

По властному требованию Гитлера, Муссолини посылал на убой под Сталинград и на Северный Кавказ сотни тысяч итальянцев, в то время как из-за недостатка войск Италия теряла остатки своих колоний и не знает, как защитить свою метрополию, к порогу которой уже вплотную подошла война.

В течение последнего года, под влиянием затянувшейся войны, голода, разорения, и наглого германского хозяйничанья в стране, среди итальянцев росла антифашистские и антигерманские настроения. О росте оппозиции красноречиво говорила сама фашистская пресса, непрерывно метавшая гром и молнии против «недовольных», «паникеров», «малодушных», «пораженцев» и т. п. На основании расточаемых ей угроз можно было заключить, что в стране существуют «монархическая оппозиция», «католическая оппозиция», «оппозиция некоторых финансово-промышленных кругов», антифашистская оппозиция в армии, не говоря уже об общей оппозиции всего разоренного, бедствующего и голодающего населения.

Особенно сильно беспокоила Муссолини оппозиция в рядах итальянской армии. Еще в начале войны таинственная авиационная катастрофа избавила дуче от его старого смертельного врага — маршала авиации Бальбо. В Италии тогда никто не сомневался, что катастрофа была делом рук ОВРА. Затем были сняты со своих постов маршалы Бадوليو и Грациани, пользовавшиеся большой популярностью в армии. Они явились козлами отпущения за провал планов Муссолини в Греции и Ливии.

Начальником штаба и фактическим генералиссимусом на место Бадوليو был поставлен генерал Каваллеро — безгласная креатура Муссолини, крупный капиталист из группы Ансальдо, спавенный дуче от суда, когда будучи товарищем военного министра, он попался в крупных злоупотреблениях. Понятно что все это вызвало сильное раздражение в кругах итальянского офицерства.

Не доверяя армии, Муссолини сформировал 46 новых батальонов чернорубашечников, предназначенных для его личной охраны.

Недавно итальянские власти произвели массовую чистку итальянской армии, удаляя из нее все «неблагонадежные» элементы. Многие офицеры и солдаты были арестованы. Среди арестованных находится и полковник Грануцци, бывший адъютант принца Умберто. По некоторым сведениям, Грануцци расстрелян.

Оппозиция широко проникла и в ряды фашистской партии. О размерах этой оппозиции можно судить по тому, что в результате недавней чистки из партии под разными предлогами было исключено около 80 000 человек. «Дейче пейтунг», писавшая о наличии группировок в фашистской партии, взяла под подозрение даже генеральского секретаря партии Видуосони, противопоставляя ему Фариначчи, которого до конца подчинить Италии планам Гитлера.

В фашистской партии были обнаружены и настоящие подпольные фракции, все громче поговаривающие о необходимости «нового похода на Рим».

Если недовольство так широко распространилось даже среди привилегированных фашистских слоев, можно представить себе, какой степени оно достигло среди нищенского, голодающего, платящего дань кровью населения. Фашистская цензура тщательно следит, чтобы никакие сведения о настроениях в Италии не проникали во внешний мир. Но это становится все труднее. Недавно стало известно, что в начале сентября на юге Италии происходил крупный крестьянский бунт; что при посещении Генуи король был встречен криками: «Мы хотим мира», что в октябре и ноябре на железных дорогах Южной Италии было совершено свыше сорока актов диверсии и саботажа и т. п.

Газета «Стамп» от 15 ноября сообщала об увеличении в Италии числа подпольных радиостанций и истерически призвала следить за всеми «сомневающимися» и теми, кто стремится «использовать сложившуюся обстановку».

Положение в Италии и особенно рост там антигерманских настроений серьезно встревожили и Гитлера. В Италию был направлен Гиммлер. После ознакомления с обстановкой на месте, он принял решение послать туда 2000 матерых гестаповцев для руководства работой застенков ОВРА.

Страшным ударом для Италии явился мастерски проведенный англичанами разгром армии Роммеля в Западной пустыне. Несколько месяцев тому назад, когда итало-германские силы вторглись в Египет и находились вблизи Александрии, фа-

шистская пресса не знала границ своему хвастовству. Итальянское население заварили, что захват всего Египта и Суэцкого канала вопрос нескольких недель, что английский флот уже покидает Средиземное море и что Киренаика раз навсегда избавлена от нового английского вторжения. Итальянцы не имели представления, что Роммель потерпел крах в своей попытке прорвать английские оборонительные линии у Эль-Аламейна и что его положение с каждым днем становится все более критическим. Фашистская печать, наоборот, объясняла остановку движения роммелевской армии важными стратегическими соображениями и попрежнему трубила о «победах» в Египте. Поражение и паническое бегство германского генерала, которому пресмыкающаяся перед немцами итальянская фашистская печать создала славу нового Сципиона Африканского, произвело в Италии впечатление необычайное. Несмотря на драконовскую цензуру, весьма быстро стало известно, что Роммель бросил, как ненужный балласт, в египетской пустыне итальянские дивизи. Он не только извлек у них предварительно весь мототранспорт и лучшее вооружение, но оставил их без продовольствия, без воды, так что они умерли бы от голода и жажды, если бы сами англичане не вмешались, немедленно после их сдачи в плен, снабдить их воздушным путем необходимым продовольствием.

В своем стремительном бегстве Роммель не думал ни о какой защите Ливии. Он превратил города Киренаики, через которые отступал, в пустыню, уничтожая и сжигая там не только имеющиеся военные значительные объекты, но и последние достояние итальянских колонистов.

В начале итальянская печать пыталась, безуспешно доказать, что ливийское отступление является «гениальным стратегическим маневром», что по мере продвижения на запад и отдаления англичан от своих баз, их положение будет ухудшаться и что далее Эль-Агейлам прорваться не удастся. Однако новый блестящий маневр генерала Монтомери не только заставил Роммеля покинуть свои прекрасно укрепленные позиции, но и нанес ему весьма тяжелые потери. К малым числам декабри англичане были уже под Сиртом, продолжая преследовать разбитые и истрепанные остатки немцы-итальянского «африканского корпуса».

Итальянцы не успели еще прийти в себя после первых страшных вестей с ливийского фронта, как стало известно о внезапной высадке крупных англо-американских сил в Северной Африке, занятой ими Марокко и Алжиром, присоединения к ним французских сил Северной Африки и, наконец, о вступлении союзников в Тунис. Война вошла в критическую для Италии фазу. Все северо-африканское побережье Средиземного моря, за исключением узкого участка Тунис — Триполи, где итало-германские силы пытаются организовать отчаянное сопротивление, оказалось в руках союзников. В 1940—1941 годах Италия безвозвратно потеряла Абиссинию, Эритрею и Сомали. Теперь ясна была плачевная

участь ее последней африканской колонии — Ливии, колонии, завоевание которой стоило десятков тысяч жизней и миллиардов лир. Но еще более страшным для итальянцев было то, что и метрополия их ощутила под непосредственной угрозой. Реальность этой угрозы Италия почувствовала уже в ближайшие дни после высадки англо-американских сил в Северной Африке, когда на Геную, Милан, Турин и Неаполь обрушились сокрушительные удары с воздуха. В довершение всего Италия не была готова к этим ударам. Муссолини, так хвастливо болтавший несколько лет о совершенстве итальянской подготовки к войне, не располагает, как оказалось, не только сколько-нибудь порядочной истребительной авиацией, но даже и зенитной артиллерией. Уже первые воздушные налеты привели в итальянских военно-промышленных центрах катастрофические разрушения. Как показывают данные союзной фоторазведки, был выведен из строя генуэзский порт — одна из важнейших баз снабжения держав «оси». Были разрушены и стали жертвой пламени кварталы Генуи. Значительные повреждения были причинены известному заводу Ансальдо и крупным военно-морским единицам.

Не менее страшным разрушениям подверглись Милан и Турин. В Милане был выведен из строя химический завод Монтекатины, разрушен промышленный квартал Монферте. В Турине, на который были сброшены бомбы в 3-4 тонны, ряд кварталов представляет собой груды развалин. В начале декабря римский корреспондент венгерской газеты «Нестер ллойд», рисуя разрушения Турина и Милана, писал: «Можно сказать, что подвигнувшись бомбардировкам итальянского города, представляют собою ужасное зрелище, и скрывать этот факт не имеет никакого смысла».

Немедленно после первых налетов население бросилось в панике покидать крупные итальянские центры. Из Генуи бежало почти 75 процентов жителей, из Милана и Турина более половины. Несмотря на декрет Муссолини, угрожающий смертной казнью рабочим, самовольно бросающим работу на предприятиях, рабочие покидают промышленные центры. В связи с этим прекратилось или сильно сократилось производство на многих важных объектах, даже на разрушенных бомбардировками. В частности, завод «Фиат» в Турине вынужден был перейти с трех смен на одну.

В результате массового выезда населения из городов создалось катастрофическое положение на железнодорожном транспорте, все дороги были забиты беженцами, а размещение этих последних по маленьким городам и сельским местностям встретило огромное затруднение. Очевидцы рассказывают о затыках бездомных людей, несущих на плечах свои пожитки, скидающихся в поисках убежища, «ночлега, пищи».

Понятно, что все эти события довели население до пределов отчаяния и возмущения. Итальянцы востро убеждаются, к

какой катастрофе привела их затеянная Муссолини война.

Война перестала быть для итальянцев отдаленной экспедицией, о перипетиях которой они узнавали лишь из газет да по передаваемым попутно на ухо слухам. Она, как смерч, обрушилась на страну. По призыванию самого Муссолини, в Милане к началу декабря было разрушено и повреждено 2 414 дома, в Турине — 3 230, а в Генуе и ее окрестностях — 11 833.

Растерявшиеся фашистские горе-правители сами увеличивали панику своими заявлениями и «призывами к спокойствию». Итальянский радиокорментатор Марк-Аппелиус жалобно плакался: «Мы стоим перед угрозой пожара в собственном доме, в Италии... Для Италии пробил час серьезных испытаний». За Аппелиусом и другие обозреватели призывали население «примириться с мыслью о том, что страна может превратиться в крупное поле битвы».

Чтобы несколько ослабить антигерманские настроения в Италии и укрепить пошатнувшееся положение Муссолини, Гитлер разрешил ему оккупировать французскую Ривьеру, Савойю и Корсику. Но, несмотря на всю помпу, с которой это предстал дуче, смятение в Италии не только не ослабло, но даже усилилось. «Историческое событие» прошло, можно сказать, незаметно. Населению было не до Корсики и Савойи. Оно в этот момент думало лишь об одном: на какой город обрушится ночью очередной удар?

Зато в Италии участились случаи антиправительственных и антигерманских выступлений. Особенно крупный масштаб антинемецкие демонстрации приняли на о. Сицилия. Даже немецкая газета «Адлер фон Этна» вынуждена была признать, что в результате уличных столкновений были ранены германские летчики. Та же газета сообщила об уличных столкновениях в Палермо и других сицилийских городах, о лозунгах, появляющихся на стенах домов: «Долой немцев, да здравствует Сицилия!». В Катании произошли кровавые стычки между немецкими и итальянскими солдатами. Посланный Муссолини в Сицилию для «наведения порядка» крупный полицейский чиновник Спада был убит. В Турине население устроило демонстрацию с криками: «Требуем мира! Долой немцев!» Демонстрация была рассеяна огнем полиции и войск, причем имелись убитые и раненые. В ответ на расстрел забастовали рабочие и служащие местных предприятий. Демонстрации и забастовки вспыхнули и в ряде других мест. Во многих итальянских городах германские консульства и предприятия охраняются немецкими войсками.

Весьма характерно, что итальянская пропаганда, ранее с упоением расписывавшая те «великие» территориальные приобретения, которые Италия получает в результате победы, в последнее время не упоминает более о них и предлагает лишь бесплодные усилия, чтобы сложить с Муссолини ответственность за войну. Известный фашистский журналист Вирджинио Гайда договорился даже до того, буд

то Италия вступила 10 июня 1940 года в конфликт с намерением вести только... оборонительную войну».

Об обострении положения на «внутреннем фронте» свидетельствуют и тревожные статьи в фашистской прессе. Недавно «Режиме фашиста» вынуждена была констатировать, что многие итальянцы осуждают нынешнюю итальянскую политику, заявляя, что «руководящие круги беспомощны и находятся, не на должной высоте, а потому их нужно отстранить».

Одновременно усиливаются репрессии против недовольных и «подозрительных». Аресты в Италии приобретают все более массовый характер. Даже судя по сообщениям фашистских газет, в декабре в Италии были брошены в тюрьмы тысячи людей, «подрывающих внутренний фронт». Из всего этого можно вывести, что итальянский народ проклинает своих заправил, втянувших его в страшную войну, и испытывает единственное желание поскорее из нее выйти.

Когда-то Муссолини любил появляться на балконе дворца Венеция и обращаться к итальянцам с напыщенными речами о «славе созданной им империи», о «силе итальянских штыков» и о том «величии, к которому он ведет Италию». Но с той поры, как война превратилась для Италии в сплошную цепь позорных поражений, он предпочитал благоразумно хранить молчание. Однако сейчас, когда его собственная судьба поставлена на карту, он решил выступить.

2 декабря, в палате фашистской корпорации, он заявил: «Восемнадцать месяцев я молчал, а теперь почувствовал, что итальянский народ захотел услышать мой голос».

И вот итальянский народ услышал этот голос, и этот голос выдает растерявшегося, охваченного паникой человека. Куда ждась былая кичливость «наследника великих цезарей». Он не упоминает более о «великих завоеваниях», обещанных им Италии. Он не пытается даже, как это можно ожидать от вершителя судеб страны, дать хоть какой-либо анализ положе-

ния. Он лишь вопиет, что к английским угрозам дальнейших воздушных налетов надо отнестись серьезно; он рекомендует поскорее бежать из городов; он возлагает все свои упования на гитлеровские обещания дать ему немного зенитной артиллерии.

Он жалуется на «слабонервных» людей, спешащих «наложить повязку на голову еще раньше, чем ей угрожает удар», и упрасивает перестать говорить о внутреннем и внешнем фронте. И этим он выдает свой страх перед итальянским народом, который будто бы хотел услышать его голос. Вся речь дуче является великолепной иллюстрацией той растерянности и страшного смятения, которые овладели правящей итальянской верхушкой.

В системе «ось Берлин — Рим» Италия является наиболее слабым и уязвимым звеном. Ее военный потенциал резко подорван понесенными потерями, быстро растущей деморализацией, разрухой итальянской экономики. Все стремления итальянского народа, сводятся к тому, чтобы освободиться от ярма своего «союзника» и поскорее выйти из войны. Бести с успехом наступлений Красной Армии еще более усилили антигерманские настроения в Италии. Престижу Гитлера нанесен новый удар. Итальянцы видят, что война на востоке кончится страшным разгромом Германии и что последняя, бросая остатки своих сил на Восточный фронт, является плохой защитницей для Италии.

Сам Гитлер уже с нескрываемой тревогой следит за итальянскими делами и, в предвидении возможного крушения своего итальянского союзника, спешно укрепляет итало-германскую границу на Бреннере.

Кампания в Африке, означающая переход инициативы в руки союзников, «меняет в корне военно-политическое положение в Европе в пользу англо-советско-американской коалиции», и в частности, «создает условия для вывода из строя Италии и для изоляции гитлеровской Германии» (Сталин).

„Радуга“

В литературе военного времени «Радуга» Ванды Василевской займет, конечно, особое место. Это проникнутое глубокой печалью и вместе с тем словно наэлектризованное необычайным мужеством произведение является первой более или менее значительной попыткой изобразить величайшую из трагедий, когда-либо выпадавших на долю человечества, — трагедию советского человека на захваченной немцами советской земле.

Художник, поставивший себе такую задачу, не может, разумеется, свести ее только к описанию кровавых преступлений фашистской военщины. Что касается фактов этого рода, фактов в точном и тесном значении этого слова, — искусству нелегко здесь состязаться с любым из сообщений Совинформбюро, с любым, на месте преступления составленным, официальным актом. Виселицы, корченские рвы, гекатомбы детских трупов, обугленные руины русских городов, — что, в сущности, может прибавить художник к потрясающему и молчаливому красноречию таких фактов и многих тысяч им подобных?

Он может передать их с предельной выразительностью, он может внести в изображение их всю свою ненависть к палачам и убийцам, все свое братское сострадание к их жертвам, и тем не менее на этом пути он еще не достигнет своей цели.

Чтобы оказаться на уровне задачи, он должен заглянуть широко раскрытыми глазами в страшный и жестокий мир, который начинается сейчас же по ту сторону немецких линий, должен показать нам жизнь, точнее говоря, существование людей, наших братьев по крови и духу, в этом аду. Мы хотим знать об этом все или, во всяком случае, возможно больше; мы хотим знать и как бы воочию видеть нечеловеческие условия этого существования; мы не только хотим, но и чувствуем себя обязанными знать, — как живут, страдают, борются, что чувствуют, что думают, на что надеются миллионы наших людей, временно утративших свою советскую свободу, оказавшихся во власти кровавого и холодного гитлеровского «нового порядка».

Нам нужна цельная картина великой трагедии: этого требует наша борьба, это-

го требует наша ненависть, этого требует наша доля к возмездию, — потому что иначе нам полостью не понять, какую участь готовит гитлеризм нашей стране и нашей свободе. Нетрудно видеть, какую благородную, но вместе с тем невероятно сложную и трудную задачу берет на себя художник, приступая к созданию такой картины, особенно если вспомнить, что в сущности только искусство и способно сейчас разрешить эту задачу.

Публицист и историк в состоянии лишь в самой малой степени заменить здесь художника. Но и художнику, далеко не всегда дано быть очевидцем и живым свидетелем того, что происходит по ту сторону фронта, — значит ли это, что он вправе на одном только этом основании отказаться от задачи? Разумеется, нет; но зато тем большие требования предъявляет она к нему, и не только к его изобразительному таланту, но и к его гражданскому, патристическому сознанию, к его общему кругозору, к его личному опыту, к его творческому воображению, к его смелости и мужеству, наконец.

2

Вряд ли можно приписать простой случайности то, что именно автор «Земли в ярме» сделал поини в этом направлении. К моменту, когда разразилась война, тема человеческого страдания, тема социальной несправедливости, угнетения человека человеком переживала в советской литературе своеобразный и в то же время вполне естественный и закономерный упадок. Советская действительность не давала ей пищи, опыт основных писательских кадров, особенно нового поколения, в этой области истощался, а если кто-нибудь и затрагивал эту тему, то, главным образом, ретроспективно, как тему прошлого. Но вот она снова стала темой настоящего, и в этом качестве предстала перед советским художником как жгучая, но новая тема, «освоенная» которой требует и времени и труда.

Совершенно по-иному обстоит дело у Ванды Василевской: для нее широкая разработка той же темы, хотя бы и на другом материале, явилась прямым продолжением ее прежней творческой линии. Это —

ее основная, если не единственная, тема, это — ее собственная живая традиция, которую она принесла к нам из такой жизни и такой литературы, где это не могло не быть главным в деятельности каждого передового и честного художника.

Мы хорошо помним неизгладимое впечатление, произведенное на нас в свое время «Землей в ярме»; драма довоенной польской деревни, замученной и затоптанной в грязь «туземными» эксплуататорами, казалась нам тогда крайним, почти невозможным пределом человеческих страданий и человеческого унижения в классовом обществе. В ту пору мы лишь весьма отдаленно могли предчувствовать, какую чудовищную судьбу готовят десяткам и сотням миллионов человеческих существ германский империализм. Но пришел час, гитлеризм спустил с цепи беренных псов насилия и разрушения, и мрачная правда «Земли в ярме» побледила и отступила в тень перед кошмарами «Радуги».

И все же, сравнивая обе повести, мы на каждом шагу убеждаемся, что написаны они одной и той же смелой рукой, что все рассказанное в них пережито одним и тем же мужественным сердцем. Глубокое внутреннее и притом не только тематическое, родство связывает «Радугу» с «Землей в ярме», — и заключается оно в твердой, а бы сказал, жестокой и даже беспощадной правдивости художника.

В это определение и вкладываю не просто общую оценку творчества Ванды Василевской, но и вполне конкретную характеристику ее таланта и художественного метода. Не всякий художник умеет так прямо и смело, не отрываясь и «не мигая», смотреть в глаза самой страшной действительности, как это умеет Ванда Василевская. В искусстве, как и в повседневной жизни, нам известно явление, которое можно назвать правдობязанью. Часто, даже если мы знаем или признаем ту или иную ужасную, безобразную, мучительную правду, мы не осмелимся взглянуть на нее прямо или так же прямо показать ее другим, — особенно, когда она непосредственно касается дорогих и близких нам людей или предметов.

Но, если в жизни мы попросту отвращаемся или прикрываем глаза рукой, то в искусстве мы прибегаем с той же целью к разнообразным и сложным приемам, в числе которых можно встретить и фигуру умолчания, и всевозможные методы смягченного, завуалированного изображения, и различные формы «намёков». Иногда это бывает оправдано темой, идеей, предметом произведения; но нередко за этим кроется недостаток гражданского мужества, неуверенность художника в собственных душевных силах, и в душевных силах читателя или зрителя.

Ванда Василевской ведомы в этом отношении никакие страхи. Прямота и смелость ее взгляда на мир и в «Земле» и особенно в «Радуге» — поразительны. Картину нечеловеческого существования советских людей под немецким игом она обнажает твердой, властной, не знающей

колебания рукой, и нет такой грубой, уродливой, жестокой подробности, которую она не осмелилась бы осветить полным и резким светом.

Она не может не знать, что этим она делает уязвимой формально-эстетическую сторону своей повести, что на этом пути она рискует подвергнуться упрекам и в «натурализме», в отсутствии «чувства меры» и др.; тем не менее, она игнорирует эти «опасности», и ее глубочайшая принципиальная правда вряд ли нуждается в специальных обоснованиях. Разумеется, если дать вне художественного контекста повести рассказ о том, как немецкие скоты раздели до-гола и выгнали на мороз беременную партизанку, то с точки зрения мелочко-эстетской критики это будет лишь сугубо натуралистическая сцена. Однако художник спокойно, в полном сознании своей правоты, может ответить на это: но это — правда, это — правда о зверином хамстве, о безмерной подлости, о бесчеловечной жестокости врага, и не дозволяет отворачиваться от этой правды, если вы действительно покладлись ненавидеть, если вы действительно решили отомстить...

Правда, о которой рассказывает Василевская, требует предельно резкого рисунка, контрастного письма. Для этой суровой и мужественной манеры чрезвычайно характерна сцена, которой начинается «Радуга». Колхозницы Федосья Кравчук немцы расстреляли юношу-сына; они бросили труп в овраг, вместе с другими расстрелянными, и запретили его хоронить. Каждый день, в течение многих недель подряд, мать тайком приходит сюда на свидание с мертвым сыном; она останавливается возле трупа, она вглядывается в любимые, искаженные смертью черты; она молча беседует с мертвецом.

Из хаты вышла женщина с ведрами. Они покачивались на коромысле в такт ее медленным шагам. Женщина спустилась вниз по склону, осторожно ступая по скользкой дорожке. Она шуршала от солнца. Отражаясь в снежных сугробах, оно ослепляло яркими, острыми лучами. Вот она сошла вниз. Поставила ведро у проруби и оглянулась. Никого не видно. Хаты стояли тихие, будто утонули в снежной перине. Женщина постояла с минуту и, оставив ведро на льду, медленно двинулась вдоль берега, спокойно оглядаясь на село сверху.

То тут, то там под снегом обозначались какие-то необразованные темные отщепенцы. В расщелине виднелась куча комочков. Обломки металла, ломаное, заржавевшее железо пятнами проступали на голубизне снега.

Она ступила еще два шага и медленно опустилась на колени. Он лежал скостеневший, вытянувшийся, как струна. И, посмотрев на это, он казался меньше, гораздо меньше, чем при жизни. Лицо — словно вырезанное из черного дерева. Она водила глазами по этому лицу, лицу знакомому до последней черточки и вместе с тем чуждому. Губы застыли в неподвижности, нос заострился, веки опустились на глаза.

Каменное спокойствие было в этом лице. Сбоку, возле самого виска, зияла круглая дыра. По краям ее застыла кровь, естественно ярко-красная. Кровавый значок на черном.

«Видимо, он не сразу умер от этой раны. Видимо, он был еще жив, когда с него спускали одежду. Он был жив или был еще теплый. Это не смерть, а руки грабителей вытрясли его ноги, вытянули руки вдоль туловища. В день боя, в тот день, когда он погиб, тогда тоже стоял трескучий мороз, и мгновенно хватал в свои клещи убитых, обрашал в камень их тела. С мертвого им уж ничего бы не стащило. А его ограбили до последнего, оставили только гимнастерку, сорвали шинель, стащили сапоги, брюки, даже портянки. Голубые кальсоны словно вросли в тело, касались нарисованными синькой на дереве, невозможно было отличить кожу от материи. Голые ступни в отличие от совершенно черного лица, были белы нечеловеческой известковой белизной. Одна ступня треснула, от мороза — мертвая плоть отделилась, словно подошва, была видна обнажившаяся кость.

Женщина осторожно протянула руку, коснулась мертвого плеча, почувствовала шершавое сукно гимнастерки и под ней неподвижность камня.

— Сынок..

Она не плакала. Сухие глаза смотрели, видели, впитывали в себя все. И черное, как железо, лицо сына. И круглую дыру на виске, треснувшую ступню, и то единственное, что говорило о смертных муках, — некривленные, как ногти, сведенные судорогой пальцы, впитавшиеся в снег.

Женщина тихоноcko стряхнула с темных откинутых назад волос напесенный ветром снег. Одна темная прядка лежала на лбу. Она не решалась коснуться ее — прядка прилипла к ране, вросла в нее, облепленная кровью.

Всегда, каждый раз, как она сюда приходила, ей хотелось откинуть эту прядь. Но она боялась тронуть ее, боялась пошевелить, словно это могло причинить боль умершему, разбередить рану.

— Сынок..

Бессознательно, сухими губами шептала это одно — единственное слово, будто он мог услышать.

Будто мог поливать тяжелые, почерневшие веки, взглянуть родными серыми глазами».

Эта, словно резцом по стали вырезанная сцена полна глубокого смысла. Образ советской матери, ежедневно приходящей на свидание к убитому немцами сыну и в созерцании его безжизненных черт черпающей силу, чтобы жить, бороться и метать, проходит через всю повесть как символ нашей борьбы и негибели.

Смотри же, смотри! — как бы обрывается к каждому из нас Ваида Васильевская в своей повести. — Смотри, что они делают и что они еще хотят сделать с нашими людьми, с нашей страной, с нашей свободой. Смотри же, как смотрит Федосья Кравчук на мертвого сына. — смотри сухими глазами, впитывая в себя все — каж-

дую каплю невинно пролитой крови, каждую детскую слезу, каждый вершок истерзанной и оскверненной советской земли. Кто бы ты ни был и где бы ты ни был, ты должен каждый день мысленно придти на свидание, — как приходит Федосья Кравчук к мертвому сыну, — со своими замученными братьями по ту сторону немецких окопов. Смотри же туда, не отвращайся, не бойся ничего, и пусть это еще больше ожесточит твое сердце, еще больше закалит твою неперемлимость, еще неутомимее делает твою каждую возмездия!

3

Простыми и ясными словами раскрывает Ваида Васильевская действительное содержание трагедии, разыгрывающейся там, где советскую землю попирает нога немецких захватчиков. Прислушайтесь внимательно к тому, что думают и чувствуют советские люди в черной ночи немецкой оккупации, и вы поймете, почему так велико их страдание, и в то же время — почему так велика, так бесповоротна их непокорность. Никто не спит в эту ночь в маленькой украинской деревне, окровавленной, опустошенной, ограбленной наглými и бессовестными завоевателями. Не спит население, не спят немецкие солдаты, ни на минуту не прекращает своей дьявольской работы машина немецкого террора. Вот и сейчас эти лишенные совести и чести подлещы пытаются партизанку Олену Костюк. Они вытолкали ее, березиную, голой на мороз, с идиотским, похабным смехом они гоняют ее взад и вперед, уколами штыков приводят ее в себя, когда силы готовы изменить ей. В неосуществленных, погруженных во мрак домах, задыхаясь от горя и ненависти, советские люди следят за тем, что происходит на улице..

«Федосья впиалась пальцами в оконную раму и смотрела, смотрела.. Вст она, Олена Костюк. Когда-то давно они вместе работали на помещичьем поле. Вместе дрожали перед приказчицей шлеткой и еще больше перед приказчицкими ухаживаниями. Вместе плакали над своей долей, злой, безнадежной долей девушек-батрачек.

А потом они вместе работали в колхозе и вместе радовались поднимавшейся пшенице и возраставшему удою колхозных коров, и тому, что все светлее, веселее улыбается жизнь.

И теперь вот какая судьба выпала Олене. Пятьдесят метров вперед, пятьдесят метров назад, голым, босиком по снегу, за день-два до родов. Солдатский смех, штык, колотущий в спину.

Федосья не плакала, не кричала. В сердце ее заеклась черная кровь. Так должно быть, иначе и быть не может, пока они тут. Будто нарочно хотят показать, на что они способны. Будто хотят показать, что нет границ их жестокости. Она смотрела на Олену, и не сочувствие охватило ее сердце.. Нет, здесь не было места жалости. Федосье казалось, что это она сама бежит там босиком по снегу, нагая, отданная на издевательство сол-

дат. Что это ее ноги ранит смерзшийся снег, ее спину коллет сталь штыка. Это не Олена Костюк, это все село шло по снегу, подгоняемое солдатским смехом. Это не Олена Костюк, это все село падало в снег лицом, тяжело поднималось под ударами прикладов. Это не из ног Олены Костюк струилась на жесткий, обледеневший снег кровь, это село истекало кровью под немецким кулаком, под немецким сапогом, под немецким разбойничьим игсм).

Мало что можно прибавить к этой немногословной и вместе с тем глубоко жизненной характеристике огромной человеческой драмы. Немецкое вторжение довело до сознания каждого советского человека в районах оккупации, что он имел до этого и чего он, на время лишается теперь. Он обладал самой полной, самой совершенной мерой свободы, какую когда-либо знало человеческое общежитие на всем протяжении своего существования, и на эту свободу покусился теперь самый бесчеловечный, самый алчный, самый гнусный из завоевателей, какие когда-либо выступали под тем или иным флагом в истории.

Пути истории усеяны развалинами и пепелищами, оставленными здесь бесчисленными цезарями и Чингис-ханами, страны ее залиты слезами и кровью народов, в результате нелепного нашествия утрачивших свою свободу и независимость. Но если в самой свободе и благополучии этих народов всегда были смещаны в разных пропорциях действительность и иллюзия, реальность и фикция, — ибо иначе и не может быть в условиях эксплуататорского общества, — то наша, советская свобода, продукт величайшей и радикальнейшей из революций, впервые в истории выступает как свобода, полностью очищенная от каких бы то ни было элементов иллюзорности.

Это — безусловная, до конца реальная свобода. Впервые в истории самым широким человеческим массам обеспечена свобода от великой эксплуатации, обеспечены действительно человеческие условия существования. На пространный шестой части земной суши для двухсот почти миллионов людей понятие «свобода» слилось воедино — и, не только в их сознании, а и в действительности — с понятием «Родина», с понятием «Труд», с понятием «Счастье», с понятием «Жизнь». Представьте себе старшего поколения, те же, например, Федосья Кравчук или партизанка Олена, помнят еще «работу на помещичьем поле», но уже и для них, а тем более для миллионов других, для целых поколений, выросших при советской власти, советская свобода превратилась в естественное, подлинно человеческое состояние, в неперемненное условие существования, столь же необходимое, как необходим, например, воздух птице для полета.

В том, главным образом, и состоит подлая, бесчеловечность новоявленных немецких рабовладельцев, что они хотят лишить нас, — а миллионы наших братьев по крови

и духу временно уже лишили, — этой всеобъемлющей человеческой свободы, заменить ее для нас системой столь же всеобъемлющего, абсолютного рабства. Рабовладельцы не могут не зверствовать: бесчеловечность методов органически вытекает из бесчеловечности замысла. Бесчеловечность заложена в самой природе фашизма; он — воплощенное отрицание всего человеческого: это зверь, нападающий на человека.

Советская свобода — наше естественное состояние, и, как всякое естественное состояние, оно не всеми и не всегда бывает в одинаковой мере осознано; но когда дикий орда рабовладельцев врывается в нашу жизнь, чтобы это состояние насильственно уничтожить, сознание того, чем мы владеем и чего мы лишаемся, вспыхивает в нашем мозгу ослепительным светом. Трагедия утрачиваемой и утраченной реальной свободы, трагедия насильственного превращения подлинно свободного человека в абсолютного раба — вот что происходит в жизни миллионов по ту сторону советско-германского фронта, и в истории человечества не было трагедии более потрясающей по своим масштабам и глубине. Поэтому-то и полны трагического смысла слова Федосьи Кравчук, когда она говорит самой себе: «Штыком, железными кулаками учил крестьян немецкий солдат тому... чем была советская власть». Ибо советская власть — это и политическое имя нашей советской, социалистической свободы и ее самая надежная, самая мощная броневая защита.

Но не одни только неслыханные страдания несет с собой советским людям пережитая ими трагедия: она же, эта трагедия, является неисчерпаемым источником такого сопротивления, такого отпора, такой ненависти, с какими ни разу до того не сталкивалась немецкие рабовладельцы за все время своего разбойничьего триумфального шествия по другим странам Европы. Здесь, на великой русской равнине, фашистский зверь впервые обломал свои железные, клыки о волю подлинно свободного и потому непокоримого советского человека и здесь же гитлеровский фашизм впервые на практике познал всю несостоятельность и обреченность своей омерзительной рабовладельческой утончи «нового порядка». Советский человек не только не хочет, он не может и не умеет покориться. Он непокорим потому, что не может отречься от своей свободы. Его непокоримость для него такое же естественное состояние, как и его свобода, и в ней, в этой непокоримости, — залог конечного торжества свободы над рабством, жизни над смертью, человека над зверем.

Мы ведем против гитлеровского фашизма войну на уничтожение. Мы уничтожим гитлеровское государство, гитлеровскую армию, гитлеровский «новый порядок», их руководителей, вдохновителей, организаторов.

К этому нас зовет и повесть Ванды Василевской.

Из рассказов о наших людях

В единой цепи всенародного отпора врагу нередко огромные тяжести выносят на себе, казалось бы, слабые звенья. Война сделала героями и таких людей, которые, за первый взгляд, меньше всего приспособлены к борьбе. В нашем искусстве рождаются образы возвышенные, в полном смысле слова — романтически и, в то же время, глубоко реальные, целеустремленные; образы обыкновенных, мирных людей, отдавших всю свою жизненную силу интересам и задачам борьбы.

На стороне немецкого офицера Вернера из «Радуги» Ванды Василевской все средства современного оружия и все неуверенство гитлеровской провокации, и все же он вынужден признать свое бессилие перед партизанкой Оленой Костюк, ослабшей от голода, исторзанной в немецком застенке: ни словом не выдала она партизанской тайны.

«Доведенный до отчаяния, он (Вернер) готов был просить, умолять эту упрямую; озлобленную бабу. Но он знал, что и это не поможет».

От каждого участника этой войны с врагом сильным и коварным требуется мастерство и умение обращаться с оружием. Но если нет умения обращаться с самим собой, если воли к борьбе подорвана и дух победы не осеняет бойца, оружие само падает из рук. Справданья Олены Костюк в изображении Ванды Василевской вызывают в нас чувство безмерной жалости к ней, чувство гордости за нее, чувство презрения, исполняющей ненависти к подлецам-истязателям, воплощающим в своих действиях систему гитлеровской армии; враг хочет запугать наших людей, но не страх, а жажду мести и неустойчивую волю к борьбе пробуждает он в них. Олена Костюк, едва познавши радость материнства, пожертвовала своим ребенком во имя общего дела. Своей стойкостью она обеспечила успех совместных действий партизан и частей Красной Армии. Воля к борьбе — вот что, прежде всего, делает человека воином. Образ Олены Костюк дает представление о крепости массового сопротивления советских людей. Кто посмеет сказать, что в этой цепи женщина — слабое звено?

В этой войне мотором человек, его воля, его самообладание и готовность к самопожертвованию оказываются той основной силой, без которой и самая лучшая материальная часть откажет. Художественная литература отразила уже эту черту современной войны, в которой скрежет металла все-таки не может заглушить самого главного — ровного, без перебоев, бияния обыкновенного человеческого сердца. И сердце храбреца обеспечивает ему ту твердость рук, которая опрокидывает сплошь и рядом во много раз более сильную материальную часть противника.

Стоит бойцу или армии «потерять сердце» — и они погибли. Картина гибели французской армии в войне с гитлеровскими ордями, нарисованная Гансом Габбе в его книге «Тысячи падут»¹, это картина распада вооруженной силы вследствие отсутствия сопротивления. Нет больших страданий и мук для патриота, чем страдания солдата, которому оставлено оружие, но отнята вера в необходимость сопротивления, чем муки защитника родины, которому уже некого защищать, кроме самого себя. Ганс Габбе — сержант. Двадцать первого полка иностранных волонтеров, входившего в состав французских войск, рассказал в своих записках о трагедии армии, обманутой своими руководителями и потерявшей волю к борьбе. «Sauve qui peut» — «Спасайся, кто может» — вот девиз деморализованной толпы, в которую превратилась еще вчера первоклассная армия.

«Я лежал на брошенном вещевом мешке. При каждом взрыве сенегалец вопил: «Шоф ки по! Шоф ки по!» Это скоро стало похоже на восточную молитву».

И словно для того, чтобы подтвердить, что это лозунг самоубийц, а вовсе не людей, желающих бороться за свою жизнь, сенегалец вскоре был убит. Во время агонии:

«Его язык, толстый черный язык, шевелится во рту. И вместо имени любимой или последнего желания, он бормочет: «Шоф ки по! Шоф ки по!»

Невообразимый хаос, никаких признаков работы интендантства. «В Париже мало выдавалось по карточкам, армия голодала, а по всей области посетил запах навали от гниющих туш», никакой связи частей с командованием — так предавали Францию. Но если дух армии удалось сломить, то нельзя было сломить дух народа. Жители одной из горных деревушек, услышав о быстром продвижении немцев, не сомневались в том, что их будут защищать, и предупредительно вырыли окопы, чтобы облегчить задачу своих защитников.

«Не было ни одного из нас, кто с радостью не отдал бы жизнь за эту безмятежную деревушку», — говорит автор записок.

Но этим честным солдатам не оставалось ничего, как только спасти свою жизнь, потому что в условиях панического бегства обманутой армии некому было организовать сопротивление.

Записки Ганса Габбе показывают, как вооруженная сила распадается, прекращается в ничто, если она потеряла волю к борьбе и веру в победу.

В самый тяжелый период войны советские люди не опускали рук, не теряли

¹ «Интернациональная литература» №№ 6 и 7, 1942 г.

присутствия духа. В превосходном рассказе С. Сергеева-Ценского «Старый врач»¹ выведена супружеская пара: врач-хирург Иван Петрович и его жена, тоже врач, Надежда Гавриловна. Они обаятельны своей благожелательностью к людям, вежливостью, сердечной чистотой. Старый врач и его жена, изображенные С. Сергеевым-Ценским, — представители передовой советской интеллигенции, активные общественники и работники.

«Каждое утро он (Иван Петрович) справлялся у соседки, где был репродуктор, что передавалось с фронта, и смотрел в карту. Каждый день он читал в газетках о том, как расстреливали, вешали, пытали, заживо засыпали землей в воронках от снарядов, заживо сжигали в домах и сараях советских людей немцы.

— Что это? А?... Что это такое, я спрашиваю? — обращался Иван Петрович к жене. — Целое поколение атакистов там, в Германии, или сумасшествие всего народа... Война это? Нет, это не война!.. Войны были, и мы тоже войны имели, несчастье видеть, но изобрести такую войну могли только сумасшедшие люди или... голландцы!.. Вероятнее первое!»

И вот в город вошли немцы. Немецкий офицер приказал выбросить из больницы местных жителей. Малый предатель, перебившийся на службу к врагу, выгнал из больницы старого врача. Она была превращена в военный госпиталь. Вскоре туда привезли раненых немецких солдат и офицеров, состояние которых требовало немедленной операции. Понадобилась помощь русского хирурга. Иван Петрович, к удивлению жены, дал согласие.

«— Неужели ты... — начала она снова. Но он не дал ей договорить. Он обнял ее и прошептал ей на ухо:

— Иридется пойти, потому что у нас нет шприца».

Надежда Гавриловна не ошиблась вступившей воей своей жизни. Старый русский врач, истинный гуманист, оставшийся в городе на своем посту возле больных, не мог допустить и мысли о какой бы то ни было помощи врагам родины. Перед операцией он впрыснул жене в себе смертельную яд. Что он мог сделать еще и как мог он поступить иначе?

«В кармане умершего нашла бумажку с несколькими словами: «Лучше смерть, чем подлая жизнь под игом горилл с автоматами!»

В одном из рассказов о героической «морской душе» советских моряков Леонид Соболев дает такую их характеристику:

«Когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк схватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой».

Во разве не в бою погиб старый врач, оставив издыхать полных убийц беззащитных женщин и детей? В смерть он хватал столько врагов, сколько было перед ним. И разве душа старика в рассказе С. Сергеева-Ценского не оказалась

столь же крепка и страшна для врага, как и «морская душа» героев Л. Соболева?

В новой повести И. Ф. Попова «Под звездой Москвы»¹ показана маленькая Бельгия, восстающая против пилдорской тираннии. Бельгийских патриотов воодушевляет пример героического русского сопротивления. Есть в этой острой романтической повести, полной сильных страстей, смелых поступков, возвышенных чувств и мыслей ряд запоминающихся сцен, в которых раскрывается величие человеческой души, поднимающейся на борьбу с поработителями. Слабые становятся сильными. Старая тетка Луиза из почтенной, уважаемой в городе семьи ван Экенов «всякую перемену воспринимала как вызов судьбе и почти как грех». «С юности до старости каждую пятницу она мыла тротуар перед домом и стены дома до высоты бельэтажа; каждую субботу она варила мясной бульон на два дня; каждое воскресенье ходила к мессе; каждый понедельник и вторник шила и чинила одежду; каждую среду бывала на кладбище за холмом у ручья...»

В старом доме ван Экенов превращенном в своеобразный музей реликвий славной истории города, хозяйничают немецкие офицеры. Альберт и его старший брат Матье, племянники Луизы, вынуждены скрываться. В кабинете Альберта дежурит немецкий капитан — грубое, трусливое животное, возвавшееся в тихий дом ван Экенов вестником несчастий иноземного нашествия. В повести И. Ф. Писова Луиза — это образ бельгийской Пульхерии Ивановны, становящейся Жанной д'Арк. Луиза сама не могла понять, как это случилось, но спела ее восстания против захватчиков — одна из наиболее убедительных в художественном отношении. Старуха пришла поправить в камине огонь. Ничто не могло показаться более естественным для капитана: ведь Луиза была воплощением порядка и заведенного обихода в старом доме ван Экенов.

«... дописать фразу капитану не удалось».

Луиза подняла над его головой тяжелую кочергу и с бешеной силой ударила его по черепу. Капитан, не издав ни звука, поник головой на стол возле своего дневника».

Униженные и оскорбленные обретают волю к борьбе. Негативист к поработителям становится материальной силой, действие которой не может предугадать враг.

Образы братьев ван Экенов в повести И. Ф. Попова возрождают старые романтические традиции. Альберт — кабинетный ученый, любитель старины, приверженец философии Метерлинка, Матье — активный участник рабочего движения, виртуоз оружейного мастерства. С отличным знанием быта, истории и национального колорита, автор изображает разницу в характерах Альберта и Матье, разницу их биографий. Но вовсе не для того, чтобы перед лицом национального несчастья, обрушившегося на их отечество, оправдать этим разницу их поведения. Звезда Москвы светит для

¹ «Красная новь», № 8, 1942 г.

¹ «Октябрь», № 9, 1942 г.

обоих братьев, но в то время как Альберт взвешивает шансы на победу русских и, в зависимости от этого, все решается надвое. Матье, всем сердцем веря в эту победу, знает, что она зависит и от него. Его патетический монолог, обращенный к младшему брату, содержит программу действий для каждого истинного патриота.

«Что же ты такой, что взвешиваешь на весах свою верность стране отцов? Гадают и взвешивают только наемники. А сыновья родины дерутся до последнего дыхания».

Под влиянием изуверской нравственной пытки Альберт пошел на сговор с немцами и этим едва не помешал работе патриотов. Вскоре он ужаснулся тому, что сделал, порвал с врагами и явился с повинной к Матье, который готовил наступление против завосвателей. Матье отверг его. «Ступай и учись мужеству», — сказал он любимому младшему брату... — Мы издали тебе поможем».

Это была одна из самых тяжелых побед, одержанных принципиальным Матье. Но и Альберт доказал, что он был достоин такого урока: он пал смертью храбрых.

Весть о поражении немцев под Москвой сплотила бельгийских патриотов: захваченный потеряли поражение и в далеком бельгийском городке».

В произведении И. Ф. Попова романтический пафос борьбы за родину местами

переходит в риторичку. Это вредит повести, но не может снизить ее большого публицистического воодушевления.

«В преодолении невозвратных утрат, в подчинении печалей всегда бодрствующей верности делу, и есть истинная жизнеспособность, вдохновляющая на твердое и радостное свершение того, что нам велит наш долг. Без утрат, невозвратных утрат, нет борьбы. Торжество жизни не в отсутствии несчастий, а в их преодолении».

Эти мысли героя повести, нестигаемого патриота Матье или Эжен, как бы свидетельствуют, что силу борца составляет вовсе не отсутствие страдания. Сила Матье в сопротивлении, в преодолении страданий и лишений во имя счастья родины. Не страдание само по себе, но лишь нравственное сопротивление ему воодушевляет людей, и только оно действительно художественного изображения, потому что такое сопротивление всегда победоносно.

У нашей армии-освободительницы с каждым днем растет повсюду число самоотверженных помощников и друзей: воля и борьба делает их воинами. Это неразрывная цепь. Враг живет между двух огней. Вместе с новыми сокрушительными ударами, которые наносят врагу Красная Армия, захватчиков ждут страшные удары с тыла, от пострадавших людей, чьи страдания стали источником их силы.

„Морская душа“¹

Небольшие рассказы Соболева «Морская душа» со столь обычным сейчас подзаголовком — «Из фронтовых записей» — посвящены героическим черноморским морякам. Они написаны по свежим следам событий и под непосредственным их впечатлением. И, хотя в этих записях автор стремился следовать только фактам, ему удалось дать собирательный образ «морской души», образ бессмертных защитников Севастополя и Одессы.

Описывая отдельных людей, автор не ставил себе задачу создать индивидуальный характер. Напротив, повествуя о не обыкновенной стойкости, веселой удали и высокой чести «морской души», он как бы подчеркивает, что дело здесь не в личных особенностях характера, а в свойствах и традициях славного «орлиного племени матросов революции». Личность главных героев рассказа Соболева остается неизвестной даже для самих моряков — их товарищей, как, например, «Феди с наганом» или старшины второй статьи, который «на танке катался».

В рассказе «Последний доклад» читатель знакомится с героем-рулевым, когда тот уже мертв. И, тем не менее, образы этих людей в краснофлотской тельняшке не обделены у Соболева, и каждый из них вносит что-то свое и конкретизирует превосходную общую характеристику

«морской души», являющуюся прологом к боевым эпизодам.

«Морская душа» — это высокое самолюбие людей, отсрочившихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного и эффективной дозе, к блеску, остроумному словцу. Ничего плохого в этом нет, потому что причина этой приподнятости, блеска хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слова «Краснофлотец», овеянное славою легендарных подвигов матросов гражданской войны...

«Морская душа» — это стремление к победе. Сила моряков неуязвима, пастойчива, целенаправлена. Поэтому то враги и зовут моряков на суше «черной тучей», «сильными дьяволами».

Сдержанно, иногда даже с нарочитой скупостью, избегая всего изумеренного и лишнего, стремясь только к тому, чтобы возможно более ясно и прозрачно представить существование поступка, рассказывает автор о великих делах моряков. Он остается в тени, иногда ограничивает себя только цитатами из документов и радиogramм, он мало говорит о своих чувствах и переживаниях. Эта камерная, напоминательная стиль сводки или отчета, оказывается необыкновенно убедительной. Нельзя достаточно выразить чувство преклонения пе-

¹ «Новый мир», № 10, 1942 г.

род самоотверженными защитниками Севастополя, чем это сделал Соболев в предельно сжатом рассказе «Воробьевская батарея»:

«Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, оставшемся еще в руках советских людей,— не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиogramмы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день: «12—03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас!»

«13—07. Ведем борьбу за ДЗОТЫ, только драться некому, все переранены».

«16—10. Биться некому и нечем, открывайте огонь по компунку, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батарее двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков,— людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презиравшая смерть во имя победы,

Страшно вспомнить, что многие наши писатели до войны мучились «проблемой» положительного героя и что удачи в этом направлении действительно были не так часты. Не загадывая, какие формы примет творчество наших писателей, можно сказать с уверенностью, что отечественная война с немецкими захватчиками открывает в советской литературе новую эпоху. И это вполне естественно, потому что никогда наш народ не проявлял так полно, как в этой войне, перед всем миром лучшие свойства своей могучей природы. Человек, безгранично преданный своей советской родине, характер— сильный, деятельный, целеустремленный, человек стойкий, не отступающий ни перед какими трудностями во имя любви к родине, не может не стать основным образом в творчестве каждого правдивого художника.

Среди героев Л. Соболева нет «отрицательных типов», нет людей неустойчивых или дрогнувших перед натиском врага. Могут сказать: разве не было таких в общей массе защитников города-героя? Были, конечно, но не они типичны для советских моряков, обессмертивших себя обороной Севастополя и Одессы. И поэтому то общее, что отразил Л. Соболев в образе «морской души», является ключом к пониманию поступков и психологии каждого человека в отдельности и всех вместе, составляющих героический коллектив.

Михаил Негреба, моряк из парашютного отряда под Одессой, забросав гранатами румынский штаб, отполз в бурьян и нашел там тяжело раненого Леонтьева («Батальон четверых»). Обессилевший Леонтьев, чувствуя, что ему не выбраться, и не желая быть обузой для товарищей, просит пристрелить его. Автор не скрывает от читателя первого душевного движения Негребы, диктуемого инстинктом самосохранения:

«Негеба взглянул в его белое морское лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь одного или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и застыло, и он ругнул себя,— нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы...»

Но это лишь мгновению прозвучавший голос инстинкта самосохранения: «хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилеп к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда поспеет... Сперва перевяжу... Отсижусь, двое — не один...»

К Негребе присоединяются еще трое моряков, и все вместе, отбиваясь от румын, выносят раненого товарища из боя. Что чувствовал каждый из этой четверки, когда, отстреливаясь последними патронами и сдерживая румын, они ни на минуту не забывают о помощи раненому Леонтьеву, автор не говорит. То общее, что умножало силы моряков,— сознание чести коллектива и братская спайка советских людей,— целиком определяет поступки каждого. Никто из них при этом не ждет, чтоб его похвалили за героизм,— все делается каждым как бы само собой. Тем большее впечатление производит концовка:

«Видимо, семи они поразилась своей живучей силой, и Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо? Батальон, слушай мою команду: шагом... ари!»

Никогда понятие массового героизма не было насыщено таким реальным содержанием, как в наши дни. Разве не показательно, что в ее участники обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда будут награждены особыми медалями, которые недавно учреждены по инициативе товарища Сталина? Рассказы Соболева дают запоминающиеся примеры этой стойкости всех.

С любовью к своим героям, с юмором в зарисовке «неистребимой флотской подначки» показал Л. Соболев военно-морской быт. Соболев всегда умеет в частном случае, в «анекдоте» найти общее и поучительное. Таковы рассказы «Страшное оружие» и, в особенности, «Пушка без мушки». Устаревшая пушка образца 1900 года, случайно обнаруженная на складе металлолома, сыграла свою роль на одном из участков обороны Севастополя в умелых руках моряков-артиллеристов. «Пушка без мушки», именно в силу отсутствия локжых прицельных приспособлений,— оказывается трудно уязвимой для немецких снарядов.

«Фронтные записи» Л. Соболева, сохраняя историческую достоверность, написаны как сюжетные новеллы.

В «Морской душе» найдена удачная форма, позволяющая раскрыть обобщающее значение конкретных фактов героизма наших людей.

Живое слово гвардейца¹

Пользуясь коротким затишьем в сражении, гвардейцы Н-ской дивизии пришли на митинг. Два месяца люди не выходили из непрерывных боев, и сейчас они сидят на земле, развороченной снарядами и бомбами, не выпуская из рук оружия, готовые мгновенно вскочить по тревоге и вновь ринуться в бой. Над головами гудят самолеты, то и дело разгораются короткие воздушные схватки, подчас близкие разрывы зенитных снарядов заглушают ораторов.

О чем говорят гвардейцы на митинге? О гордости, о честности, о достоинстве и славе советской гвардии.

Всего год прошел с тех пор, как первые, особо отличившиеся в боях части Красной Армии коленопреклоненно приняли гвардейские знамена. Но что это был за год! Сколько тяжелых испытаний и вечной славы принес этот год нашим гвардейцам!

В школе самой беспощадной войны закалялся дух сталинских гвардейцев.

В напряженнейшие дни обороны Москвы родилась бессмертная слава гвардейцев дивизии Панфилова. В дни тяжелых боев в районе Сталинграда у всех на устах были имена гвардейцев дивизии Родимцева.

Боевые законы советской гвардии, о которых говорят на митинге, нигде не записаны, однако же они признаются священными каждым истинным гвардейцем. Многие из этих законов на века старше нашей гвардии. И это понятно, ибо советская гвардия неотделима от нашего народа, она плоть от плоти, кровь от крови его. Гвардейцы — это цвет нашего воинства, кровное братство, боевая семья, дружина богатырей, выдвинутых народом в дни смертельной опасности, нависшей над родиной. Традиции советской гвардии — это героические традиции советского народа. За ее спиной — преображенцы и семеновцы Петра, суворовские чудо-богатыри, герсы Бородина, Севастополя, Царицына, Каховки, Перекопа.

«Высокие заслуги бывают причиной тому, что бойцы получают звание гвардейцев. Но, получив это звание, гвардеец должен удвоить, утроить эти заслуги: он не должен думать о том, что он сделал в прошлом, он должен думать о том, что он сделает в будущем, — только тогда я могу назвать его гвардейцем», — так начинает свою речь, открывая митинг, гвардии полковник А. И. Утвенко.

Под словом «гвардеец» бойцы и командиры, выступающие на митинге, понимают война, который дерется, зная, что если он не выдержит, то могут погибнуть все — не только товарищи-соратники, однополчане, но и те близкие, родные, что остались дома. Наш сталинский гвардеец — это воин, которого самая смерть не заставит выгнать из рук оружия, не знающий в бою невозможного, непреодолимого, воин, который вынесет из боя друга на плечах, хотя бы и сам он был тяжело ра-

нен. Сталинский гвардеец — это воин железной выдержки, не знающий, что такое уныние, усталость.

«Мы были в степи, — говорит гвардии полковник А. И. Утвенко, — продуктов не подвезли, но спросишь гвардейца: «Хочешь есть?» — Тот говорит: «Товарищ полковник, не хочу». А по глазам вижу, что брешет (смех): хочет есть, еще как хочет! Но знает, что негде сегодня взять, и поэтому говорит: «Нет, товарищ полковник, не хочу». Вот гвардейская выдержка!»

Полтора года войны с гитлеровцами, опоганившими все святое для человека, не могли не оставить жестокого следа в душе советского воина. Его душу обжег огонь небывалой ненависти к врагу. Нет для него сейчас ничего более благородного, как убить вооруженного немца, — и гвардеец умеет убивать немца лучше, чем кто-либо.

Он с гордостью говорит: «Мы русские». Русским он называет человека, который дерется с врагом до последнего дыхания и никогда не падет перед немцами на колени.

Гвардии старший сержант В. Ф. Зверев рассказывает: «Поймали мы телефониста немецкого, а закружал он на чисто русском языке: «Я, — говорит, — русский пленный, меня заставили служить немцам». Хорош русский! Какого чорта он русский, если служит немцам? (Возгласы: «Правильно!») Наши танкисты верно рассудили: один прямо танком стукнул его, наехал гусеницами, и осталось от предателя мокрое место».

Веками складывались традиции, которые несет сейчас и продолжает наш воин в огне великих битв отечественной войны. Рассказывая о героях первой севастопольской обороны, Толстой говорил, что главная сила их заключается в том, что в тяжелые времена они не падали, а возвышались духом. Совершали свой подвиг легко, привычно, как обыденную работу, «малонапряженно и усиленно», так, как будто «они еще могут сделать во сто раз больше».

Эти основные черты, гениально подмеченные Толстым в характере героев Севастополя, издавна были наследственным достоянием русского солдата и источником его чудо-богатырской силы. В советском воине, приумножившем славу русского солдата, эти драгоценные национальные черты проявляются особо ярко.

В конце лета 1942 года по всей стране прошла весть о подвиге четырех гвардейцев-броньбойщиков, отрадивших в додесской степи атаки тридцати фашистских танков и половину из них уничтоживших.

На митинге, который воспроизведен в брошюре «Законы советской гвардии», выступал один из четырех героев — Петр Болото.

Мы знали, что Петр Болото, пахтер из Донбасса, — герой, но что он за человек по складу своего характера, откуда у него

¹ «Законы советской гвардии», Воениздат, НКО СССР, 1942 г.

такая выдержка, бесстрашие, — об этом мы могли только догадываться.

Теперь, когда мы прочли его речь, нам кажется, что давно уже знакомы с ним, — таким он сразу стал близким.

Хорошо сказал о нем на митинге командир дивизии:

«Вот Болото — он всегда смотрит вперед».

Речь Петра Болото — это маленький рассказ. Будь он произведением писателя, мы бы сказали, что рассказ обнаруживает редкое для новеллиста мастерство в изображении характера и то счастливое умение «в малом образе» показывать «дух сражающихся масс», о котором, говорил Балзак. Приведем рассказ полностью.

«Я сам из Донбасса родом, — говорит Петр Болото. — У меня долгие годы под землей прошли. И коногоню я был, и крепильщиком, и забойщиком вместе с братьями — Семеном и Дмитрием. Все трое под землей трудились, а теперь все трое за эту землю воюем. Такая уже судьба у нашего семейства вышла».

Я хочу рассказать, как мы четвером — Великов, Самойлов, Алейников и я — с немецкими танками сражались.

Утро было. Только мы у себя в окопиках съели кашу сели, как нам кричат: «Финки!» Я поставил кашу аккуратно, думаю: «Съем еще». (Смех.) А у меня все в окопе с той думкой вырыто, чтобы удобнее было: слева — для вещей разных подочка земляная, справа — для гранат. Только кашу отставил, действительно танки идут. Только не на нас, а стороной, вижу, идут, обойти, наверное, нас хотят. И на первый раз все очень быстро вышло. Увидали мы первый танк. Я приложился, выстрелил. И слышу: Великов тоже выстрелил. Танк не загорелся, но стал. Я еще в это время других танков не увидел и говорю Алейникову: «Гляди, бей немцев, как выскакивать будут!» Но второй танк подошел и первый от нас собой закрыл. Так и стоял, пока в него экипаж с разбитого танка перелазил. Стали мы бить по второму танку, но тут у нас, нагорное, промахи выжили: он стоял, стоял и дальше пошел — не попали в него мы.

И тут они все один за другим мимо нас вдоль позиций пошли. Много их было. Я увидел, что много, и просто прямо ребята сказали: «Ну, что же, за родину, за Сталина, за жену, за детей — бей по гвардейскому закону! Если пропадем, так все зараз, а выживем — тоже все».

И мы оба ударили по третьему танку. Он загорелся. А огонь от них, прямо сказать, очень сильный был. Все они шли мимо нас и из пушек и пулеметов смолчили, так что наш окоп землей забрасывало, — в глазах темно. Просто совсем рядом реально слышались выстрелы. Даже иногда самому удивительно бывало, что живу еще. Справа от нас пулемет стоял, так они его сразу на воздух подняли. То ли уже такое несчастье ему вышло, то ли трудов пожалел в землю плохо влез, — уж не знаю. Только как ударили, так он зараз и погреб — замолчал. А мы ничего, — живые си-

дим. У нас окопы удобные были, поджидание.

Третий танк так свечой загорелся, что даже никто и не выпрыгнул из него. Иэт вижу и Великову кричу из окопа в окоп: «Ну, как ты, ничего?» — «А ты?» — «А тоже ничего?» — «Ну, — говорю, — значит, хорошо».

Такой мы с ним короткий разговор все время вели для бодрости духа. Но по обличию видно было, что никто не бледнел цвет лица не терял. (Аплодисменты.)

После этого мы по четвертому танку ударили, — он стал. Но их еще много сзади шло, так что переживания у нас были все время трудноватые. Но мы все-таки разговаривали друг с другом, пережидывались. И в это время на нас ихний самолет «Рама» пикировать стал. Пикирует и пикнрует, и до того эта «Рама» пикировала, что все ложился я, ложился, а потом вскочил на ноги, потому что уже сил моих не было, и стал ему по коногонской привычке разные слова кричать, — повторить не могу, потому что женщины здесь. (Общий смех.) Потом «Рама» ужестела, а танки идут и идут. Сильная была жара, меня всего потом заливало. А тут еще ружье от стрельбы раскалилось, пришлось мне с себя пилотку снять и через пилотку с ружье братья, потому что иначе ружье обжигашь.

А танки все идут и идут. И до того ружье раскалилось, что пришлось мне уже с Великовым по очереди стрелять, через раз — то я, то он. Так и продолжалось у нас дело; велись мы с танками весь день. Я стреляю, стреляю, погляжу на Алейникова — вижу, он в лице немного сменился. Ясно, хотя и гвардеец, но парень еще молодой. Я говорю: «Алейник, не журись! Не журись, все равно оба живы будем». А Великов мне из своего окопа кричит: «Смотри, Болото, не промахивайся!»

А я и сам стараюсь: знаю, что нам промахиваться нельзя, потому что как раз промахнешься, так нам всем заодно копей света будет.

А танки все ближе к нам подходили, но мы их старались не допустить. А огонь от них все сильнее. И мы решили между собой: либо жить, либо умереть, но в плен не отдаваться. (Аплодисменты.)

И я тут увидел, что Великов от ружья оторвался и что-то на бумажке пишет. Я говорю ему: «Что ты пишешь?» Он говорит: «Я боевой листок пишу: за всех нас четверых, что бьемся по-гвардейски и не отдадимся живыми. Пусть о нас память будет, может, наши придут и найдут».

К той минуте мы пятнадцать танков подбили. Они все перед нами в поле, в бурьяне отсыли. Часть — погоревшие, а часть так просто, — стали, и ни с места. Уже смеркаться начинало, темнота пошла. Остальные танки, которые двинулись, начали вправо и влево заворачивать.

Так мы их атаку с твердым гвардейским духом отбили и все четверо живые. Вот какой у нас бой был. (Аплодисменты.)

Можно ли «легче», как выразался Л. Толстой, воевать, чем воюют гвардеец Болото и его товарищи? А ведь то, что сделали четверо бойцов, уничтоживших пятнадцать фашистских танков,— это уже «во сто раз больше» того, что, казалось бы, мог сделать человек.

Вот он, один из источников богатырского духа нашей гвардии — это способность чувствовать себя в огне сражения, как дома, умение необычайно быстро свыкаться с опасностью и тяжестью боевой жизни, идти на подвиги с шуткой на устах.

Трудно представить себе более напряженную обстановку, чем та, в которой оказались четыре гвардейца, а ведь Петр Болото, когда крикнули: «Танки!», не забыл все-таки поставить кашу «аккуратно», чтобы не разлить ее. Он мог бы сказать словами бойца Василия Теркина — героя новой поэмы А. Твардовского:

Что мне завтра предстоит,
Это неизвестно,
Только я свой аппетит
Не забыл под Брестом.

Нужно было много поколений русских солдат, чтобы вырос советский гвардеец, воплотивший в себе все лучшее, что выработывалось в русском войне веками: неубывающий нрав, отвагу, выносливость, солдатскую умелость ко всякому делу, привычку смотреть в лицо смерти спокойным взглядом. Но что особенно отличает его — это сознание себя хозяином родной земли, глубокое сознание своей личной ответственности за судьбу народа.

До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь. А то — своя.

Тут не скажешь: я — не я,
Ничего не знаю,

Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.

Так поэтически Василий Теркин выражает мысль, пронизывающую речь гвардии красноармейца Петра Болото: «Если пропадем так все зараз, а выживем — тоже все».

Грянул год, пришел черед.
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.
От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

Об этом же очень хорошо сказал гвардеец Болото: «Знаю, что нам промахнуться нельзя, потому что как раз промахнешься, так нам всем заодно конец света будет».

* * *

Трибуна фронтового митинга дает богатейший материал для познания нашей героической действительности, души нашего воина. «Красная звезда», организовавшая запись выступлений на митинге бойцов и командиров Н-ской гвардейской дивизии, выпущенную Воениздатом отдельной брошюрой, сделала ценный почин.

Сила души человека, его высшие гражданские достоинства лучше всего познаются в бою. Поэтому каждое слово воина, в сердце которого еще горит ожесточение боя, должно быть особенно драгоценно. Горячее слово оратора-бойца, поднявшегося на импровизированную трибуну с только что замолкнувшим автоматом, — это слово, рожденное в огне сражения. Долг советского писателя-фронтовика — сохранить его. В этом слове великая правда нашего народа, ведущего самую ожесточенную и самую справедливую в истории человечества войну.

Е. Герасимов

Содержание

	<i>Стр.</i>
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Стихи о Сталинграде: Сталинград; Баррикада; Борьба за комнату; О том, о далеком	1
АЛЕКСАНДР МОЛОДЧИЙ — 180 тысяч километров над территорией врага. (Записки летчика)	3
Сербская народная песня о Ленине и Калининe	35
К. СИМОНОВ — В керченских каменоломнях	37
НИК. АСЕЕВ — Метель, <i>стихи</i>	44
С. ГОЛУБОВ — Багратион, <i>повесть</i>	45
ВИКТОР ГУСЕВ — Московская мать, <i>стихи</i>	97
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — На земле, в небесах и на море! <i>очерки</i>	99
КОСТАС КОРСАКАС — Земле литовской, <i>стихи</i>	115

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ГАЛАКТИОНОВ — Сталинград 1942 года	116
В. СТАМБУЛОВ — Судьбы Италии	123

КРИТИКА

М. ГЕЛЬФАНД — «Радуга»	133
В. ПЕРЦОВ — Из рассказов о наших людях	137
В. ПЕТРОВ — «Морская душа»	139
Е. ГЕРАСИМОВ — Живое слово гвардейца	141

Редакция: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ.
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮЛОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 10/2. Телефон К 3-44-22

18-й год издания. Тираж 25 000 экз. Подписано к печати 14/1 1943 г.
А62248. Печ. листов 9. Уч.-авт. листов 19. В печ. листе 80 640 зн.
Цена 5 руб. Зак. 842.

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Щубинский пер., 10